

ПОЛИТИЯ

Анализ

·

Хроника

·

Прогноз



ПОΛΙΤΕΙΑ

№ 2 (109)

Москва
2023

ПОЛИТИЯ

Журнал
политической философии
и социологии политики
Основан А.М.Салминым в 1996 г.

Учредители:
АНО «Общественно-
политический журнал.
Журнал политической
философии и социологии
политики «Полития.
Анализ. Хроника. Прогноз»;
Институт научной информации
по общественным наукам РАН

Главный редактор
Святослав Каспэ

Заместитель главного редактора:
Лидия Галкина

Ответственный редактор номера
Лидия Галкина

Над номером работали:
Даниил Клестов,
Светлана Микоян,
Андрей Петроковский,
Дина Розенберг

Адрес редакции:
117418, Москва, Нахимовский
проспект, д. 51/21, к. 1101
Телефон: (499) 713-02-64
Электронная почта: politeia@politeia.ru

Опубликованные в журнале материалы
распространяются свободно
при условии ссылки на первоисточник

© АНО «Общественно-политический журнал. Журнал
политической философии и социологии политики
«Полития. Анализ. Хроника. Прогноз», 2023

POLITEIA

Journal
of Political Philosophy
and Sociology of Politics
Founded by Alexei Salmin in 1996

Institutional founders:
Autonomous
non-profit organization
The Journal of Political Philosophy
and Sociology of Politics "Politeia.
Analysis. Chronicle. Forecast";
Institute of Scientific Information
on Social Sciences of the Russian
Academy of Sciences

Editor-in-Chief
Svyatoslav Kaspe

Deputy Editor-in-Chief:
Lidia Galkina

Executive Editor
Lidia Galkina

This issue was prepared by:
Daniel Klestov,
Svetlana Mikoyan,
Andrei Petrokovsky,
Dina Rosenberg

Contact Information
Tel.: +7 499 7130264
Email: politeia@politeia.ru
Address: 51/21 Nakhimovsky av.,
office 1101, Moscow, 117418, Russia

The writings published in the Journal
can be reproduced elsewhere
so long as the original source is cited

© Autonomous non-profit organization The Journal
of Political Philosophy and Sociology of Politics
"Politeia. Analysis. Chronicle. Forecast"

ПОЛИТИЯ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Председатель Совета
Сергей Хенкин (Москва, Россия)

Заместители председателя Совета
Александр Муzyкaнтский (Москва, Россия)
Алексей Кузнецов (Москва, Россия)

Члены Совета:

Татьяна Алексеева (Москва, Россия)
Фуад Алескеров (Москва, Россия)
Лидия Галкина (Москва, Россия)
Ирина Глебова (Москва, Россия)
Скотт Гельбах (Мэдисон, США)
Джон Данн (Кембридж, Великобритания)
Андрей Дегтярев (Москва, Россия)
Дмитрий Ефременко (Москва, Россия)
Андрей Зубов (Москва, Россия)
Михаил Ильин (Москва, Россия)
Сергей Караганов (Москва, Россия)
Святослав Каспэ (Москва, Россия)
Владимир Колосов (Москва, Россия)
Тимоти Дж. Колтон (Гарвард, США)
Юрий Коргунюк (Москва, Россия)
Александр Кузнецов (Париж, Франция)
Борис Макаренко (Москва, Россия)
Андрей Мельвиль (Москва, Россия)
Деннис К. Мюллер (Вена, Австрия)
Вячеслав Никонов (Москва, Россия)
Ханну Нурми (Турку, Финляндия)
Юрий Пивоваров (Москва, Россия)
Уильям М. Райзингер (Айова Сити, США)
Дина Розенберг (Москва, Россия)
Николай Розов (Новосибирск, Россия)
Георгий Сатаров (Москва, Россия)
Александр Сунгуров
(Санкт-Петербург, Россия)
Леон Габриэль Тайванс (Рига, Латвия)
Андрей Тесля (Калининград, Россия)
Дэниэл Трейсмaн (Лос Анджелес, США)
Марк Урнов (Москва, Россия)
Михаил Филиппов (Бинхэмтон, США)
Леонид Фишман (Екатеринбург, Россия)

POLITEIA

EDITORIAL BOARD

Chairman of the Editorial Board
Sergei Khenkin (Moscow, Russia)

Vice-Chairmen
Alexander Muzykantskiy (Moscow, Russia)
Alexey Kuznetsov (Moscow, Russia)

Members of the Editorial Board:

Tatiana Alekseeva (Moscow, Russia)
Fuad Aleskerov (Moscow, Russia)
Timothy J. Colton (Harvard, USA)
Andrey Degtyarev (Moscow, Russia)
John Dunn (Cambridge, UK)
Dmitry Efremenko (Moscow, Russia)
Mikhail Filippov (Binghamton, USA)
Leonid Fishman (Ekaterinburg, Russia)
Lidia Galkina (Moscow, Russia)
Scott Gehlbach (Madison, USA)
Irina Glebova (Moscow, Russia)
Mikhail Ilyin (Moscow, Russia)
Sergey Karaganov (Moscow, Russia)
Svyatoslav Kaspe (Moscow, Russia)
Vladimir Kolosov (Moscow, Russia)
Yury Korgunyuk (Moscow, Russia)
Alexander Kuznetsov (Paris, France)
Boris Makarenko (Moscow, Russia)
Andrey Melville (Moscow, Russia)
Dennis C. Mueller (Vienna, Austria)
Vyacheslav Nikonov (Moscow, Russia)
Hannu Nurmi (Turku, Finland)
Yuri Pivovarov (Moscow, Russia)
William M. Reisinger (Iowa City, USA)
Dina Rosenberg (Moscow, Russia)
Nikolai Rozov (Novosibirsk, Russia)
Georgy Satarov (Moscow, Russia)
Alexander Sungurov
(St. Petersburg, Russia)
Leons G. Taivans (Riga, Latvia)
Andrei Teslya (Kaliningrad, Russia)
Daniel Treisman (Los Angeles, USA)
Mark Urnov (Moscow, Russia)
Andrey Zubov (Moscow, Russia)

Содержание

	Материалы номера _____	5
Политические теории	С.А.Кучеренко Понятие власти/могущества и его трансформация в политическом реализме _____	6
	И.В.Казаков Политические факты и производство смыслов в дискурсе _____	19
Парадигмы общественного развития	М.Э.Никитин Военный опыт государственных лидеров и конфликтный потенциал авторитарных режимов (На примере Африки) _____	37
	Д.О.Тимошкин, Ф.А.Сметанин, Ю.О.Корешкова, Н.Н.Зборовицкая, А.А.Волошин, Д.Е.Брызгина Поисковые системы как механизм производства границ «воображаемых сообществ» (На примере образа внутреннего мигранта в сибирских региональных цифровых медиа) _____	55
Российская политика	Ю.Г.Коргунюк, К.Росс Политические предпочтения молодых избирателей в современной России _____	77
	М.С.Сухова Субнациональная государственная состоятельность и провластное голосование в России _____	113
Внешнеполитический ракурс	Е.С.Арляпова, Е.Г.Пономарева Активизация Анкары на Западных Балканах (Подходы, инструменты, составляющие) _____	130
	В.А.Аватков, Д.Г.Евстафьев Постсоветская Евразия в зеркале глобальных процессов (Ключевые тенденции развития и дилеммы российской политики) _____	151
Кафедра	А.Ф.Павловский В поисках глобальной памяти: куда ведет транснациональный поворот в Memory studies? _____	166
Приложение	XVIII конкурс работ молодых политологов на премию А.М.Салмина _____	195
	Правила представления рукописей для публикации в журнале «Полития» _____	196
	Table of Contents _____	199

Проведенное **С.А.Кучеренко** исследование показывает, что трансформация понятия *power* в политическом реализме была обусловлена не столько идеологическими, сколько объективными причинами – в эпоху количественных методов попытки определять *power* как нечто неисчисли-мое воспринимались как отказ от «научности».

В статье **И.В.Казакова** предложена концептуализация политического факта как семиотического знака, базирующаяся на моделях Пирса, переосмысленных рядом современных исследователей. Для демонстрации потенциала данной концептуализации, способной, по мнению автора, выступать в качестве посредника между различными научными традициями, соединяя их с помощью общего аппарата, на ее основе выстроена общая типология фактов.

По заключению **М.Э.Никитина**, наличие военного опыта оказывает серьезное влияние на последующее поведение государственных лидеров, а тем самым и на конфликтный потенциал возглавляемых ими стран. При этом если лидеры со штабным или повстанческим прошлым проявляют повышенную склонность к инициированию вооруженных конфликтов, то лидеры, которым приходилось принимать непосредственное участие в боевых действиях, – пониженную.

На основе анализа образа внутренних мигрантов, создаваемого крупнейшими в России поисковыми системами, **Д.О.Тимошкин**, **Ф.А.Сметанин**, **Ю.О.Корешкова**, **Н.Н.Зборовицкая**, **А.А.Волошин** и **Д.Е.Брызгина** высказывают предположение, что поисковые алгоритмы отражают/формируют представления местных сообществ о самих себе, плохо вписывающиеся в политический миф о единой российской общности. Если это предположение верно, то поисковые системы выступают в качестве актора, оспаривающего национальную мифологию.

Исследовав роль возрастного фактора в поведении российских избирателей, **Ю.Г.Коргунок** и **К.Росс** приходят к выводу, что представление о том, будто молодежь более склонна поддерживать либеральные и демократические партии, чем старшие поколения, не вполне справедливо. Избиратели в возрасте от 18 до 24 лет действительно демонстрируют повышенную predisposition к голосованию за оппозиционные партии, но не обязательно либеральные и демократические.

Зафиксировав связь между уровнем субнациональной административной государственной состоятельности (операционализированной через реализацию в регионах России майских указов 2012 г. в части оплаты труда работников бюджетной сферы) и электоральной поддержкой власти, **М.С.Сухова** вместе с тем показывает, что манипуляции с заработной платой как инструмент повышения лояльности работают не во всех случаях, даже когда речь идет о «бюджетниках».

По оценке **Е.С.Арляповой** и **Е.Г.Пономаревой**, в среднесрочной перспективе Турция едва ли станет для западнобалканских стран альтернативой ЕС или хотя бы влиятельным экономическим игроком в регионе. Но поскольку в условиях нарастания международной конфликтности борьба за влияние на юге Европы будет только усиливаться, коридор возможностей для Анкары остается открытым.

Детально проанализировав разворачивающиеся на евразийском пространстве процессы, **В.А.Аватков** и **Д.Г.Евстафьев** приходят к заключению, что важнейшим фактором его дальнейшего развития будет противоборство различных цивилизационных идентичностей.

Опираясь на англоязычную литературу 2000–2020-х годов, **А.Ф.Павловский** анализирует нарождающееся поле Transnational Memory studies с точки зрения категориального аппарата, дисциплинарных особенностей и исследовательских подходов.



политика

С.А.Кучеренко

ПОНЯТИЕ ВЛАСТИ/МОГУЩЕСТВА И ЕГО ТРАНСФОРМАЦИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОМ РЕАЛИЗМЕ¹

¹ В работе использованы результаты проекта «Этика и право: соотношение и механизмы взаимовлияния», выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2022 г.

Сергей Анатольевич Кучеренко — аспирант Школы философии и культурологии факультета гуманитарных наук, стажер-исследователь Центра фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Для связи с автором: oldjeffrey93@gmail.com.

Аннотация. Статья посвящена анализу трансформации понятия *power* в политическом реализме. В последние десятилетия в теории международных отношений начал складываться консенсус относительно характера этой трансформации. Согласно все более популярной точке зрения, классические реалисты, прежде всего Ганс Моргентау, трактовали *power* как властные отношения двух индивидов, обладающие психологическим и нормативным измерениями. Реформа реализма, осуществленная Кеннетом Уолцем и другими структуралистами, лишила *power* этих аспектов, превратив ее в исчисляемое материальное *могущество*.

Критики структурного реализма представляют подобное переосмысление как обеднение и выхолащивание понятия, чреватое опасными последствиями для международно-политической науки. Структурный реализм в их глазах есть не более чем замаскированная идеология силовой политики, которую можно и нужно преодолеть путем возвращения к истокам реалистской традиции и использования классических понятий, предположительно более богатых и глубоких.

Проведенное автором исследование показывает, что трансформация понятия *power* была обусловлена не столько идеологическими, сколько объективными причинами — в эпоху количественных методов попытки определять *power* как нечто неисчисляемое воспринимались как отказ от «научности». При этом в самом классическом реализме уже содержались предпосылки подобного взгляда на *power*, которая во многом трактовалась как *могущество*. На общем фоне несколько выделяется подход Моргентау к определению этого понятия, но не принципиально. Вместе с тем понятие *power* у Моргентау в исходной его формулировке плохо применимо в качестве аналитического инструмента, выявляя ряд противоречий и сложностей, связанных с онтологическим измерением проекта политического реализма.

Ключевые слова: власть, могущество, теория международных отношений, политический реализм, Ганс Моргентау

Последние годы создали немало поводов для разговоров о непреходящей актуальности политического реализма в международных отношениях. Пандемия, начавшаяся в 2020 г., вернула в обсуждение вопрос о соотношении корысти и сотрудничества во взаимодействиях суверенных государств. События в Украине в 2022 г. заставили вспомнить о неизменных и суровых «законах» силовой политики. Но в настоящей статье речь пойдет не об оценке претензий реалистов на вечную актуальность. Вместо этого мы воспользуемся возросшим интересом к этому направлению в теории международных отношений, чтобы обратить внимание на более узкий сюжет — на эволюцию центрального для него понятия *power*.

Перевод понятий — одна из сложнейших проблем в любой области знания. Именно в момент перевода отчетливее всего обнаруживается, как много разных смыслов может скрываться за одним и тем же словом. В полной мере это относится и к понятию *power*, которое передается на русском языке множеством терминов. Однако предметом нашего исследования является не проблема выбора наиболее точного эквивалента (этому посвящено немало работ²), а то, какие значения принимает данное понятие на языке оригинала в рамках единой научной традиции. Эти значения невозможно передать одним русским словом. *Power* попеременно обозначает то *власть*, то *могущество*. Спектр ситуативных значений охватывает от «авторитета» до «способности». Поэтому в тексте статьи мы будем по преимуществу использовать слово *power*, а не какой-то из его эквивалентов на русском.

Политический реализм в теории международных отношений в его современной форме зародился в ходе споров 1910—1930-х годов о возможности положить конец военным конфликтам, устранив их (предполагаемую) основную причину. В противоположность тем, кто видел ключ к вечному миру в правильных институтах, моральном воспитании либо экономическом развитии, реалисты придерживались тезиса о неотвратимости войн, рассматривая их как неизбежный эффект политики, понятой как борьба за *власть*. Таким образом, понятие *power* является одним из базовых для политического реализма³. Не исключено, что именно по причине его «самоочевидности» оно долгое время не удостоивалось должного внимания со стороны самих политических реалистов⁴.

После окончания холодной войны политический реализм стал объектом всеобъемлющей критики как теория, постулировавшая стабильность биполярной системы международных отношений и не сумевшая предсказать ее внезапное крушение. Мы не будем здесь касаться вопроса о том, насколько справедлива такая критика и делали ли реалисты заявления, которые могло бы опровергнуть завершение холодной войны. Для нас важен сам факт тотальной ревизии реализма. Не избе-

² См. Литвинов и Смирнова 2021.

³ Walt 2002; Baldwin 2016: 123—125.

⁴ Guzzini 1993; Walt 2002.

жало ее и понятие *power*. По мнению оппонентов, в ходе развития реализма оно подверглось выхолащиванию или даже подмене — слово, которое можно было перевести на русский как «власть» или «авторитет», превратилось в эквивалент «могущества». Утверждается, что термин, который в середине столетия указывал на нечто сложное, обладающее психологическими и этическими обертонами, к концу 1970-х годов выродился в обозначение «материальных возможностей», буквально — количества танков и цистерн с керосином. Подобный взгляд на *power* квалифицируется как крайне бедный, игнорирующий множество факторов⁵. С точки зрения критиков, неореализм упростил понятие *power*, сведя проблему власти/могущества к грубой силе, которую можно описать с помощью цифр. Некоторые авторы, такие как Ричард Нед Лебоу или Даниэль Гарст, ищут решение проблемы в обращении к античности, подвергая сомнению адекватность рецепции Фукидида в политическом реализме. Другие, в частности Феликс Рёш и Хартмут Бер, используют в качестве точки отсчета классический реализм середины XX в., прежде всего концепцию Ганса Моргентау. В их глазах понятие *power* у Моргентау включает в себя сильную нормативную, даже духовную составляющую, что не позволяет свести его к характерному для неореалистов представлению о *power* как о способности физического воздействия⁶. Соответственно, предполагается, что, вернувшись к более богатым понятиям прошлого, современные исследователи смогут переосмыслить и современный реализм, вырвавшись из ловушки цинизма и пессимизма.

⁵ Ashley 1984: 225; Smith 1986; Garst 1989; Williams 2005; Lebow 2008: 556—557.

⁶ Behr and Rösch 2012: 47—48.

Несмотря на ценность данной критики в историческом контексте, ей присущ целый ряд недостатков, важнейшим из которых является ангажированность. Наличие позитивной нормативной программы нередко приводит к попыткам «разоблачить» неореализм как идеологию при выведении за скобки сугубо теоретических соображений самих неореалистов. Многие из упомянутых авторов не идут в своей критике дальше простой декларации, что «физическая способность» (*material capability*) — это слишком просто по сравнению с Фукидидом либо Моргентау; Бер же изображает Кеннета Волца в качестве идеолога сильного централизованного государства, чуть ли не шмиттианца⁷. На наш взгляд, отбрасывать представление о власти как о *material capability*, закрыв глаза на важные научные достоинства такого ее понимания, — поспешный шаг, результат нежелания принять во внимание аргументы противоположной стороны. Изменение содержания понятия *power* не было ни следствием лени, ни злым умыслом.

⁷ Behr 2016: 200—201.

Для обоснования этого тезиса мы сначала рассмотрим определение *power* у Моргентау и других классиков политического реализма и постараемся зафиксировать, какое место занимает это определение в историческом контексте, а затем обратимся к тому, как аргументируют трансформацию понятия неореалисты. В заключительной части статьи мы вернемся к представлениям Моргентау и подробнее проанализируем те проблемы, которые возникают при практическом применении его трактовки *power* в рамках его собственной теории.

**Понятие *power*
в классическом
реализме**

Классический реализм возник в период между мировыми войнами как критика упований на возможность избавления от войн тем или иным способом, будь то расширение международной торговли или создание международно-правовых институтов. После Второй мировой войны реализм окончательно победил в этом теоретическом противостоянии, став господствующей школой мысли в теории международных отношений. Однако при всей привлекательности таких черт реализма, как трезвый взгляд и стремление оценивать факты как они есть, на фоне социальных наук середины XX в., делавших ставку на количественные методы и бихевиористский подход, ему недоставало научности. Рубежом, отделяющим классический реализм от нового, структурного, может считаться выход в свет в 1979 г. книги Уолца «Теория международной политики», где была предпринята попытка превратить политический реализм в системную, полностью формализованную теорию, пригодную для имплементации количественных методов. Соответственно, в качестве классического мы здесь будем рассматривать реализм до Уолца.

Главным классиком политического реализма в международно-политической науке был и остается Моргентау. Его труд «Политические отношения между народами» до сих пор является одним из обязательных текстов при изучении теории международных отношений, и именно к воззрениям Моргентау обращаются те, кто надеется перевернуть сложившиеся представления о реализме и вложить новые смыслы в старые понятия. Яркий пример — предисловие Бера и Рёша к англоязычному изданию ранней работы Моргентау «Понятие политического», впервые вышедшей в 1933 г. на французском языке и посвященной критике известного трактата Карла Шмитта. Согласно гипотезе авторов, понятие *power* в этой работе имеет двойственное значение, которое исчезает при переводе французских слов *pouvoir* и *puissance* одним английским словом, пусть даже сам Моргентау и использует его в своих более поздних сочинениях. С их точки зрения, *pouvoir* обозначает *power* в «эмпирическом» смысле — как непосредственное воздействие / возможность (*capacity/capacité*) воздействия на что-либо или преодоление сопротивления. Слово же *puissance* носит ценностно-ориентированный характер, фиксируя «намерение добровольно и согласованно действовать с целью создания общего жизненного мира»⁸, что сближает его с властью как коллективным действием из работы Ханны Арендт «О насилии»⁹ и даже авторитетом из «Понятия власти» Александра Кожева¹⁰. Таким образом, Моргентау предстает мыслителем, отстаивавшим «нормативное» понимание власти, позволяющее противостоять нигилизму сторонников силовой политики.

Однако, как мы попытались показать в одной из более ранних своих статей, представление о двойственной трактовке *power* у Моргентау лишено оснований, а французские термины в «Понятии политического» носят соподчиненный характер: *puissance* обозначает скорее совокупность всех потенциальных/актуальных *pouvoirs*, находящихся

⁸ Behr and Rösch 2012: 47—48.

⁹ Арендт 2014.

¹⁰ Кожев 2006.

¹¹ Кучеренко 2019. в распоряжении того или иного актора¹¹. Сама *power* не содержит нормативных обертонів в смысле ориентации на некие ценности, хотя может выступать ценностью *per se*. На это четко указывает, в частности, дефиниция, сформулированная Моргентау в «Политических отношениях между народами»: «Политическая власть (*political power*) — это психологическое отношение между тем, кто власть осуществляет, и тем, над кем власть осуществляется. Первому из них она дает контроль над теми или иными действиями второго посредством определенного рода воздействия на его разум (*mind*). Такое воздействие может иметь три источника: ожидание выгоды, боязнь понести ущерб и уважение к человеку либо институтам. Власть может осуществляться в форме приказов, угроз, авторитета или харизмы человека или же учреждения, а также посредством сочетания всего вышеперечисленного. В свете такого определения необходимо провести четыре различия: между властью и влиянием, между властью и силой (*force*), между устойчивой и неустойчивой властью, между легитимной и нелегитимной властью»¹².

¹² Morgenthau 1997: 32–33.

Как мы видим, определение Моргентау не оставляет «лазеек» для нормативной интерпретации и к тому же во многом сходно с веберовской трактовкой власти как способности преодолевать сопротивление. Единственным серьезным отличием от представления о *power* как о простой возможности, *capacity*, является психологичность, то, что оно предполагает отношение двух субъектов, каждый из которых обладает как минимум волей, а скорее всего, и другими атрибутами психики. Из этого следует, что *power* не измеримая величина, а ситуация, то есть носит неисчислимый характер. А значит, мы не можем судить о наличии/отсутствии *power* до разрешения той или иной ситуации. Более того, исход последней будет обусловлен восприятием ее участников, их ценностями, способностью предсказывать и планировать и т.п. На первый взгляд, такое понимание власти/могущества действительно содержит в себе огромное теоретическое богатство, особенно по сравнению с упрощениями 1970–1980-х годов. Однако, прежде чем обсуждать само это понимание, посмотрим, насколько взгляд на *power* как на психологическое противостояние двух волей характерен для классического реализма середины XX в., обратившись к мыслителям, лишь немногим уступающим по масштабу Моргентау, — Эдварду Халлетту Карру и Раймону Арону.

¹³ Carr 2016: 91–134.

В книге Карра «Кризис длиною в двадцать лет» проблеме *power* посвящен специальный раздел¹³. И хотя там нет прямого определения *power*, его содержание позволяет оценить, какой смысл вкладывается автором в это понятие. Рассуждая о том, что *power* есть необходимая составляющая силовой политики (*power politics*), Карр выделяет три ее ипостаси — военную (*military power*), экономическую (*economic power*) и власть над общественным мнением (*power over opinion*). Это разделение показывает, что за данным термином скрывается способность добиваться своего, преодолевая сопротивление, точнее — способность правящей группы сохранять привилегированное положение. И если

власть над общественным мнением, будучи одним из элементов власти/могущества, в глазах Карра почти целиком сводится к пропаганде, то военный и экономический компоненты *power* обозначают могущество, причем вполне измеримое. Таким образом, можно заключить, что в своей трактовке понятия *power* Карр существенно дальше отстоит от Арендт или Кожева, чем Моргентау, рассматривая *power* как могущество, силу принуждения, открывающую путь к достижению желаемого посредством угроз либо манипуляций.

Представление о *power* у Арона еще резче отличается от при-
сущего Моргентау. «В самом общем смысле власть (power) — это спо-
собность делать, создавать или разрушать»¹⁴, — пишет он в своей зна-
менитой книге «Мир и война между народами», при этом уделяя зна-
чительное внимание исчислимым элементам этой способности, таким
как экономика и военная сила. Во французском оригинале книги для
обозначения этой способности (*capacité*) использовано то же слово,
к которому во французский период своего творчества прибегал Мор-
гентау для наиболее общей характеристики власти/могущества, а имен-
но *puissance*. Как уже отмечалось, у Моргентау этим словом описы-
валась не некая отдельная возможность, а вся совокупность возможностей
воздействия на окружающий мир. Примечательно, что применительно
к властным отношениям *внутри* политики Арон употребляет слово *pou-
voir*, которое на этот раз указывает на власть легитимную и легальную¹⁵,
что свидетельствует о серьезном различии в содержании понятия *power*
в контексте внутренней и внешней политики.

Подведем промежуточный итог. Интерпретация *power* класси-
ческими реалистами не отличается принципиально от более поздней ее
трактовки как физической способности — *material capacity*. Несколь-
ко выделяется на общем фоне подход Моргентау, прежде всего за счет
попытки определить *power* как психологическое отношение, как си-
туацию, а не свойство акторов. Но даже у него определение *power* об-
разовано вокруг представления о преодолении сопротивления и воз-
действии на окружающий мир. В связи с этим интерес последних де-
сятилетий к Моргентау может оказаться не возвращением к корням,
а возведением на пьедестал аномального явления, обладавшего множе-
ством ограничений.

Power в структурном реализме

Обратимся теперь к представлениям о власти/могуществе в струк-
турном реализме, также известном как неореализм.

Суть возражений структурных реалистов против предложенного
Моргентау взгляда на *power* отчетливо выражена в упомянутой выше
книге Уолца «Теория международной политики», хотя непосредствен-
ным объектом критики в ней выступает не сам Моргентау, а Роберт
Даль, точнее, его статья «Понятие власти»¹⁶. Согласно Уолцу, «типичное
для Америки» понимание власти как отношения, ситуации, в которой
есть победитель и проигравшие, неприменимо в политическом анализе.

Ведь даже самые могущественные акторы не всегда в состоянии добиться желаемого, но означает ли это, что они не обладают могуществом? Нужно ли отдельно рассматривать их могущество в каждой конкретной ситуации? Представление о власти/могуществе как о некоей конечной ситуации или отношении двух и более акторов вынуждает исследователя заниматься описанием результатов, при этом от него ускользают устройство международной системы и закономерности ее функционирования, лишая его способности объяснять происходящее¹⁷. Поэтому, полагает Уолц, куда разумнее говорить о способностях или возможностях — *capabilities* (перечислению которых он посвящает немало страниц¹⁸).

¹⁷ Waltz 1979: 191—192.

¹⁸ *Ibid.*: 183—191.

Сходным образом трактует *power* Джон Миршаймер. Он тоже не дает какого-либо определения этого понятия, предпочитая сразу говорить о том, *что такое* власть/могущество. С его точки зрения, потенциальное могущество — это население и уровень экономического развития, действительное могущество — это вооруженные силы¹⁹. Вслед за Уолцем повторяет он и аргумент о том, что представление о *power* как о конкретном отношении побуждает исследователей просто описывать результаты взаимодействий государств, не пытаясь разобраться в их конкретных причинах²⁰.

¹⁹ Mearsheimer 2003: 43—46.

²⁰ *Ibid.*: 56—59.

Следует признать, что приведенные соображения структурных реалистов не лишены оснований. Рассмотрение власти/могущества в качестве измеримой величины действительно создает условия для различения работы собственно международной системы и влияния случайных факторов — задача, не поддающаяся решению, если судить о наличии *power* по результатам взаимодействий. Соответственно, в контексте системной теории подобное упрощение и выхолащивание данного понятия были почти неизбежными.

Ограниченность понятия *power* у Моргантау

Выше мы коснулись двух важных моментов, связанных с трансформацией понятия *power* в политическом реализме. Во-первых, эта трансформация была вызвана объективными причинами — в эпоху количественных методов попытки определить *power* как нечто неисчислимое воспринимались как отказ от «научности». Во-вторых, ее предпосылки содержались уже в реализме середины XX в. Характерное для классических реалистов понимание *power* было лишено тех нормативных обертонов, которые «вчитывают» в него более поздние исследователи-ревизионисты. Действительная особенность понятия *power* у Моргантау, за которую можно зацепиться, — это наличие в нем психологической и реляционной составляющей. *Power* в интерпретации Моргантау не свойство, но психологическое отношение, не поддающееся и не подлежащее измерению (либо она есть, либо ее нет), а единственный ее «нормативный» аспект заключается в том, что она может выступать в качестве самостоятельной ценности, — представление, от которого пытались отойти многие последующие реалисты.

Можно ли из этого извлечь что-то полезное для современной теории международных отношений? На наш взгляд, несмотря на всю привлекательность «психологического» анализа, подход Моргентау порождает проблемы даже при последовательном применении в рамках его собственной концепции.

Прежде всего стоит обратить внимание на то, что Моргентау не спешит провести четкую границу между внутренним и внешним в политике. Его проект политического реализма — это ответвление понимающей социологии, сфокусированное на одном идеальном типе и одной ценности, а именно на политике и *power*. Основное действующее лицо здесь человек, который совершает осмысленные действия и вступает во властные отношения. В этом контексте психологический взгляд на *power* имеет смысл, особенно с учетом представлений Моргентау о природе человека, побуждающей его тем или иным образом преодолевать собственные границы. Согласно Моргентау, осознание своей конечности во времени и пространстве толкает человека на попытки трансценденции, в том числе путем контакта с Другим. Властные отношения, в которых содержание воли одного индивида определяет содержание воли другого, являются доступным суррогатом подлинного общения²¹.

²¹ Morgenthau 1962: 247—251.

Однако мы почти не находим у Моргентау указаний на то, как данный подход мог бы работать применительно к государствам. Важно отметить, что Моргентау — последовательный методологический индивидуалист, реальным существованием в его глазах обладают лишь физические индивиды со своей психикой, человеческой природой и т.п. О государствах же он пишет: «Нация не является эмпирической вещью... когда мы в эмпирическом смысле говорим о власти или о внешней политике нации, мы говорим о власти или о внешней политике индивидов, принадлежащих к нации»²². Это важное замечание, поскольку в таком случае предлагаемое Моргентау определение *power* не применимо к государству непосредственно, но всегда касается конкретных людей или групп, выступающих от его имени.

²² Morgenthau 1997: 117.

Моргентау сознательно не проводит каких-либо разграничений между властными отношениями внутри государств и силовой политикой на международной арене; более того, он прямо утверждает, что схожие рассуждения о могуществе или внешней политике государств *de facto* суть рассуждения о могуществе конкретных индивидов, составляющих эти государства²³. Не случайно в посвященном *national power* разделе «Политических отношений между народами» он уделяет немалое внимание тому, как подавленное внутригосударственными институтами стремление людей к господству находит выражение и удовлетворение в силовом противостоянии государств²⁴, еще раз подчеркивая единство политики на всех уровнях.

²³ *Ibidem*.

²⁴ *Ibid.*: 118—119.

При всей убедительности и даже известной красоте построений Моргентау подобный взгляд на власть/могущество чреват серьезными проблемами. Во-первых, государства не однородны с точки зрения убеждений и устремлений их жителей. Соответственно, если четко сле-

довать подходу Моргентау, то исследователю придется всякий раз разбираться в хитросплетениях внутренней политики всех интересующих его государств, чтобы оценить, кто из политиков окажется лицом, принимающим решение, и как он будет воспринимать угрозы и требования других государств. Похоже, что такая перспектива не вдохновляет и самого Моргентау, поскольку в разделе о компонентах *national power* он рассуждает о государствах, как если бы они были целостными сущностями, обладающими военной силой, ресурсами и т.п. Единственная особенность его рассуждений — акцент на таких трудноизмеримых факторах, как качество дипломатии или управления, по-видимому призванных воплощать те самые связи отдельных индивидов в государственном аппарате. Во-вторых, неясный онтологический статус государства делает невозможным разговор о том, что есть его существование, а что — гибель, без знания того, как смотрят на это все лица, принимающие решения в конкретном государстве. Когда власть мыслится как противостояние двух волей, вопрос о существовании (то есть о возможности погибнуть в борьбе за власть) играет ключевую роль.

Таким образом, понятие *power* у Моргентау, будучи ясным и удобным в рамках сформулированных им шести принципов политического реализма, порождает огромное число сложностей при попытке использовать его при анализе межгосударственных отношений. Очевидно, что реалистская концепция Моргентау, представленная в «Политических отношениях между народами», требовала более тщательной проработки вопросов, связанных с онтологией государств и иных корпоративных акторов, и, возможно, введения дополнительного понятия власти применительно к международной сфере (подобно тому, как это сделано в «Мире и войне между народами» Арона).

Заключение

Суммируя вышесказанное, можно констатировать, что объяснения трансформации понятия власти/могущества в политическом реализме второй половины XX в. в терминах упрощения и идеологизации не имеют под собой оснований. Анализ воззрений наиболее влиятельных классических реалистов показывает, что понятие *power* изначально подразумевало скорее могущество, способность преодолевать сопротивление окружающего мира / других людей. «Цифровизация» определения *power* реалистами 1980-х годов означала не некую радикальную модификацию или подмену понятия, а просто попытку сделать его пригодным для использования количественных методов.

Но даже если «возвращение к корням» не решает задач, которые встают сегодня перед политическими реалистами, оно позволяет более точно сформулировать релевантные проблемы. Хотя обращение к работам Моргентау в поисках идеального определения *power* неизбежно оканчивается разочарованием, оно побуждает обратить внимание на онтологическое измерение политического реализма²⁵. В конечном счете изъяны понятия *power* у Моргентау связаны с вопросом о смыс-

²⁵ Подробнее см. Кучеренко 2021.

ле государства и способе его существования. Этот вопрос не был решен в структурном реализме, который предпочел проигнорировать его, выведя за скобки антропологические аспекты понятия власти и поставив во главу угла измеримые факторы могущества. Между тем вопрос о смысле и способе существования базовых элементов международной системы — это вопрос о том, какие угрозы могут считаться экзистенциальными и возможны ли вообще экзистенциальные угрозы тому, что не существует в подлинном значении этого слова. Переход от понятия власти к рассуждениям о национальном могуществе не снимает этой проблемы, поскольку состязание в военной или экономической силе все равно подразумевает экзистенциальные риски. Автор надеется на возрождение интереса к онтологическому измерению политического реализма, поскольку именно прояснение способа существования государства открывает путь к прояснению его ценности и ответственности.

Библиография

- Арендт Х. (2014) *О насилии*. М.: Новое издательство.
- Кожев А. (2006) *Понятие власти*. М.: Праксис.
- Кучеренко С.А. (2019) «Власть и насилие в реализме Ганса Моргентау» // *Социологическое обозрение*, т. 18, № 4: 320—333. URL: https://sociologica.hse.ru/data/2019/12/30/1511029027/SocOboz_18_4_320-333_Kucherenko.pdf (проверено 2.03.2023).
- Кучеренко С.А. (2021) «Существование государства как ценностная проблема в политическом реализме» // *Вопросы философии*, № 7: 5—16.
- Литвинов Я.В. и А.Г.Смирнова. (2021) «„Power“/„власть“: особенности интерпретации и перевода в политологическом контексте» // *Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки*, № 4: 14—20. URL: https://tidings.tsu.tula.ru/tidings/pdf/web/file/tsu_izv_humanities_2021_04_a.pdf (проверено 2.03.2023).
- Aron R. (2003) *Peace and War: A Theory of International Relations*. New Brunswick, London: Transaction Publishers.
- Ashley R.K. (1984) «The Poverty of Neorealism» // *International Organization*, vol. 38, no. 2: 225—286. URL: <http://rochelleterman.com/ir/sites/default/files/Ashley%201984.pdf> (accessed on 2.03.2023).
- Baldwin D.A. (2016) *Power and International Relations: A Conceptual Approach*. Princeton: Princeton University Press.
- Behr H. (2016) *History of International Political Theory: Ontologies of the International*. London: Palgrave Macmillan.
- Behr H. and F.Rösch. (2012) «Introduction» // Morgenthau H.J. *The Concept of the Political*. London: Palgrave Macmillan: 3—47.
- Carr E.H. (2016) *The Twenty Years' Crisis, 1919—1939: An Introduction to the Study of International Relations*. London: Palgrave Macmillan.
- Dahl R.A. (1957) «The Concept of Power» // *Behavioral Science*, vol. 2, no. 3: 201—215. URL: https://welcometorel.files.wordpress.com/2008/08/conceptpower_r-dahl.pdf (accessed on 2.03.2023).

- Garst D. (1989) «Thucydides and Neorealism» // *International Studies Quarterly*, vol. 33, no. 1: 3—27.
- Guzzini S. (1993) «Structural Power: The Limits of Neorealist Power Analysis» // *International Organization*, vol. 47, no. 3: 443—478. URL: https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/23701/Guzzini_IO_1993_CUP.pdf (accessed on 2.03.2023).
- Lebow R.N. (2008) *A Cultural Theory of International Relations*. New York: Cambridge University Press.
- Mearsheimer J.J. (2003) *The Tragedy of Great Power Politics*. New York: W.W.Norton & Company.
- Morgenthau H.J. (1962) «Love and Power» // *Commentary*, vol. 33, no. 3: 247—251.
- Morgenthau H.J. (1997) *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace*. Singapore: McGraw-Hill.
- Smith M.J. (1986) *Realist Thought from Weber to Kissinger*. Baton Rouge: Louisiana State University Press.
- Walt S.M. (2002) «The Enduring Relevance of the Realist Tradition» // Katznelson I. and H.Milner, eds. *Political Science: State of the Discipline*. New York: W.W.Norton & Company: 197—234.
- Waltz K.N. (1979) *Theory of International Politics*. Reading (Mass): Addison-Wesley Publishing Company.
- Williams M.C. (2005) *The Realist Tradition and the Limits of International Relations*. New York: Cambridge University Press.



ПОЛИТ

²⁶ This work presents the results of the project “Law and ethics: relation and mechanisms of mutual influence” carried out within the Basic Research Program at the HSE University in 2022.

Sergey A. Kucherenko — Ph.D. Candidate at the School of Philosophy and Cultural Studies, Faculty of Humanities; Intern Researcher at the Center for Fundamental Studies, HSE University. E-mail: oldjeffrey93@gmail.com.

Abstract. The article is devoted to the analysis of the transformation of the concept of power in political realism. In recent decades, the International Relations Theory has witnessed an emerging consensus about the nature of this transformation. According to an increasingly popular point of view, classical realists, primarily Hans Morgenthau, interpreted power as power

S.A.Kucherenko

THE CONCEPT OF POWER AND ITS TRANSFORMATION IN POLITICAL REALISM²⁶

relationships between two individuals that have psychological and normative dimensions. The reform of realism by Kenneth Waltz and other structuralists stripped power of these dimensions, turning it into quantifiable material might.

Critics of structural realism interpret such a rethinking as impoverishment and erosion of the concept, fraught with dangerous consequences for the International Relations Science. In their eyes structural realism is nothing more than a disguised ideology of power politics, which could and should be overcome by returning to the roots of the realist tradition and using classical concepts, which are supposedly richer and deeper.

The study shows that the transformation of the concept of power can be explained by the objective rather than ideological reasons: in the era of quantitative methods, attempts to define power as something immeasurable were perceived as a rejection of “scientific”. At the same time, classical realism itself already contained the prerequisites for such interpretation of power, which was largely viewed as a might. In comparison to the general theory, Morgenthau's approach to the definition of this concept slightly stands out, but is not fundamentally different. At the same time, Morgenthau's concept of power in its original formulation is poorly applicable as an analytical tool, revealing a number of contradictions and difficulties associated with the ontological dimension of the project of political realism.

Keywords: power, might, International Relations Theory, political realism, Hans Morgenthau

References

- Arendt H. (2014) *O nasilii* [On Violence]. Moscow: Novoe izdatel'stvo. (In Russ.)
- Aron R. (2003) *Peace and War: A Theory of International Relations*. New Brunswick, London: Transaction Publishers.
- Ashley R.K. (1984) “The Poverty of Neorealism” // *International Organization*, vol. 38, no. 2: 225–286. URL: <http://rochelleterman.com/ir/sites/default/files/Ashley%201984.pdf> (accessed on 2.03.2023).
- Baldwin D.A. (2016) *Power and International Relations: A Conceptual Approach*. Princeton: Princeton University Press.
- Behr H. (2016) *History of International Political Theory: Ontologies of the International*. London: Palgrave Macmillan.
- Behr H. and F.Rösch. (2012) “Introduction” // Morgenthau H.J. *The Concept of the Political*. London: Palgrave Macmillan: 3–47.
- Carr E.H. (2016) *The Twenty Years' Crisis, 1919–1939: An Introduction to the Study of International Relations*. London: Palgrave Macmillan.
- Dahl R.A. (1957) “The Concept of Power” // *Behavioral Science*, vol. 2, no. 3: 201–215. URL: https://welcometorel.files.wordpress.com/2008/08/conceptpower_r-dahl.pdf (accessed on 2.03.2023).
- Garst D. (1989) “Thucydides and Neorealism” // *International Studies Quarterly*, vol. 33, no. 1: 3–27.

Guzzini S. (1993) “Structural Power: The Limits of Neorealist Power Analysis” // *International Organization*, vol. 47, no. 3: 443–478. URL: https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/23701/Guzzini_IO_1993_CUP.pdf (accessed on 2.03.2023).

Kozhev A. (2006) *Ponjatije vlasti* [The Concept of Power]. Moscow: Praxis. (In Russ.)

Kucherenko S.A. (2019) “Vlast’ i nasilie v realizme Gansa Morgentau” [Power and Violence in the Realism of Hans J. Morgenthau] // *Sotsiologicheskoe obozrenie* [Russian Sociological Review], vol. 18, no. 4: 320–333. URL: https://sociologica.hse.ru/data/2019/12/30/1511029027/SocOboz_18_4_320-333_Kucherenko.pdf (accessed on 2.03.2023). (In Russ.)

Kucherenko S.A (2021) “Sushchestvovanie gosudarstva kak tsennostnaja problema v politicheskom realizme” [Existence of State as a Value Problem in Political Realism] // *Voprosy filosofii* [Problems of Philosophy], no. 7: 5–16. (In Russ.)

Lebow R.N. (2008) *A Cultural Theory of International Relations*. New York: Cambridge University Press.

Litvinov Ya.V. and A.G.Smirnova. (2021) “„Power“/„vlast“: osobennosti interpretatsii perevoda v politologicheskom kontekste” [“Power”/“Authoriry”: Features of Interpretation and Translation in a Political Science Context] // *Izvestija Tul’skogo gosudarstvennogo universiteta. Gumanitarnye nauki* [The Bulletin of Tula State University. Humanities], no. 4: 14–20. URL: https://tidings.tsu.tula.ru/tidings/pdf/web/file/tsu_izv_humanities_2021_04_a.pdf (accessed on 2.03.2023). (In Russ.)

Mearsheimer J.J. (2003) *The Tragedy of Great Power Politics*. New York: W.W.Norton & Company.

Morgenthau H.J. (1962) “Love and Power” // *Commentary*, vol. 33, no. 3: 247–251.

Morgenthau H.J. (1997) *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace*. Singapore: McGraw-Hill.

Smith M.J. (1986) *Realist Thought from Weber to Kissinger*. Baton Rouge: Louisiana State University Press.

Walt S.M. (2002) “The Enduring Relevance of the Realist Tradition” // Katznelson I. and H.Milner, eds. *Political Science: State of the Discipline*. New York: W.W.Norton & Company: 197–234.

Waltz K.N. (1979) *Theory of International Politics*. Reading (Mass): Addison-Wesley Publishing Company.

Williams M.C. (2005) *The Realist Tradition and the Limits of International Relations*. New York: Cambridge University Press.



И. В. Казаков

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ И ПРОИЗВОДСТВО СМЫСЛОВ В ДИСКУРСЕ

Илья Викторович Казаков — аспирант департамента политики и управления Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; ассистент кафедры философии и теологии Псковского государственного университета. Для связи с автором: i.v.kazakov@list.ru.

Аннотация. В статье предложена концептуализация политического факта как семиотического знака, базирующаяся на моделях Пирса, переосмысленных рядом современных исследователей и наполненных дискурсивным содержанием. Факты определяются как обладающие иллокутивной силой высказывания, репрезентирующие некоторое положение вещей для ума, который интерпретирует эту репрезентацию в качестве достоверной. Политические факты отличаются от прочих тем, что процесс их интерпретации мотивирован политически, то есть прагматически и нормативно. Факт также рассматривается как частный случай речевого акта: вслед за Джоном Сёрлем автор считает, что подобного рода акты всегда иллокутивны, хотя между структурой высказывания и предполагаемым действием не всегда имеется прямая связь.

На основе такого понимания фактов и пирсовской классификации интерпретантов выстроена семиотическая типология фактов. Выделены восемь типов фактов в зависимости от позиции интерпретанта по отношению к знаку. Все типы фактов располагаются в умозрительной трехмерной модели, которая в статье представлена в виде трех таблиц. Раскрываются возможные предпосылки, определяющие выбор субъектом того или иного варианта интерпретации фактов. Установлена связь отдельных типов интерпретантов с вариантами поведения субъектов, а также с концепцией интерсубъективности.

По оценке автора, подобная концептуализация способна работать как посредническая модель, соединяющая различные научные традиции с помощью единого аппарата, позволяющего преодолеть расхождения между отдельными подходами через обращение к более общим характеристикам предмета. Построенная типология фактов имеет и практическое значение, особенно при изучении политического дискурса, когда центральным является спор о фактах. Она дает исследователю возможность не только сосредоточиться на определенных категориях фактов, но и, встречаясь с любыми

фактами, эффективно их категоризировать, определяя их ключевые характеристики.

Ключевые слова: факт, семиотика, знак, интерпретант, интересубъективность, речевой акт

Введение

В последнее время факты в политическом дискурсе привлекают все большее внимание со стороны медиа, научного сообщества и широких общественно-политических кругов. Растет обеспокоенность содержанием информации, презентуемой в качестве фактов различными акторами¹. В американских выборных циклах чаще, чем прежде, в адрес политиков звучат обвинения в дезинформации общественности (особенно в связи с деятельностью Дональда Трампа²). Как следствие, получили развитие институты и практики проверки фактов (фактчекинг), которые сами стали объектом растущего числа академических исследований³.

¹ Mitchell et al. 2019; McGregor and Kreiss 2020.

² Greenberg 2016; Baker 2020.

³ Nieminen and Rapeli 2018.

⁴ Одно из проявлений этой тенденции — распространение таких терминов, как «постправда» и «альтернативные факты».

В литературе есть тенденция представлять эту проблематику как нечто новое⁴, однако интерес к ней прослеживается еще со времен Аристотеля. Производство фактов изучается в рамках различных направлений риторики и критического дискурса-анализа, к нему обращаются исследователи публичной сферы и эпистемических сообществ. Тем не менее на сегодняшний день так и не было разработано достаточно ясной и широко применимой концептуализации факта; соответственно, отсутствует и типология фактов, которую можно было бы использовать для задач дискурса-анализа. Именно с этим отчасти связано кажущееся бессилие общества перед наплывом разного рода сомнительной информации.

Цель концептуализации и последующего изучения политических фактов состоит в том, чтобы понять механизмы использования языка для построения и форматирования политической реальности. Дискурс-анализ показывает, как политические акторы задействуют язык, чтобы влиять на общественное мнение и результаты политики⁵. Путем исследования политического дискурса можно определить основные пресуппозиции, ценности и идеологии, которые формируют политические факты и убеждения⁶.

⁵ Hajer 1995.

⁶ Van Dijk 2001.

Анализируя язык, используемый политическими акторами, мы можем вскрыть способы, с помощью которых доминирующие группы производят политические факты и нарративы для сохранения своей власти и привилегий⁷. В свою очередь изучение политических фактов помогает понять сложные динамические механизмы, посредством которых язык формирует политическую реальность, а также выявить логику и возможные направления изменений этой реальности.

⁷ Bartels 2018.

В настоящей статье мы постараемся предложить и обосновать такую концептуализацию фактов, которая могла бы работать как эффективная посредническая модель, соединяющая различные традиции

за счет общего аппарата. На наш взгляд, достижения современной семиотики делают эту задачу вполне разрешимой. Для демонстрации потенциала предлагаемой концептуализации на ее основе будет построена общая типология фактов. Подобная типология имеет и практическое значение для изучения дискурса, особенно политического, когда центральным является спор о фактах. Она даст возможность исследователю, во-первых, сосредоточиться на определенных категориях фактов, во-вторых, встречаясь с любыми фактами, эффективно их категоризировать, определяя их ключевые характеристики.

**Факты
объективные,
субъективные
и другие**

Разговор о политических фактах полезно начать с определения этого понятия. Что такое факт в политической науке? В зависимости от научно-философской парадигмы данный термин может толковаться по-разному. Здесь противостоят, с одной стороны, эмпирическая и нормативная теории, с другой стороны, аналитическая и постмодернистская теории. Одни авторы стремятся выявить объективную истину о политике, чтобы затем соотнести с ней распространенные в политическом дискурсе положения и таким образом установить, что является фактом, а что нет. Другие делают упор на субъективную составляющую политики и любых «фактов», с ней связанных; в этом случае к «фактам» обычно относят то, что участники дискурса считают достоверным. Разница в подходах настолько велика, что их приверженцы зачастую не понимают друг друга⁸.

⁸ Karp 2009.

Предпринимались попытки навести мосты между этими подходами. Одна из них — теория конструирования общественной реальности Джона Сёрля⁹, где вводится понятие *институциональных фактов*, в которых соединяются субъективная составляющая, имеющая значение при производстве факта, и объективная составляющая, выражающаяся в том, что, когда общественная реальность уже сконструирована, она становится объективной. Объективными факты бывают тогда, когда они свободны от влияния чьих-либо предпочтений, оценок и моральных установок. Например, факт наличия в чьем-то кармане пяти долларов является институциональным, поскольку для его существования нужны общественные институты, такие как товарно-денежные отношения и финансовая система. Отдельную группу, по мысли Сёрля, образуют факты, не зависящие от общества вообще (например: вершина Эвереста покрыта льдом и снегом).

⁹ Searle 1995.

Подобное «наведение мостов» встретило поддержку многих исследователей, но далеко не всех¹⁰. Остаются как «чистые объективисты», так и «чистые субъективисты»: первые опасаются размыть значение для науки эмпирического опыта, вторые указывают на субъективный характер объективной (по Сёрлю) стороны институциональных фактов и субъективную обусловленность самих общественных институтов. Возможно, наиболее радикальной версии субъективизма придерживаются отдельные адепты лингвистического поворота в общественных

¹⁰ Bauböck 2008.

науках, отражающего признание особой важности языка в образовании смыслов, в частности Жак Деррида, Мишель Фуко и Лене Хансен. Согласно их представлениям, в известном смысле субъективно вообще все, о чем мы думаем и говорим, поскольку обусловлено языком, который есть постоянно меняющийся продукт меняющегося общества¹¹.

¹¹ Hendricks 2016.

Некоторые авторы видят путь к преодолению дилеммы объективности и субъективности в концепции интересубъективности, которая, впрочем, трактуется по-разному. В настоящей работе вслед за Алексом Гиллеспи и Флорой Корниш мы понимаем интересубъективность как «частично разделяемый [участниками дискурса] и в значительной степени самоочевидный [для них] смысловой фон, который они имеют в виду, когда что-либо говорят или делают»¹². Этот фон есть временная конвенция, которая постоянно пересматривается и меняется в процессе трансформации смыслов в результате действий (в широком смысле) интерлокуторов. Поэтому любой одномоментный «снимок» интересубъективной реальности обретает смысл только в динамике, во взаимоотношениях с другими «снимками». В связи с интересубъективной реальностью появляется возможность вести речь о свойственных ей интересубъективных фактах, то есть фактах, отражающих достигнутые в ходе коммуникации акторов временные конвенции.

¹² Gillespie and Cornish 2010: 19–21.

Интерсубъективность позволяет продемонстрировать, что объективные в глазах многих факты на самом деле ведут происхождение от субъективных «выдумок», в свое время занимавших маргинальное место в дискурсе, а некоторые маргинальные сегодня положения когда-то считались общепризнанными «объективными» истинами. История науки изобилует примерами обоих типов трансформаций — достаточно вспомнить законы Грегора Менделя, не нашедшие признания при жизни автора, или теорию относительности Альберта Эйнштейна, которая положила конец распространенным прежде теориям эфира. Сходные трансформации присущи и политическим дискурсам. Так, не далее чем в XIX в. американское общество находило оправдания рабству, и до 60-х годов прошлого столетия американцы африканского происхождения были ограничены в гражданских правах. Эта ситуация, которую в современном обществе невозможно себе представить, поддерживалась политическими, правовыми, религиозными институтами, где уважением пользовались «факты», доказывавшие естественность неравенства, а те, что утверждали обратное, были маргинализованы.

Каким именно образом происходят подобные трансформации, помогает понять анализ дискурса — средств языка и коммуникативных практик. Взаимодействуя между собой, *знаки* теряют прежние смыслы и обретают новые, некоторые *знаки* выходят из употребления, другие наращивают свое присутствие в дискурсе. В результате накопления малозаметных изменений в конечном итоге коренным образом меняется вся интересубъективная реальность.

Политические факты: их отличия и характерные признаки

Неоднозначность применения фактов в политике замечена давно. С одной стороны, у исследователей всегда было желание «добиться до истины» — найти способ определять, что в политической речи правда, а что вымысел. С другой стороны, сама сущность политики как борьбы за власть заставляет задуматься о том, имеет ли та самая «истина» вообще какое-либо значение с точки зрения стоящих перед политиками задач.

¹³ Easton 1953: 220—227.

Дэвид Истон предложил разделить политические факты на две категории: эмпирические факты и факты нормативные¹³. Эмпирические факты — это объективные наблюдаемые явления, которые можно измерить и проанализировать с помощью научных методов, таких как статистический анализ или эксперимент. Нормативные факты в свою очередь представляют собой субъективные суждения о должном, основанные на моральных или этических посылах.

К категории эмпирических относится, например, тот факт, что на промежуточных выборах в США явка, как правило, ниже, чем на президентских выборах. Этот факт поддается изучению с помощью статистических данных, и он может дать политикам и политтехнологам информацию о том, как привлечь избирателей к участию в промежуточных выборах.

Напротив, тот факт, что демократия является желательной формой правления, поскольку она обеспечивает права человека и способствует равенству, следует квалифицировать как нормативный, ибо он базируется на нормативном суждении о том, что морально правильно, а не на объективных эмпирических данных.

Такое разделение может вызвать двоякого рода возражения. Во-первых, многие исследователи демократии, сравнивая ее с авторитаризмом, приводят эмпирические данные в пользу ее предпочтительности. Во-вторых, как показывает практика, даже самые «твердые» эмпирические факты могут подвергаться сомнению, оспариваться или просто игнорироваться, а также применяться для доказательства противоположных мнений. Таким образом, независимо от своего содержания политический факт содержит прагматический и риторический потенциал, который полезно изучить отдельно, оставив за скобками вопрос о соответствии или несоответствии факта объективной истине.

¹⁴ Lasswell 1935: 3.

Согласно известному определению Гарольда Дуайта Лассуэлла, основное содержание и смысл политики состоят во властном распределении ценностных моделей в обществе¹⁴. Это краткое определение фиксирует несколько ключевых аспектов политики. Во-первых, оно включает в себя идею о том, что распределение в обществе ресурсов, благ и возможностей зависит от присущих этому обществу ценностей. Во-вторых, оно подчеркивает роль власти в политике. В любом социуме есть лица и группы, занимающие главенствующие позиции и способные принимать решения, влияющие на распределение ресурсов. В их число могут входить политические лидеры, руководители предприятий, общественные организаторы. Наконец, оно указывает на внутренне нормативный

характер политики. При распределении ресурсов утверждаются или закрепляются определенные ценности и приоритеты. Политические решения отражают конкретные представления о том, что в обществе важно или желательно, и могут иметь серьезные последствия для отдельных лиц и сообществ. В целом данное определение обеспечивает фундамент для понимания природы и динамики политического дискурса.

С точки зрения политического дискурс-анализа и политической семиотики разница между политическими фактами и фактами вообще заключается в том, как они конструируются и применяются в политическом дискурсе. Политические факты — это не просто объективные, нейтральные описания реальности; они призваны решать политические задачи, а потому наполняются политическим смыслом и значением¹⁵.

¹⁵ Machin 2013.

Политические факты конструируются и используются акторами для продвижения собственных планов, влияния на общественное мнение и получения определенных результатов. Они встроены в более широкие нарративы и дискурсы, отражающие основные идеологии и динамику власти. Политические факты могут оспариваться, и в зависимости от своих интересов и целей разные политические деятели могут создавать разные версии одного и того же факта¹⁶.

¹⁶ Zarefsky 2010.

Таким образом, политический дискурс-анализ и политическая семиотика выдвигают на первый план способы производства, применения и оспаривания политических фактов в рамках политического дискурса. Анализируя конструирование и использование политических фактов, исследователи могут получить представление о динамике отношений по поводу власти, а также об идеологических структурах, которые формируют политический дискурс и определяют результаты политики.

Политический дискурс-анализ и политическая семиотика — тесно связанные области, в которых основное внимание уделяется способам применения языка для построения смыслов, в особенности политических. Но если политический дискурс-анализ фокусируется в первую очередь на устной и письменной речи, то политическая семиотика задействует более широкий подход, исследуя также визуальные образы, жесты и материальные объекты.

Как отмечает Норман Фэркло, в современном обществе тексты становятся все более мультисемиотическими: язык сочетается в них с другими формами, такими как визуальные образы, музыка и графический дизайн. Это относится не только к телевидению, но и к печатным текстам, которые все чаще включают фотографии и диаграммы. Хотя язык сохраняет свое значение, крайне важно выяснить, как различные модальности взаимодействуют в мультисемиотических текстах¹⁷. И политический дискурс-анализ, и политическая семиотика стремятся понять, как семиотические ресурсы используются для построения политических значений и как они формируют политический дискурс и динамику отношений по поводу власти.

¹⁷ Fairclough 1995: 4.

По словам Гюнтера Кресса и Тео ван Леувена, социальная семиотика занимается изучением практик смыслообразования, которые

¹⁸ Kress and van Leeuwen 1996: 7–13.

никогда не бывают нейтральными или объективными, но всегда формируются (властными) отношениями в обществе¹⁸. Таким образом, социальная семиотика по своей сути является политической, поскольку имеет дело с обсуждением значений и отношений между социальными группами. Подчеркивая политическую природу смыслообразования и коммуникации, это заключение указывает на важность исследования способов применения языка и других семиотических ресурсов для построения политических фактов, нарративов и идеологий.

Сочетание методов политического дискурс-анализа и политической семиотики позволяет получить более полное представление о том, каким образом язык и иные семиотические ресурсы используются для конструирования и оспаривания политических смыслов, а также о том, каким образом они сами формируются более широкой динамикой властных отношений и идеологическими установками. Подобный междисциплинарный подход помогает прояснить как работу власти в политическом дискурсе, так и механизмы социальных и политических изменений.

**Семиотика:
общая, частная
и другая**

¹⁹ Morris 1938.

²⁰ Ильин 2014.

Семиотика давно претендует на роль посредника между различными дисциплинами и исследовательскими направлениями, на первый взгляд имеющими между собой мало общего. Эта тенденция, восходящая к идеям Чарльза Морриса о «чистой семиотике»¹⁹, обрела сегодня новое дыхание²⁰.

²¹ Fomin 2022.

²² Hodge and Kress 1988.

²³ Fomin 2022: 33.

²⁴ Peirce 2015.

За последние десятилетия был проделан путь от общей семиотики Фердинанда де Соссюра и Чарльза Сандерса Пирса к частным, прикладным семиотикам отдельных дисциплин. Эти прикладные семиотики получили настолько сильное развитие, что утратили непосредственную связь с общей семиотикой, тем самым поставив под удар изначальную амбицию Морриса создать общий язык для всех наук. Тем не менее в последнее время были сделаны важные шаги для восстановления связи общей и частных семиотик, по крайней мере в общественных науках. Здесь стоит упомянуть, в частности, работу Ивана Фомина о логономических знаках²¹, где развивается концепция логономических систем, предложенная Робертом Ходжем и Гюнтером Крессом²² для социальной семиотики на основе усовершенствованных пирсовских моделей знака. В качестве логономических Фомина квалифицирует «общественно разработанные знаки, которые ограничивают мультимодальный семиозис, определяя, кто может производить какие именно знаки и при каких обстоятельствах»²³. На наш взгляд, данный подход вполне применим и по отношению к фактам.

Мы предлагаем трактовать факты как разновидность *знаков* в терминологии Пирса²⁴. Такая концептуализация позволит в определенной степени преодолеть присущие современной политической науке расхождения в толковании понятия факта, поскольку обращается к наиболее общим параметрам рассматриваемого предмета. Обсуждая факты

в (политическом) дискурсе как *знаки*, мы связываем социальную семиотику с семиотикой общей. Для такого обсуждения недостаточно одних только пирсовских моделей или одних только особенностей дискурсивного наполнения, нам важны переходы от одного к другому. Поэтому вначале опишем факты как общую категорию, а затем перейдем к их специальным характеристикам.

Согласно определению Пирса, «*Знак <...>* есть нечто, репрезентирующее что-то другое, его *Объект*, для любого ума, который может его таким образом *Интерпретировать*»²⁵. Соответственно, *факт как разновидность знака* есть обладающее иллокутивной силой высказывание, репрезентирующее некоторое положение вещей *для ума, интерпретирующего эту репрезентацию в качестве претендующей на достоверность*. Если же говорить о *политическом* факте, то это факт, интерпретация которого мотивирована политической логикой (в понимании Лассуэлла).

Поскольку репрезентируемое положение вещей воспринимается субъектом как внешнее по отношению к высказыванию, оно играет роль Объекта пирсовской триады. Претензия репрезентации на достоверность в глазах интерпретирующего субъекта — условие, отличающее собственно факт: когда высказывание перестает восприниматься как достоверное, вся трехчастная конструкция выпадает для данного субъекта из разряда фактов.

Иногда разделяют факты и коммуникацию по поводу фактов. Мы считаем такое разделение излишним. Развивая предложенную Джоном Остином теорию речевых актов, Сёрль выделил два типа речевых актов — прямые и непрямые²⁶. Оба типа наделены иллокутивной силой, то есть являются по сути своей *действиями*, совершаемыми в разговоре и имеющими определенную цель или выполняющими определенную функцию. Но проявляется эта иллокутивная сила по-разному. В *прямых* речевых актах присутствует непосредственная связь между формой иллокутивного акта и его функцией (как, например, в высказывании на церемонии бракосочетания: «объявляю вас мужем и женой»). Подобного рода высказывания обычно и имеют в виду, когда говорят об иллокутивных актах. В *непрямых* речевых актах функция иллокутивного акта не связана эксплицитно с его структурой (например: «на улице дождь»). На первый взгляд может показаться, что подобное нарративное (констативное) высказывание не содержит в себе действия, или иллокутивной силы, но на самом деле эта сила присутствует в любом осмысленном высказывании. В приведенном примере целью может быть побуждение собеседника к тому, чтобы остаться дома или взять с собой зонт при выходе на улицу, или приглашение к общению. Истинный смысл высказывания может быть неясен адресату, в этом случае коммуникацию следует охарактеризовать как неуспешную.

Другими словами, речевые акты — не только перформативы, но также и нарративы (констативы) — всегда суть *действия*. Таким же действием, на наш взгляд, является и любой *факт* как один из вариантов

(или возможных содержаний) речевого акта по Сёрлю, хотя мы и привыкли воспринимать факты как события.

Опираясь на приведенное понимание речевых актов, можно определить место фактов в пирсовской классификации знаков.

Правомерно предположить, что любой факт с точки зрения его внутренней структуры потенциально раскладывается на всю пирсовскую классификацию (легисайн, синсайн, квалисайн). Можно представить себе факты-индексы, факты-символы и факты-иконы. Но хотя опыт подобной типологизации по-своему интересен, вряд ли он даст нам что-то новое в понимании именно фактов (в отличие от других типов знаков). Полезнее обратить внимание на то, что присуще собственно фактам, а именно на ту иллюкутивную силу, которую они в себе содержат. Эта сила проявляется в той или иной *интерпретации* (ожидаемой и/или реальной) знака интерпретирующим субъектом, которому знак адресован. Здесь нам поможет предложенная Пирсом классификация интерпретантов.

Интерпретация фактов в политическом дискурсе

²⁷ *Hardwick (ed.) 1977.*

²⁸ *Liszka 1990.*

Классификация интерпретантов Пирса существует в нескольких вариантах, которые в значительной мере пересекаются и дополняют друг друга²⁷. Речь идет не о разных основаниях классификации, а скорее о разных способах ее практического применения, например, для описания конкретных человеческих взаимодействий или для семиозиса *per se*. Возьмем вариант, подразделяющий интерпретанты на *эмоциональные, энергетические и логические*²⁸, так как данное деление, судя по всему, имеет наибольшее значение для человеческой коммуникации. Эмоциональный интерпретант отражает чувство, вызываемое знаком; энергетический — действие, порождаемое знаком (или совершаемое по отношению к знаку); логический — всю полноту смысла знака, которую потенциально можно раскрыть в коммуникации, но которая не обязательно доступна конкретному интерпретирующему субъекту.

Поскольку, как мы показали ранее, факты в дискурсе представляют собой действия (хотя порой и кажутся событиями), такая классификация возможна и для фактов. В процессе интерпретации фактов субъект совершает ряд действий. Во-первых, он эмоционально реагирует на факт (положительно или отрицательно). Во-вторых, он выбирает, актуализировать ли факт в дискурсе или «забыть» о нем. В-третьих, актуализируя факт, он может принять его как подлинный или усомниться в его истинности. В-четвертых, он может модифицировать факт в соответствии со своими интересами. Во всех этих случаях желания и возможности субъекта ограничены желаниями и возможностями других субъектов, с которыми он взаимодействует в рамках дискурса. Другие субъекты тоже решают, какие именно факты воспроизводить, как к ним относиться и каким образом их модифицировать. Политик, как правило, не в состоянии предъявить обществу для обсуждения любую пришедшую ему в голову идею, которая бы послужила продвиже-

нию его интересов, будь она принята всеми как факт. Он вынужден действовать в пределах коридора возможностей, выход за которые чреват для него негативными последствиями. Актуализировать приходится такие факты, которые встречают достаточно серьезное отношение у адресатов послания. Пренебрегать ограничениями политик не будет если не из любви к объективной истине или стремления к общественному консенсусу, то потому, что такое пренебрежение способно повредить его претензиям на власть²⁹. Эти подразумеваемые конвенции, ограничивающие и направляющие дискурс, и есть intersubjectивность, которой в классификации Пирса будет соответствовать логический знак, то есть потенциал интерпретации факта на intersubjectивном уровне.

²⁹ *Подробнее о том, как общественная структура и политическая власть придают смысл информации, см., напр. Sinha 2022.*

Другой разновидностью классификации интерпретантов Пирса является подразделение их на *интенциональные*, *эффектуальные* и *коммуникативные*³⁰. Этим категориям соответствуют: 1) настроение ума говорящего субъекта, 2) настроение ума интерпретирующего субъекта и 3) настроение ума, в который умы первых двух субъектов должны слиться, чтобы коммуникация состоялась. Для нас важно, что при актуализации фактов в дискурсе описанные выше действия совершают говорящий субъект, интерпретирующий субъект, а также intersubjectивность, в которой представлены они оба. Поскольку набор совершаемых действий для любого субъекта (количество которых в дискурсе может быть очень большим) будет одним и тем же, мы далее рассмотрим варианты ориентации единичного субъекта по отношению к факту. Все эти варианты можно разместить в модели с тремя измерениями — актуализация/игнорирование, принятие/отвержение, сохранение/модификация. Представим эту трехмерную модель в виде трех двухмерных таблиц (см. *табл. 1–3*).

³⁰ *Hardwick (ed.) 1977.*

В образованной при наложении данных таблиц друг на друга трехмерной кубической модели оказываются представлены восемь типов фактов (по отношению к ним субъекта): актуализируемые принимаемые сохраняемые, актуализируемые принимаемые модифицируемые, актуализируемые отвергаемые сохраняемые, актуализируемые отвергаемые модифицируемые, игнорируемые принимаемые сохраняемые, игнорируемые принимаемые модифицируемые, игнорируемые отвергаемые сохраняемые, игнорируемые отвергаемые модифицируемые.

Отдельно взятый факт можно с уверенностью отнести к той или иной категории только в определенный момент времени и применительно к конкретному случаю интерпретации, так как в другой момент времени, заново интерпретируя тот же факт, субъект может выстроить с ним другую систему отношений. Например, категория игнорируемых фактов подразумевает, что по отношению к рассматриваемому факту субъект является пассивным участником дискурса (что не мешает ему строить в своем уме некие отношения с указанным фактом); в изменившихся условиях субъект может стать активным участником дискурса, переведя факт в категорию актуализируемых.

Таблица 1 Типология фактов по принятию/актуализации

<i>Принятие / отвержение</i>	принимаемые	отвергаемые
<i>Актуализация / игнорирование</i>		
актуализируемые	актуализируемые принимаемые	актуализируемые отвергаемые
игнорируемые	игнорируемые принимаемые	игнорируемые отвергаемые

Таблица 2 Типология фактов по принятию/сохранению

<i>Принятие / отвержение</i>	принимаемые	отвергаемые
<i>Сохранение / модификация</i>		
сохраняемые	сохраняемые прини- маемые	сохраняемые отвер- гаемые
модифицируемые	модифицируемые принимаемые	модифицируемые отвергаемые

Таблица 3 Типология фактов по актуализации/модификации

<i>Актуализация / игнорирование</i>	актуализируемые	игнорируемые
<i>Сохранение / модификация</i>		
сохраняемые	актуализируемые сохраняемые	игнорируемые сохраняемые
модифицируемые	актуализируемые модифицируемые	игнорируемые модифицируемые

³¹ Среди этих характеристик центральную роль играет политическая идеология. Классификация политических идеологий в зависимости от разделяемых субъектами ценностей представлена в: Казаков 2023.

Какой именно вариант отношений с фактом выберет субъект, зависит от множества обстоятельств — эмоциональной реакции субъекта на факт, параметров Знакового средства, характеристик самого субъекта³¹ и его отношений с другими субъектами, а также от возможного вмешательства того, что воспринимается как Объект (отражаемое фактом положение вещей в объективной реальности). Все это предопределяет особенности интерпретации и, как следствие, тот или иной вариант отношений субъекта с фактом. Далее результирующий знак вступает во взаимодействие с результирующими знаками других субъектов, возникшими в ходе аналогичного процесса, и вместе они порождают интерсубъективную реальность, которая в свою очередь воздействует на них.

Об одном и том же факте можно рассуждать с точки зрения говорящего субъекта, с точки зрения субъекта воспринимающего и с точки зрения общей для них интерсубъективной реальности (для каждого будет актуальна своя система отношений с фактом, которую можно описать при помощи предлагаемой модели).

Конечно, здесь могут возникнуть сомнения в правомерности включения в классификацию отвергаемых обществом (маргинальных) фактов, которые едва ли можно отнести к фактам в традиционном смысле слова. На это ответим, что данная категория необходима хотя бы в качестве умозрительной противоположности принимаемым обществом (общепризнанным) фактам. Не будем забывать и о том, что факты, маргинальные в одном дискурсе, вполне могут быть общепризнанными в другом³². Так, в современном западном обществе при конструировании консенсуса часто ссылаются на авторитет права и науки, но, во-первых, так было не всегда, а во-вторых, в других обществах гораздо более значим авторитет религии³³. Кроме того, между собственно научкой и расхожими представлениями о ней, в том числе доминирующими в умах практикующих западных политиков, есть существенная разница³⁴. Если мы хотим обрести инструментарий для исследования любых политических дискурсов независимо от историко-географических ограничений, стоит отказаться от излишнего сциентизма в типологизации фактов и быть готовыми воспринять позицию изучаемого субъекта, какой бы она ни была.

Формирующее дискурс общество, а точнее, его коллективный Интерпретант имеет свою уникальную особенность, которой нет у отдельных его частей: факты в нем не только конструируются, но и оспариваются — по тем же разделительным линиям. Противоречивые тенденции к актуализации и игнорированию, принятию и отвержению, консервации и модификации, а также к модификации фактов в противоположных направлениях сталкиваются в дискурсе. Ситуации дискурсивного оспаривания фактов можно обнаружить как в статике (в отдельный момент времени), так и в динамике (количественные и качественные изменения с течением времени). Категория оспариваемых фактов увеличивает свое значение в периоды острых общественно-политических расколов по идеологическим линиям. Однако вопрос о том, почему и как это происходит, требует специального исследования.

Изучение оспариваемых фактов представляет, на наш взгляд, больший интерес, чем изучение фактов общепризнанных или маргинальных, поскольку именно они генерируют наиболее серьезные политические разломы. Политики могут спорить не только о фактах, но и, например, о том, как следует относиться к общепризнанным фактам, какие цели следует считать приоритетными для общества и какие методы использовать для их достижения. Расширенный набор возможных предметов политического спора предлагает риторический анализ³⁵. Но когда этим предметом становятся сами факты (по линии принятие/отвержение), для споров другого типа зачастую не остается места.

³² Подробнее о культурных различиях дискурсов см., напр. Carbaugh 2007.

³³ Needham 1964.

³⁴ См., напр. Moscovici 1984.

³⁵ Finlayson 2007.

Невозможность разрешить указанный спор приводит к взаимному отчуждению сторон и поляризации политического пространства, что говорит о глубоких общественных противоречиях³⁶. Анализ политического дискурса позволяет понять природу таких противоречий.

³⁶ Tucker et al. 2018.

Библиография

- Ильин М.В. (2014) «Методологический вызов. Что делает науку единой? Как соединить разбеденные сферы познания?» // *МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. Вып. 4: Поверх методологических границ*. М.: ИНИОН РАН: 6—11.
- Казаков И.В. (2023) «Происхождение и классификация политических идеологий: междисциплинарный подход» // *Политическая наука*, № 1: 322—337.
- Baker P. (2020) «Dishonesty Has Defined the Trump Presidency. The Consequences Could Be Lasting» // *New York Times*, 3.11. URL: <https://www.nytimes.com/2020/11/01/us/politics/trump-presidency-dishonesty.html> (accessed on 23.02.2023).
- Bartels L.M. (2018) *Unequal Democracy: The Political Economy of the New Gilded Age*. Princeton: Princeton University Press.
- Bauböck R. (2008) «Normative Political Theory and Empirical Research» // Della Porta D. and M.Keating, eds. *Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press: 40—60.
- Carbaugh D. (2007) «Cultural Discourse Analysis: Communication Practices and Intercultural Encounters» // *Journal of Intercultural Communication Research*, vol. 36, no. 3: 167—182.
- Cutting J. (2002) *Pragmatics and Discourse*. London: Routledge.
- Easton D. (1953) *The Political System: An Inquiry into the State of Political Science*. New York: Alfred A. Knopf.
- Fairclough N. (1995) *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London: Routledge.
- Finlayson A. (2007) «From Beliefs to Arguments: Interpretive Methodology and Rhetorical Political Analysis» // *British Journal of Politics and International Relations*, vol. 9, no. 4: 545—563.
- Fomin I. (2022) «Logonomic Signs as Three-Phase Constraints of Multimodal Social Semiosis» // *Semiotica*, no. 247: 33—54.
- Gillespie A. and F.Cornish. (2010) «Intersubjectivity: Towards a Dialogical Analysis» // *Journal for the Theory of Social Behaviour*, vol. 40, no. 1: 19—46.
- Greenberg D. (2016) «Are Clinton and Trump the Biggest Liars Ever to Run for President?» // *POLITICO Magazine*, July/August. URL: <https://www.politico.com/magazine/story/2016/07/2016-donald-trump-hillary-clinton-us-history-presidents-liars-dishonest-fabulists-214024> (accessed on 23.02.2023).
- Hajer M.A. (1995) *The Politics of Environmental Discourse: Ecological Modernization and the Policy Process*. Oxford: Clarendon Press.

Hardwick Ch., ed. (1977) *Semiotic and Significs: The Correspondence between Charles S. Peirce and Victoria Lady Welby*. Bloomington: Indiana University Press.

Hendricks G.P. (2016) «Deconstruction the End of Writing: „Everything Is a Text, There Is Nothing Outside Context“» // *Verbum et Ecclesia*, vol. 37, no 1: 1—9.

Hodge R. and G.Kress. (1988) *Social Semiotics*. Ithaca: Cornell University Press.

Karp D.J. (2009) «Facts and Values in Politics and Searle's Construction of Social Reality» // *Contemporary Political Theory*, vol. 8, no. 2: 152—175.

Kress G. and T. van Leeuwen. (1996) *Reading Images: The Grammar of Visual Design*. London: Routledge.

Lasswell H.D. (1935) *World Politics and Personal Insecurity*. New York: McGrawHill.

Liszka J.J. (1990) «Peirce's Interpretant» // *Transactions of the Charles Sanders Peirce Society*, vol. 26, no. 1: 17—62.

Machin D. (2013) «What Is a Political Fact?» // Van den Berg H.E., A.P.Muntjewerff, and A.Muskens, eds. *Critical Discourse Studies in Context and Cognition*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company: 111—127.

McGregor S.C. and D.Kreiss. (2020) «Americans Are Too Worried About Political Misinformation» // *Slate Magazine*, 30.10. URL: <https://slate.com/technology/2020/10/misinformation-social-media-election-research-fear.html> (accessed on 23.01.2023).

Mitchell A., C.Blazina, G.Stocking, M.Walker, and S.Fedeli. (2019) «Many Americans Say Made-Up News Is a Critical Problem That Needs to Be Fixed» // *Pew Research Center*, 5.06. URL: <https://www.journalism.org/2019/06/05/many-americans-say-made-up-news-is-a-critical-problem-that-needs-to-be-fixed/> (accessed on 23.02.2023).

Morris C. (1938) *Foundations of the Theory of Signs*. Chicago: University of Chicago Press.

Moscovici S. (1984) «The Phenomenon of Social Representations» // Farr R.M. and S.Moscovici, eds. *Social Representations*. Cambridge: Cambridge University Press: 3—69.

Needham J. (1964) «Science and Society in East and West» // *Science and Society*, vol. 28, no. 4: 385—408.

Nieminen S. and L.Rapeli. (2018) «Fighting Misperceptions and Doubting Journalists' Objectivity: A Review of Fact-checking Literature» // *Political Studies Review*, vol. 17, no. 3: 296—309.

Peirce C.S. (2015) «Sign [From „Essays on Meaning. Preface“ (1909)]» // *Commens: Digital Companion to C.S.Peirce*. URL: <http://www.commens.org/dictionary/entry/quote-essays-meaning-preface> (accessed on 23.02.2023).

Searle J.R. (1995) *The Construction of Social Reality*. New York: Free Press.

Sinha C. (2022) «Liberating Data: Politics of Reality in Interdisciplinary Social Psychology» // *Integrative Psychological and Behavioral Science*, February: 1—22.

Tucker J.A., A.Guess, P.Barbera, C.Vaccari, A.Siegel, S.Sanovich, D.Stukal, and B.Nyhan. (2018) *Social Media, Political Polarization, and Political Disinformation: A Review of the Scientific Literature*. Official report prepared for the William and Flora Hewlett Foundation. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/6924/de9691e8f1bb5477da3907e2f5372ad0e565.pdf?_gl=1*d1jko4*_ga*MjE0Njg3NzUzNC4xNjM1MTcxMjly*_ga_H7P4ZT52H5*MTY4MTU3OTIxNi4xNS4wLjE2ODE1NzkyMTkuMC4wLjA (accessed on 15.04.2023).

Van Dijk T.A. (2001) «Critical Discourse Analysis» // Tannen D., D.Schiffrin, and H.Hamilton, eds. *The Handbook of Discourse Analysis*. Oxford: Blackwell Publishers: 352—371.

Zarefsky D. (2010) «Political Discourse» // Wodak R. and M.Meyer, eds. *Methods of Critical Discourse Analysis*. London: Sage: 94—115.



πολιτικά

I.V.Kazakov

POLITICAL FACTS AND PRODUCTION OF MEANINGS IN DISCOURSE

Ilya V. Kazakov — Ph.D. Candidate at the Department of Politics and Governance, HSE University; Assistant at the Department of Philosophy and Theology, Pskov State University. E-mail: i.v.kazakov@list.ru.

Abstract. The article proposes conceptualization of a political fact as a semiotic sign, based on Peirce’s models, which were reexamined by a number of modern researchers and filled with a discursive content. Facts are defined as statements with illocutionary power that represent a state of affairs to the mind, which interprets that representation as valid. Political facts differ from others in that the process of their interpretation is politically motivated i.e., pragmatically and normatively. Fact is also considered as a special case of a speech act: following John Searle, the author believes that such acts are always illocutionary, although there is not always a direct connection between the structure of an utterance and its intended meaning

On the basis of such understanding of facts and Peirce’s classification of interpretants, the author builds semiotic typology of facts. He distinguishes between eight types of facts depending on the position of an interpretant in relation to a sign. All types of facts are located in a three-dimensional conceptual model, which is presented in the article in three tables. The author reveals possible prerequisites that determine a subject’s choice of this or the other mode of the interpretation of facts. The author finds a connection between certain

types of interpretants with behavioral choices of subjects, as well as with the concept of intersubjectivity.

According to the author, such conceptualization can work as an intermediary model that connects various scientific traditions via a single apparatus that allows overcoming the differences between individual approaches through an appeal to more general characteristics of the subject. The constructed typology of facts also has practical significance, especially in the study of political discourse, where dispute about facts plays a central role. It gives a researcher an opportunity not only to focus on certain categories of facts, but also, when faced with any facts, to effectively categorize them, identifying their key characteristics.

Keywords: fact, semiotics, sign, interpretant, intersubjectivity, speech act

References

- Baker P. (2020) “Dishonesty Has Defined the Trump Presidency. The Consequences Could Be Lasting” // *New York Times*, 3.11. URL: <https://www.nytimes.com/2020/11/01/us/politics/trump-presidency-dishonesty.html> (accessed on 23.02.2023).
- Bartels L.M. (2018) *Unequal Democracy: The Political Economy of the New Gilded Age*. Princeton: Princeton University Press.
- Bauböck R. (2008) “Normative Political Theory and Empirical Research” // Della Porta D. and M.Keating, eds. *Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press: 40–60.
- Carbaugh D. (2007) “Cultural Discourse Analysis: Communication Practices and Intercultural Encounters” // *Journal of Intercultural Communication Research*, vol. 36, no. 3: 167–182.
- Cutting J. (2002) *Pragmatics and Discourse*. London: Routledge.
- Easton D. (1953) *The Political System: An Inquiry into the State of Political Science*. New York: Alfred A. Knopf.
- Fairclough N. (1995) *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London: Routledge.
- Finlayson A. (2007) “From Beliefs to Arguments: Interpretive Methodology and Rhetorical Political Analysis” // *British Journal of Politics and International Relations*, vol. 9, no. 4: 545–563.
- Fomin I. (2022) “Logonomic Signs as Three-Phase Constraints of Multimodal Social Semiosis” // *Semiotica*, no. 247: 33–54.
- Gillespie A. and F.Cornish. (2010) “Intersubjectivity: Towards a Dialogical Analysis” // *Journal for the Theory of Social Behaviour*, vol. 40, no. 1: 19–46.
- Greenberg D. (2016) “Are Clinton and Trump the Biggest Liars Ever to Run for President?” // *POLITICO Magazine*, July/August. URL: <https://www.politico.com/magazine/story/2016/07/2016-donald-trump-hillary-clinton-us-history-presidents-liars-dishonest-fabulists-214024> (accessed on 23.02.2023).

Hajer M.A. (1995) *The Politics of Environmental Discourse: Ecological Modernization and the Policy Process*. Oxford: Clarendon Press.

Hardwick Ch., ed. (1977) *Semiotic and Significs: The Correspondence between Charles S. Peirce and Victoria Lady Welby*. Bloomington: Indiana University Press.

Hendricks G.P. (2016) “Deconstruction the End of Writing: „Everything Is a Text, There Is Nothing Outside Context“” // *Verbum et Ecclesia*, vol. 37, no 1: 1—9.

Hodge R. and G.Kress. (1988) *Social Semiotics*. Ithaca: Cornell University Press.

Ilyin M.V. (2014) “Metodologicheskij vyzov. Chto delaet nauku edinoj? Kak soedinit’ raz’edinennye sfery poznanija?” [Methodological Challenge. What Makes Science Unified? How to Connect the Disconnected Spheres of Knowledge?] // *METOD: Moskovskij ezhegodnik trudov iz obshchestvovedcheskikh distsiplin. Vyp. 4: Poverkh metodologicheskikh granits* [METHOD: Moscow Yearbook of Social Studies. Issue 4: Crossing Methodological Boundaries]. Moscow: INION RAN: 6—11. (In Russ.)

Karp D.J. (2009) “Facts and Values in Politics and Searle’s Construction of Social Reality” // *Contemporary Political Theory*, vol. 8, no. 2: 152—175.

Kazakov I.V. (2023) “Proiskhozhdenie i klassifikatsija politicheskikh ideologij: mezhdistsiplinarnyj podkhod” [The Origins and Classification of Ideologies: A Multidisciplinary Approach] // *Politicheskaja nauka* [Political Science], no. 1: 322—337. (In Russ.)

Kress G. and T. van Leeuwen. (1996) *Reading Images: The Grammar of Visual Design*. London: Routledge.

Lasswell H.D. (1935) *World Politics and Personal Insecurity*. New York: McGrawHill.

Liszka J.J. (1990) “Peirce’s Interpretant” // *Transactions of the Charles Sanders Peirce Society*, vol. 26, no. 1: 17—62.

Machin D. (2013) “What Is a Political Fact?” // Van den Berg H.E., A.P.Muntjewerff, and A.Muskens, eds. *Critical Discourse Studies in Context and Cognition*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company: 111—127.

McGregor S.C. and D.Kreiss. (2020) “Americans Are Too Worried About Political Misinformation” // *Slate Magazine*, 30.10. URL: <https://slate.com/technology/2020/10/misinformation-social-media-election-research-fear.html> (accessed on 23.01.2023).

Mitchell A., C.Blazina, G.Stocking, M.Walker, and S.Fedeli. (2019) “Many Americans Say Made-Up News Is a Critical Problem That Needs to Be Fixed” // *Pew Research Center*, 5.06. URL: <https://www.journalism.org/2019/06/05/many-americans-say-made-up-news-is-a-critical-problem-that-needs-to-be-fixed/> (accessed on 23.02.2023).

Morris C. (1938) *Foundations of the Theory of Signs*. Chicago: University of Chicago Press.

Moscovici S. (1984) “The Phenomenon of Social Representations” // Farr R.M. and S.Moscovici, eds. *Social Representations*. Cambridge: Cambridge University Press: 3—69.

Needham J. (1964) “Science and Society in East and West” // *Science and Society*, vol. 28, no. 4: 385—408.

Nieminen S. and L.Rapeli. (2018) “Fighting Misperceptions and Doubting Journalists’ Objectivity: A Review of Fact-checking Literature” // *Political Studies Review*, vol. 17, no. 3: 296—309.

Peirce C.S. (2015) “Sign [From „Essays on Meaning. Preface“ (1909)]” // *Commens: Digital Companion to C.S.Peirce*. URL: <http://www.commens.org/dictionary/entry/quote-essays-meaning-preface> (accessed on 23.02.2023).

Searle J.R. (1995) *The Construction of Social Reality*. New York: Free Press.

Sinha C. (2022) “Liberating Data: Politics of Reality in Interdisciplinary Social Psychology” // *Integrative Psychological and Behavioral Science*, February: 1—22.

Tucker J.A., A.Guess, P.Barbera, C.Vaccari, A.Siegel, S.Sanovich, D.Stukal, and B.Nyhan. (2018) *Social Media, Political Polarization, and Political Disinformation: A Review of the Scientific Literature*. Official report prepared for the William and Flora Hewlett Foundation. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/6924/de9691e8f1bb5477da3907e2f5372ad0e565.pdf?_gl=1*d1jko4*_ga*MjE0Njg3NzUzNC4xNjM1MTcxMjIy*_ga_H7P4ZT52H5*MTY4MTU3OTIxNi4xNS4wLjE2ODE1NzkyMTkuMC4wLjA (accessed on 15.04.2023).

Van Dijk T.A. (2001) “Critical Discourse Analysis” // Tannen D., D.Schiffrin, and H.Hamilton, eds. *The Handbook of Discourse Analysis*. Oxford: Blackwell Publishers: 352—371.

Zarefsky D. (2010) “Political Discourse” // Wodak R. and M.Meyer, eds. *Methods of Critical Discourse Analysis*. London: Sage: 94—115.



М.Э.Никитин
**ВОЕННЫЙ ОПЫТ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЛИДЕРОВ
И КОНФЛИКТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
АВТОРИТАРНЫХ РЕЖИМОВ
НА ПРИМЕРЕ АФРИКИ**

Максим Эльдарович Никитин — бакалавр политических наук Московской высшей школы социальных и экономических наук и Университета Манчестера (BA (Hons) in International Politics), магистрант программы «Доказательное развитие образования» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Для связи с автором: mxn@universitas.ru.

Аннотация. В последнее десятилетие в международно-политической науке наметилась тенденция к возвращению человека в фокус исследования. Все большее число исследователей признает: чтобы понять поведение государства, необходимо учитывать установки и поведение государственных лидеров. Предполагается, что такой угол зрения поможет опровергнуть шаблонное представление, согласно которому конфликтные ситуации возникают исключительно под влиянием экзогенных факторов, и если какое-то событие произошло, то лишь потому, что оно было детерминировано внешней средой.

В статье предпринята попытка проанализировать влияние военного опыта государственных лидеров на участие возглавляемых ими стран в вооруженных конфликтах на примере авторитарных режимов в Африке. Используя метод регрессионного анализа, автор прослеживает, каким образом прошлый военный опыт отражается на склонности государственного лидера к конфликтным действиям во внешнеполитической сфере. В центре его внимания три типа такого опыта: (1) служба в армии без участия в боевых действиях (преимущественно штабная); (2) личное участие в боевых действиях; (3) участие в повстанческих вооруженных формированиях.

Проведенное исследование доказывает, что военный опыт оказывает серьезное и устойчивое влияние на последующее поведение лидеров. При наличии у лидера штабного прошлого статистическая вероятность инициирования им вооруженного конфликта в 2,7 раза выше, чем при отсутствии такового. Увеличивает вероятность инициирования военных действий и участие в повстанческих группировках. В свою очередь боевой опыт имеет

противоположный эффект: вероятность того, что лидеры с боевым опытом будут инициировать военные конфликты, в два раза ниже, чем в случае лидеров, не бывавших на поле боя.

Ключевые слова: государственные лидеры, военный опыт, вооруженные конфликты, авторитарные режимы, Африка

Введение

Не будет преувеличением сказать, что историю творят люди. От войн и протестов до выборов во многом детерминирующее значение имеет то, как ведут себя люди. Прежде всего это касается лидеров государств, которые вносят немалый вклад в определение судеб своих стран и формирование политического ландшафта в целом. Одна из наиболее очевидных проекций этой роли — принятие решения о войне и мире. Именно лидеры в конечном счете несут ответственность за вступление своей страны в войну или ее предотвращение. При этом лидеры по-разному реагируют на внешние вызовы и угрозы, и характер этой реакции не в последнюю очередь зависит от их прошлого опыта. Здесь уместно вспомнить Карибский кризис 1962 г., когда мир оказался на грани ядерной катастрофы. 26 октября Никита Хрущев, прошедший через Гражданскую и Великую отечественную войну, направил президенту США Джону Кеннеди письмо, в котором, в частности, говорилось: «...Если действительно разразится война, то остановить ее будет не в наших силах, ибо такова логика войны. Я участвовал в двух войнах и знаю, что война заканчивается, прокатившись по городам и селам, сея повсюду смерть и разрушения. <...> ...только безумец может верить, что оружие — главное в жизни общества. Нет, оно предполагает бессмысленную растрату человеческой энергии и, более того, нацелено на уничтожение самого человека. Если люди не проявят мудрости, то в конце концов столкнутся между собой, как слепые кроты, и тогда начнется взаимное истребление»¹. Не вызывает сомнений, что подобный взгляд Хрущева на войну сыграл свою роль в разрешении кризиса.

¹ *Khrushchev 1962.*

В течение многих десятилетий международно-политическая наука противилась включению лидеров в число центральных единиц анализа, концентрируясь на элементах «общей картины», таких как структура международной системы или баланс сил. Так, в рамках структурного реализма и неолиберального институционализма, вот уже почти 60 лет доминирующих в теории международных отношений, внимание сосредоточено на системных и государственных факторах и атрибутах, способных влиять на вероятность конфликта между государствами. Приверженцы данных подходов исследуют стимулы и ограничения, с которыми сталкиваются государства, оставляя вне поля зрения единичных акторов, включая лидеров.

В последнее десятилетие в академической среде намечилась тенденция к возвращению человека в фокус исследования, в том числе в сфере международной политики. Как подчеркивают, в частности,

² Byman and Pollack 2001: 109.

Даниэль Байман и Кеннет Поллак, «цели, способности и недостатки отдельных людей имеют решающее значение для намерений, возможностей и стратегий государства»². Все большее число исследователей признает: чтобы понять поведение государства, необходимо учитывать установки и поведение государственных лидеров. Предполагается, что такой угол зрения поможет опровергнуть шаблонное представление, согласно которому конфликтные ситуации возникают исключительно под влиянием экзогенных факторов, и если какое-то событие произошло, то лишь потому, что оно было детерминировано внешней средой. Ведь балансирование, выбор стратегии и т.п. во многом являются результатом личных решений. Все это указывает на важность изучения индивидуальных акторов (лидеров).

В настоящей статье предпринята попытка проанализировать влияние военного опыта государственных лидеров на участие возглавляемых ими стран в вооруженных конфликтах на примере авторитарных режимов в Африке. Используя метод регрессионного анализа, мы постараемся проследить, каким образом прошлый военный опыт отражается на склонности государственного лидера к конфликтным действиям во внешнеполитической сфере.

Теоретическая рамка

³ Ripsman, Taliaferro, and Lobell 2016: 16—30.

В качестве теоретической рамки нашего исследования выступает неоклассический реализм, совмещающий в себе элементы классического и структурного реализма и делающий акцент на взаимосвязи структуры международной системы и внутригосударственных факторов³, что в свою очередь предполагает упор на перцепции государствами международной системы. Данный подход обладает большей объяснительной силой, нежели структурный реализм *per se*, включая в анализ внутренние политические и перцептивные процессы, учет которых позволяет точнее разобраться в логике выбора государством того или иного решения и нюансировать связь между внешней средой и действиями лидера⁴.

⁴ *Ibid.*: 31.

Согласно неоклассическому реализму, одной из ключевых переменных в мировой политике является *стратегическая среда государства*, которая может быть разрешительной (*permissive*) или ограничительной (*restrictive*). Различие между разрешительной и ограничительной стратегическими средами определяется «неизбежностью и масштабностью угроз, с которыми сталкиваются государства, и открывающимися перед ними возможностями»⁵. Как отмечают Норин Рипсман, Джеффри Талиаферро и Стивен Лобелл, «при прочих равных условиях, чем неотвратимее и опаснее угроза (и реальнее и заманчивее возможность), тем более ограничительной является стратегическая среда государства. И наоборот: чем менее непосредственны и интенсивны угрозы и возможности, тем более эта среда разрешительная»⁶. При этом в стратегических средах второго типа реакция государства на угрозы и его способность балансировать в значительной мере зависят от внутриполитических обстоятельств⁷. В рамках разрешительной стратегической

⁵ *Ibid.*: 52.

⁶ *Ibidem*.

⁷ *Ibid.*: 93—95.

среды внутренние характеристики оказывают существенное, а иногда и ключевое влияние на действия государства, что упрощает выявление роли институциональных и/или личностных факторов.

Необходимо подчеркнуть, что подобная трактовка не умаляет важности структурных особенностей среды, которые по-прежнему определяют базовые параметры вероятного стратегического выбора, а также диапазон возможных результатов в международной политике; в этом плане неоклассический реализм не означает возвращения к тому, что Кеннет Нил Уолтц называл «вторым образом» (то есть к представлению, что причины войн коренятся в «дефектах» государственного устройства)⁸. Речь идет скорее о том, что при отсутствии экзистенциальных или просто очевидных угроз извне следует ожидать повышения значимости внутренних институтов и моделей отношений между властью и обществом для понимания конкретных действий государства.

⁸ *Ibid.*: 95—97.

Данное теоретическое допущение позволяет нам сфокусироваться на том, что обычно учитывается лишь в качестве промежуточных переменных, а именно на внутренних характеристиках государства, которые начинают играть ключевую роль в объяснении его поведения в международно-политической сфере. Логика, в которой мы рассматриваем такие характеристики, продолжает общий реалистский стиль объяснения: институты государства трактуются как среда, которая может обеспечивать лидерам большую свободу действий либо, наоборот, сдерживать их⁹. Иными словами, подобно тому как разрешительная внешняя среда делает каузально первичными внутренние характеристики государства, так и определенный институциональный дизайн и режимные особенности способны сделать личностные черты лидера значимыми для объяснения международно-политических действий государства.

⁹ *Ibid.*: 33—34.

Соответственно, логика нашего исследования выглядит следующим образом. Мы шаг за шагом фиксируем средовые условия, сначала на международном, а затем на внутрисредовом уровне, подбирая их так, чтобы рельефнее высветить фактор лидера. Личные качества людей, принимающих внешнеполитические решения¹⁰, играют немаловажную роль, влияя на реакцию государства на внешние стимулы¹¹. Поскольку поступающая информация неизбежно проходит через определенные «когнитивные фильтры»¹², в качестве которых выступают ценности, убеждения и ментальные образы лидеров¹³, перцепцией становится итог того, как в силу индивидуальных особенностей последние воспринимают сигналы, угрозы и события. Однако эти «фильтры» приобретают ключевое значение лишь тогда, когда внешние и внутренние средовые условия оказываются достаточно разрешительными.

¹⁰ *Ripsman и ее соавторы называют их руководителями внешней политики (Ibid.: 61).*

¹¹ *Ibid.*: 63.

¹² *Jervis 1976: 3—5.*

¹³ *Ripsman, Taliaferro, and Lobell 2016: 62.*

Разрешительная международная среда. Африка

¹⁴ *См. Polity IV s.a.*

Африка — плодотворное поле для политических исследований в силу огромного числа авторитарных персоналистских режимов, гражданских войн, сложной этнической мозаики общества и случаев вождизма в политике¹⁴. Однако для нашего исследования критически зна-

чимо другое свойство Африки — это уникальная региональная система, в которой исключительно высокий уровень конфликтности (гражданские войны, вооруженные межгосударственные споры) сочетается с надежностью существования государств. По справедливому, хотя и жесткому замечанию Роберта Джексона, африканские государственные образования являются квазигосударствами — в том смысле, что их сохранение в большей мере гарантируется международными нормами, нежели их собственными материальными возможностями¹⁵.

¹⁵ Jackson 1987: 519—520; 526—529.

Современная африканская государственная система — в значительной степени продукт колониального порядка¹⁶. Европейская модель нации-государства плохо соотносится с африканским контекстом. Формат национальных государств зародился именно в Европе потому,

¹⁶ Herbst 2014: 25—27.

что государства там постоянно стремились к расширению горизонтов своих владений¹⁷. Данный формат — своего рода итог политических и экономических процессов, первоначально нацеленных на накопление ресурсов для военных кампаний, которые в свою очередь были нужны для того, чтобы аккумулировать капитал и направлять его обратно в военную сферу¹⁸.

¹⁷ Tilly 1992: 16.

Как отмечает, говоря о нациях-государствах в Европе, Чарльз Тилли, «растущий масштаб войны и увеличение коммерческого, военного и дипломатического взаимодействия в конечном счете обеспечили преимущество в мощи тех политических образований, которые располагали достаточными объемами живой силы и финансов, а также относительно дифференцированной экономикой»¹⁹.

¹⁸ Ibid.: 14—15.

Со временем соответствующая форма государственности стала доминирующей в Европе и по мере расширения европейской политической и экономической экспансии распространилась на другие части света. При этом, будучи навязанной извне, в абсолютном большинстве случаев она так и не смогла в полной мере укорениться за пределами европейского ареала²⁰.

¹⁹ Ibid.: 15.

²⁰ Ibid.: 61.

Важно учитывать, что до начала процесса деколонизации Африка не знала национальных государств²¹. Специфика государственного строительства на континенте привела к тому, что там сложились особые регистры управления, предполагающие выраженную авторитарную составляющую. В силу традиций, клановости, постоянной борьбы за ресурсы, перманентной необходимости быть начеку у лидеров африканских государств обострено чувство военной угрозы и своей исключительной роли в противостоянии ей.

²¹ Young 1997: 9—10.

Ввиду специфики государственного строительства и фактического отсутствия в Африке национальных государств в африканском контексте невозможно говорить о международных конфликтах в конвенциональном их понимании, а также о четком разграничении между международными и гражданскими вооруженными столкновениями²².

²² Herbst 2014: 30—31.

В отличие от европейской модели, в Африке отсутствуют явно обозначенные пограничные и буферные зоны, а политические границы носят искусственный характер, не отражая реального расселения этнических, религиозных, племенных групп²³, что порождает тенденцию к интернационализации конфликтов.

²³ Ibid.: 24—26.

Описанная специфика и высокая конфликтность среды позволяют предположить, что в африканском контексте наличие у государственных лидеров военного опыта — довольно распространенный феномен, особенно с учетом значительной турбулентности и нестабильности, наблюдавшейся в регионе во второй половине XX в.

Следует также отметить, что, как показано в исследовании Кристофера Клэпема, африканские правители используют присутствие своей страны на мировой арене, в том числе в ситуациях конфликта, для удержания власти, подписывая международные конвенции, призванные обеспечить государственный суверенитет, и нарушая их же, чтобы усилить внутренний контроль²⁴. Иначе говоря, в условиях Африки внешняя политика часто, если не в большинстве случаев, выступает средством поддержания устойчивости режима²⁵.

²⁴ Clapham 1996: 5.

²⁵ Ibid.: 270—273.

**Разрешительная
внутренняя
среда.
Авторитаризм**

Большинство исследователей сходятся в том, что повышенное влияние авторитарных лидеров на принятие решений, в том числе в области внешней политики, связано с институциональным дизайном соответствующих режимов, как правило не предусматривающим присутствия демократических механизмов сдерживания. При демократиях лидеры уязвимы перед волей народа, что удерживает его от развязывания войн, особенно рискованных²⁶. Угроза «наказания» на выборах и невозможность игнорирования настроений в обществе в период пребывания у власти заставляют демократических лидеров быть чрезвычайно осторожными при объявлении войн и прибегать к применению вооруженной силы только при наличии весомых гарантий победы²⁷. Аналогичным образом демократические лидеры опасаются втягивания в войны, которые могут затянуться, поскольку по мере увеличения числа жертв общественная поддержка войны неизбежно ослабевает²⁸.

²⁶ Reiter and Stam 2002: 19.

²⁷ Ibid.: 19—20.

²⁸ Ibid.: 19—21.

Авторитарные лидеры более склонны к развязыванию войн, так как военное поражение не означает для них неминуемой потери власти. Существенно меньшее, чем в демократиях, количество механизмов отрешения от должности повышает готовность таких лидеров идти на риск и нести издержки, сопряженные с поражением²⁹. Институты в автократиях служат не столько «правилами игры», ограничивающими власть, сколько инструментами контроля над союзниками по правящей коалиции³⁰. И хотя они способны предотвращать ненужные, дестабилизирующие конфликты в политической сфере, это происходит только тогда, когда институционализированные «правила игры» основаны на взаимной выгоде ключевых игроков³¹.

²⁹ Ibid.: 20.

³⁰ Svoblik 2012: 15.

³¹ Ibid.: 15.

Причины большей свободы авторитарных лидеров по сравнению с демократическими раскрывает также предложенная Джорджем Цебелисом концепция вето-игроков, под которыми понимаются коллективные или индивидуальные акторы, чье согласие необходимо для изменения status quo³². Каждая политическая система имеет определенную конфигурацию вето-игроков. И если для демократических стран

³² Tsebelis 2002: 2.

характерно значительное многообразие как коллективных (например, партии), так и индивидуальных (например, главы правительств, парламента, президенты) акторов, потенциально способных блокировать то или иное решение, то в авторитарных, ввиду наличия целого ряда ограничений, касающихся распространения информации, свободы слова и ассоциаций, права голосовать и быть избранным и т.д., их число кардинально меньше³³, что делает лидеров таких стран гораздо менее связанными в своих действиях.

³³ *Ibid.*: 68—69.

Таким образом, внутреннюю среду в авторитарных режимах можно квалифицировать как в высокой степени разрешительную. Именно в подобной среде в полной мере проявляется роль лидеров, их представлений и мировоззрения. Важно также, что авторитарные режимы в принципе склонны к разрешению политических конфликтов грубой силой³⁴; эта установка работает и в сфере внешней политики.

³⁴ *Svolik 2012*: 16.

Прошлый опыт лидера

Общепризнанно, что предпочитаемые типы стратегий, способы реагирования на проблемы и оценка потенциальных издержек своего выбора во многом зависят от бэкграунда людей. Накопленный опыт играет существенную роль в формировании «образов», которые определяют взаимодействие с внешним миром и его понимание. Эти «образы» в высшей степени персонализированы, более того, их нелегко изменить: произошедшие в прошлом события укореняются в сознании и потом «всплывают», действуя как «когнитивные фильтры»³⁵.

³⁵ *Ripsman, Taliaferro, and Lobell 2016*: 62.

Наличие военного опыта — важный фактор, имеющий прямое отношение к тому, как лидеры оценивают допустимость и полезность применения военной силы. Этот опыт, как правило, приобретается в юношеском или в раннем зрелом возрасте, когда происходит становление личности³⁶. Пережитое на этом этапе оказывает глубокое влияние на человека, в том числе на его склонность к риску, что может проявиться после занятия им лидерского поста³⁷. Существуют исследования, демонстрирующие, что предрасположенность к милитаристскому поведению может порождаться уже самим по себе прохождением военной службы³⁸, поскольку сформированный в ходе нее опыт применения насилия подталкивает человека к восприятию силовых методов в качестве оптимального средства решения политических проблем. По заключению Тодда Сечсера, аналогичный эффект имеют и связи с военными³⁹. Но еще более значимо в этом плане участие в боевых действиях: как показывает исследование Грегори Бранка, Дональда Секреста и Говарда Тамаширо, участие в боевых действиях значительно понижает чувствительность к риску⁴⁰.

³⁶ *Horowitz and Stam 2014*: 531.

³⁷ *Ibid.*: 531—532.

³⁸ См., напр. *Snyder 1989*; *Horowitz and Stam 2014*: 532.

³⁹ *Sechser 2004*: 750—751.

⁴⁰ *Brunk, Secrest, and Tamashiro 1990*: 101.

Однако у военного опыта есть и другая сторона. Как обнаружил Сэмюэль Хантингтон, хотя профессиональные военные и склонны смотреть на мир сквозь призму потенциальных угроз, им свойствен известного рода консерватизм в отношении силовых методов. Согласно его наблюдениям, «военные обычно не поддерживают безрассудные,

⁴¹ Huntington 1957: 69—71.

агрессивные вооруженные действия» и «редко выступают за войну», полагая, что «к войне следует прибегать лишь в качестве последнего средства»⁴¹.

Гипотезы исследования

Исходя из приведенных выше аргументов, правомерно предположить, что лидер, имеющий за плечами военный опыт, будет более предрасположен к милитаристским решениям и чаще инициировать вооруженные столкновения. Соответственно, наша основная гипотеза звучит так:

H₁: Наличие у государственного лидера военного опыта положительно связано с повышенной конфликтностью в государственной политике.

Однако военный опыт может быть разным и, следовательно, оказывать на человека разное влияние. В связи с этим представляется целесообразным выделить три типа такого опыта: (1) служба в армии без участия в боевых действиях (преимущественно штабная); (2) личное участие в боевых действиях; (3) участие в повстанческих вооруженных формированиях.

Люди со штабным опытом, которым не приходилось бывать непосредственно на поле боя, не оказывались и в зонах высокого риска, что повышает вероятность недооценки ими изъяснов военной стратегии. Отсутствие практических представлений о том, как применяется сила, чего стоит победа, каковы материально-технические издержки вооруженного столкновения и чем чревато поражение, по-видимому, должно поощрять склонность лидеров к авантюризму и агрессивности в политике. Отсюда наша следующая гипотеза:

H₂: Лидеры со штабным военным опытом более склонны инициировать вооруженные конфликты.

Прямо противоположным образом дело обстоит с лидерами, обладающими реальным боевым опытом. Как уже отмечалось, военные выступают против безрассудных или чрезмерно рискованных действий, понимая цену и возможные последствия войны. Другими словами, стимулируя бдительность и внимание к поддержанию обороноспособности страны, боевой опыт вместе с тем должен служить сдерживающим фактором с точки зрения склонности лидера к использованию военных способов решения политических проблем. Исходя из этого, можно сформулировать такую гипотезу:

H₃: Лидеры, имеющие боевой опыт, менее склонны инициировать вооруженные конфликты.

Особого внимания заслуживает наличие у лидера опыта участия в повстанческом движении, что в африканском контексте довольно частое явление. Как показывает исследование Джеффа Колгана, революционные режимы в принципе демонстрируют повышенную воинственность⁴², то же относится и к их лидерам. Участие в мятеже — чрезвычайно рискованный выбор, который накладывает отпечаток на психику и дальнейшую социализацию человека⁴³. При этом речь идет не только о привычке к риску, но и об ориентации на силовое достижение своих целей. Из этого вытекает последняя наша гипотеза:

H₄: Лидеры с повстанческим опытом более склонны инициировать вооруженные конфликты.

Данные и методы

Для проверки гипотез нами была создана собственная база данных, в которой мы агрегировали информацию по всем использованным при анализе переменным (см. Приложение). Сведения о лидерах и их прошлом военном опыте были почерпнуты из базы данных Archigo⁴⁴. Поскольку, согласно нашей общей теоретической модели, влияние лидеров на принятие решений, в том числе по вопросам войны и мира, особенно велико в автократических режимах, при составлении выборки мы опирались на разработанный в рамках проекта Polity индекс демократичности⁴⁵, принимающий значения от -10 (полная автократия) до 10 (полная демократия), включив в нее лидеров только тех стран, чей индекс варьирует от -10 до 5 (то есть, согласно квалификации проекта Polity, автократий и анократий). Всего в нашу выборку вошли 248 деятелей, возглавлявших африканские государства в период с 1945 по 2005 г.

В роли *зависимой переменной* в нашем исследовании выступало инициирование милитаризованных конфликтов. Учитывая отмеченную выше специфику Африки, затрудняющую четкое разграничение между народными и гражданскими вооруженными противостояниями, при идентификации таких конфликтов мы отталкивались от дефиниции, предложенной составителями базы данных UCDP/PRIO (откуда и черпалась соответствующая информация⁴⁶), квалифицирующими вооруженные конфликты как «оспариваемую несовместимость, касающуюся правительства и/или территории, где применение вооруженной силы между сторонами, по крайней мере одна из которых является правительством государства, приводит по меньшей мере к 25 смертям за календарный год»⁴⁷. Переменная носит бинарный характер: если государство в определенном году инициировало конфликт, ей присваивалось значение 1, если нет — 0.

Бинарными являются и три наших *независимых переменных*.

Военная служба (military service) кодировалась как 1, если у лидера был армейский опыт, не предполагавший прямого участия в боевых действиях (в противном случае — 0).

⁴² Colgan 2013.

⁴³ Mkandawire 2002: 181.

⁴⁴ См. Goemans, Gleditsch, and Chiozza 2009.

⁴⁵ См. Polity IV s.a.

⁴⁶ UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset s.a. См. также Gleditsch et al. 2002.

⁴⁷ Pettersson 2021.

Боевой опыт (combat experience) кодировался как 1 при наличии доказательств, что во время службы в армии лидер находился в зоне активных боевых действий и подвергался риску смерти (в противном случае — 0).

Повстанческий опыт (rebel experience) кодировался как 1, если лидер участвовал в повстанческом движении, включая военный переворот (в противном случае — 0).

В качестве **контрольных** использовались три группы переменных.

1. *Экономические переменные* — среднее арифметическое значение ВВП на душу населения, численности населения и военных расходов за период нахождения лидера у власти. Применительно к ВВП мы опирались на данные Всемирного банка⁴⁸, сведения о численности населения и военных расходах почерпнуты из базы данных проекта Correlates of War⁴⁹. Ввиду существенного разброса экономических переменных они были подвергнуты логарифмическому преобразованию, позволившему сделать распределения интенсивностей и «скошенные» значения более симметричными и нормализованными.

2. *Институциональные переменные* — показатели страны по индексу демократичности (Polity IV) и число лет, прошедших с момента обретения ею независимости.

3. *Итоги конфликта, в котором участвовал лидер до прихода к власти*. Переменные этой группы тоже относятся к категории бинарных.

Если лидер участвовал в вооруженном конфликте (засчитанном проектом Correlates of War как меж- либо внутригосударственная война) в качестве военнослужащего и его сторона выиграла, *исход военных действий* (war results) кодировался как 1, если проиграла — как 0.

Если лидер участвовал в вооруженном конфликте (засчитанном проектом Correlates of War как меж- либо внутригосударственная война) в качестве повстанца и его сторона выиграла, *исход повстанческих действий* (rebel results) кодировался как 1, если проиграла — как 0.

Гипотезы тестировались с помощью биномиальной регрессии. При анализе была задействована обобщенная линейная модель, измеряющая взаимосвязь между зависимой и одной или несколькими независимыми переменными путем оценки вероятностей с использованием логистической функции, представляющей собой кумулятивное логистическое распределение.

⁴⁸ World Development Indicators s.a.

⁴⁹ Militarized Interstate Disputes s.a.

Результаты

В табл. 1 приведены результаты регрессионного анализа.

В модели 1 представлены независимые переменные, отраженные в гипотезах, — военная служба, боевой и повстанческий опыт. Все они оказались статистически значимыми.

Полученные в ходе анализа коэффициенты показывают, что при наличии у лидера *военного (штабного) прошлого* статистическая вероятность инициирования им конфликта в 2,7 раза (на 170%) выше, чем

Таблица 1 Результаты логистической регрессии

	<i>Инициирование конфликта</i>				
	Модель 1	Модель 2	Модель 3	Модель 4	Модель 5
Военная служба	1,709*** (0,534)				1,507** (0,611)
Боевой опыт	-1,089* (0,559)				-1,310** (0,644)
Повстанческий опыт	0,904*** (0,0321)				0,854** (0,389)
Военные расходы		0,191 (0,357)			0,301 (0,396)
Численность населения		0,369 (0,447)			0,449 (0,505)
ВВП на душу населения		0,143 (0,552)			0,107 (0,590)
Индекс демократичности			-0,027 (0,027)		0,010 (0,032)
Время после обретения независимости			0,003 (0,009)		-0,020 (0,012)
Исход военных действий				2,311** (1,057)	1,990* (1,107)
Исход повстанческих действий				1,108 (0,680)	0,869 (0,879)
Наблюдения	246	212	235	248	204

* $p < 0,1$; ** $p < 0,05$; *** $p < 0,01$; в скобках приведены стандартные ошибки

при отсутствии такового. Увеличивает вероятность инициирования военных действий и участие в повстанческих группировках (на 90%). Что касается боевого опыта, то его влияние прямо противоположно: вероятность того, что лидеры с боевым опытом будут инициировать военные конфликты, в два раза ниже, чем в случае лидеров, не бывавших на поле боя. Это позволяет говорить о валидности всех трех альтернативных гипотез (существенно превосходящих в этом плане основную с долей ошибки $p < 0,05$).

Таким образом, можно утверждать, что профессиональная социализация накладывает серьезный отпечаток на поведение лидера в военнизированных спорах. Хотя, казалось бы, военный опыт (в различных его формах) приобретался лидером задолго до вступления в должность, он оказывает систематическое влияние на его решения. Это наглядно демонстрирует справедливость тезиса о том, что произошедшие в прошлом события, укоренившись в сознании, действуют как «когнитивные

фильтры». Прошлый военный опыт лидера имеет прямое отношение к тому, как он оценивает полезность применения военной силы.

Следующие три модели включают в себя контрольные переменные: экономические (*модель 2*), институциональные (*модель 3*) и связанные с исходом военных и повстанческих действий (*модель 4*). Примечательно, что среди этих переменных действительно высокую статистическую значимость показывает только исход предыдущих военных действий. Наиболее релевантным здесь нам видится следующее объяснение: опыт победы создает у человека иллюзию собственного превосходства, порождая уверенность в том, что подобным образом завершатся любые аналогичные действия. Как справедливо отмечает Эдвард Люттвак, «в случае победы все привычные приемы, процедуры, тактические решения, командные структуры и методы армии однозначно признаются неоспоримо верными или даже блистательными»⁵⁰. В свою очередь поражение «не просто обостряет критические способности: при правильном отношении налицо меньше сопротивления предложениям по исправлению ситуации, поскольку поражение лишает опоры сторонников сохранения статус-кво»⁵¹.

⁵⁰ Люттвак 2021: 46.

⁵¹ Там же: 45.

Особо стоит остановиться на переменной «индекс демократичности», призванной зафиксировать влияние внутренней разрешительной среды (авторитаризма). Тот факт, что эта переменная оказалась статистически незначимой, по всей видимости, объясняется особенностями нашей выборки, куда изначально вошли только лидеры стран с авторитарными и анократическими режимами. Не исключено также, что разработанный Polity индекс мало пригоден в африканском контексте с учетом присущих континенту проблем с консолидацией власти, а также характерной для него децентрализованной структуры управления и традиционалистской культуры лидерства. В этих условиях крайне сложно измерить уровень демократичности, в частности конкурентность и открытость институтов ротации, оценка которых играет важнейшую роль в индексе Polity.

Модель 5, охватывающая все исследуемые переменные, подтверждает выявленные закономерности. Независимые переменные сохраняют свою статистическую значимость, среди независимых таковой обладал исключительно исход предыдущих военных действий. При этом выясняется, что опыт победы усиливает склонность к милитарным решениям именно у лидеров со штабным или повстанческим опытом.

* * *

Итак, проведенное исследование подтвердило, что наличие военного опыта оказывает серьезное и устойчивое влияние на последующее поведение лидеров, а тем самым (в условиях авторитарных режимов) на конфликтный потенциал возглавляемых ими стран. Лидеры, в свое время прошедшие через армию, но не бывавшие на поле боя, существенно чаще инициируют военные конфликты, чем те, кто либо не служил

в вооруженных силах, либо в составе таковых лично участвовал в боевых действиях. В свою очередь те, кому приходилось принимать участие в боях, заметно меньше других предрасположены делать ставку на военные методы, но лишь в том случае, если речь не идет о сражениях в рамках повстанческих движений. Одним из следствий повстанческого опыта является привычка к риску, что повышает склонность лидеров к военным авантюрам.

Подводя итог, можно констатировать, что бэкграунд лидера действительно во многом отражается на его поведенческих и иных установках. И это касается не только военного опыта. В связи с этим представляется чрезвычайно важным учитывать данный фактор в политических, в том числе международно-политических, исследованиях.

Библиография

- Люттвак Э. (2021) *Стратегия: Логика войны и мира*. М.: АСТ.
- Brunk G.G., D.Secret, and H.Tamashiro. (1990) «Military Views of Morality and War: An Empirical Study of the Attitudes of Retired American Officers» // *International Studies Quarterly*, vol. 34, no. 1: 83–109.
- Byman D.L. and K.M.Pollack. (2001) «Let Us Now Praise Great Men: Bringing the Statesman Back» // *International Security*, vol. 25, no. 4: 107–146.
- Clapham C. (1996) *Africa and the International System: The Politics of State Survival*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Colgan J.D. (2013) «Domestic Revolutionary Leaders and International Conflict» // *World Politics*, vol. 65, no. 4: 656–690.
- Gleditsch N.P., P.Wallensteen, M.Eriksson, M.Sollenberg, and H.Strand. (2002) «Armed Conflict 1946–2001: A New Dataset» // *Journal of Peace Research*, vol. 39, no. 5: 615–637.
- Goemans H.E., K.S.Gleditsch, and G.Chiozza. (2009) «Introducing Archigos: A Dataset of Political Leaders» // *Journal of Peace Research*, vol. 46, no. 2: 269–283. URL: https://www.researchgate.net/publication/237748368_Introducing_Archigos_A_Dataset_of_Political_Leaders (accessed on 22.02.2023).
- Herbst J. (2014) *States and Power in Africa: Comparative Lessons in Authority and Control*. Princeton: Princeton University Press.
- Horowitz M.C. and A.C.Stam. (2014) «How Prior Military Experience Influences the Future Militarized Behavior of Leaders» // *International Organization*, vol. 68, no. 3: 527–559.
- Huntington S.P. (1957) *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*. Cambridge: The Belknap Press; Harvard University Press.
- Jackson R.H. (1987) «Quasi-States, Dual Regimes, and Neoclassical Theory: International Jurisprudence and the Third World» // *International Organization*, vol. 41, no. 4: 519–549.
- Jervis R. (1976) *Perception and Misperception in International Politics*. Princeton: Princeton University Press.

Khrushchev N. (1962) «Department of State Telegram Transmitting Letter from Chairman Khrushchev to President Kennedy, October 26, 1962» // *John F. Kennedy Presidential Library & Museum*. URL: <https://microsites.jfklibrary.org/cmc/oct26/doc4.html> (accessed on 12.12.2022).

«Militarized Interstate Disputes» // *Correlates of War*. URL: <https://correlatesofwar.org/data-sets/MIDs> (accessed on 20.12.2022).

Mkandawire Th. (2002) «The Terrible Toll of Post-Colonial „Rebel Movements“ in Africa: Towards an Explanation of the Violence against the Peasantry» // *The Journal of Modern African Studies*, vol. 40, no. 2: 181—215.

«National Material Capabilities» // *Correlates of War*. URL: <https://correlatesofwar.org/data-sets/national-material-capabilities> (accessed on 20.12.2022).

Pettersson T. (2021) *UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset Codebook. Version 21.1*. URL: https://ucdp.uu.se/downloads/replication_data/2021_ucdp-prio-acd-211.pdf (accessed on 20.02.2023).

Polity IV Individual Country Regime Trends, 1946—2013. URL: <http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm> (accessed on 20.12.2022).

Reiter D. and A.C.Stam. (2002) *Democracies at War*. Princeton: Princeton University Press.

Ripsman N.M., J.W.Taliaferro, and S.E.Lobell. (2016) *Neoclassical Realist Theory of International Politics*. New York: Oxford University Press.

Sechser T. S. (2004) «Are Soldiers Less War-Prone than Statesmen?» // *Journal of Conflict Resolution*, vol. 48, no. 5: 746—774. URL: https://fsi-live.s3.us-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/Sechser_2004.pdf (accessed on 20.02.2023).

Snyder J. (1989) *The Ideology of the Offensive Military Decision Making and the Disasters of 1914*. Ithaca, New York: Cornell University Press.

Svolik M.W. (2012) *The Politics of Authoritarian Rule*. Cambridge: Cambridge University Press.

Tilly C. (1992) *Coercion, Capital, and European States: AD 990—1992*. Cambridge (MA): Blackwell.

Tsebelis G. (2002) *Veto Players: How Political Institutions Work*. New York: Russell Sage Foundation; Princeton University Press.

UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset. URL: <https://ucdp.uu.se/downloads/> (accessed on 20.12.2022).

World Development Indicators. GDP per Capita. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD> (accessed on 20.12.2022).

Young C. (1997) *The African Colonial State in Comparative Perspective*. New Haven: Yale University Press.

ПРИЛОЖЕНИЕ

База данных (образец)

state	leader_name	inyear	outyear	Independent variables			Dependent variables	Control variables						
				milservice	combat	rebel		The result of the conflict		Institutional factors		Economic factors		
								war_result	rebel_result	years_after_independence	polity	GDP_per_capita	population	military_exp
EGY	Farouk	1936	1952	0	0	0	0	0	14	-7	18443	44721		
ETH	Sellassie	1941	1972	0	0	0	1	0	0	-6	20960	115821		
LBR	Tubman	1944	1971	1	1	0	0	0	0	-6	893	1432		
SAF	Malan	1948	1954	0	0	0	0	38	4	4	13402	54021		
LIB	Idris	1951	1969	0	0	0	0	0	-7	-7	1355	12273		
GHA	Nkrumah	1952	1966	0	0	0	1	0	-7	-7	220,00	20742		
EGY	Naguib	1952	1954	1	1	1	1	30	-7	-7	21947	113528		
SAF	Strijdom	1954	1958	0	1	0	0	44	4	4	15270	61824		



M.E. Nikitin
**MILITARY EXPERIENCE
OF STATE LEADERS
AND CONFLICT POTENTIAL
OF AUTHORITARIAN REGIMES
CASE OF AFRICA**

Maksim E. Nikitin — B.A. in Political Science, Moscow School of Social and Economic Sciences and the University of Manchester (BA (Hons) in International Politics); MA Student in the Evidence-Based Development of Education Program, HSE University. Email: mxn@universitas.ru.

Abstract. In the last decade, the International Political Science has witnessed an emergent trend to put an individual back to the focus of research. A growing number of researchers acknowledge that in order to understand the behavior of the state, it is necessary to take into account attitudes and behavior of state leaders. They assume that such a view angle will help to defy a cliché perception, according to which conflict situations arise solely due to the influence of exogenous factors, and if a certain event occurred, it only happened because it was determined by the external environment.

The article attempts to analyze the influence of the military experience of state leaders on their countries' participation in armed conflicts using the case of the authoritarian regimes in Africa. Employing the method of regression analysis, the author traces how the past military experience is reflected in the proneness of a state leader to conflict actions in the foreign policy sphere. He focuses on three types of such experience: (1) military service without participation in military actions (mainly staff work); (2) personal participation in military actions; (3) participation in rebel formations.

The conducted research proves that military experience has a significant and robust influence on the subsequent behavior of leaders. If a state leader used to serve in the military as a staff group member, the probability that he will initiate an armed conflict is 2.7 times higher than in the absence of such experience. Participation in rebel groups increases the likelihood of initiating military actions as well. In contrast, combat experience in the military has the opposite effect: leaders with combat experience are only half as likely to initiate military conflicts as leaders who have not been to the battlefield.

Keywords: state leaders, military experience, armed conflicts, authoritarian regimes, Africa

References

- Brunk G.G., D.Secret, and H.Tamashiro. (1990) "Military Views of Morality and War: An Empirical Study of the Attitudes of Retired American Officers" // *International Studies Quarterly*, vol. 34, no. 1: 83–109.
- Byman D.L. and K.M.Pollack. (2001) "Let Us Now Praise Great Men: Bringing the Statesman Back" // *International Security*, vol. 25, no. 4: 107–146.
- Clapham C. (1996) *Africa and the International System: The Politics of State Survival*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Colgan J.D. (2013) "Domestic Revolutionary Leaders and International Conflict" // *World Politics*, vol. 65, no. 4: 656–690.
- Gleditsch N.P., P.Wallensteen, M.Eriksson, M.Sollenberg, and H.Strand. (2002) "Armed Conflict 1946–2001: A New Dataset" // *Journal of Peace Research*, vol. 39, no. 5: 615–637.
- Goemans H.E., K.S.Gleditsch, and G.Chiozza. (2009) "Introducing Archigos: A Dataset of Political Leaders" // *Journal of Peace Research*, vol. 46, no. 2: 269–283. URL: https://www.researchgate.net/publication/237748368_Introducing_Archigos_A_Dataset_of_Political_Leaders (accessed on 22.02.2023).
- Herbst J. (2014) *States and Power in Africa: Comparative Lessons in Authority and Control*. Princeton: Princeton University Press.
- Horowitz M.C. and A.C.Stam. (2014) "How Prior Military Experience Influences the Future Militarized Behavior of Leaders" // *International Organization*, vol. 68, no. 3: 527–559.
- Huntington S.P. (1957) *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*. Cambridge: The Belknap Press; Harvard University Press.
- Jackson R.H. (1987) "Quasi-States, Dual Regimes, and Neoclassical Theory: International Jurisprudence and the Third World" // *International Organization*, vol. 41, no. 4: 519–549.
- Jervis R. (1976) *Perception and Misperception in International Politics*. Princeton: Princeton University Press.
- Khrushchev N. (1962) "Department of State Telegram Transmitting Letter from Chairman Khrushchev to President Kennedy, October 26, 1962" // *John F. Kennedy Presidential Library & Museum*. URL: <https://microsites.jfklibrary.org/cmc/oct26/doc4.html> (accessed on 12.12.2022).
- Luttwak E. (2021) *Strategija: Logika vojny i mira* [Strategy: The Logic of War and Peace]. Moscow: ACT. (In Russ.)
- "Militarized Interstate Disputes" // *Correlates of War*. URL: <https://correlatesofwar.org/data-sets/MIDs> (accessed on 20.12.2022).
- Mkandawire Th. (2002) "The Terrible Toll of Post-Colonial „Rebel Movements“ in Africa: Towards an Explanation of the Violence against the Peasantry" // *The Journal of Modern African Studies*, vol. 40, no. 2: 181–215.
- "National Material Capabilities" // *Correlates of War*. URL: <https://correlatesofwar.org/data-sets/national-material-capabilities> (accessed on 20.12.2022).

- Pettersson T. (2021) *UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset Codebook. Version 21.1*. URL: https://ucdp.uu.se/downloads/replication_data/2021_ucdp-prio-acd-211.pdf (accessed on 20.02.2023).
- Polity IV Individual Country Regime Trends, 1946–2013*. URL: <http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm> (accessed on 20.12.2022).
- Reiter D. and A.C.Stam. (2002) *Democracies at War*. Princeton: Princeton University Press.
- Ripsman N.M., J.W.Taliaferro, and S.E.Lobell. (2016) *Neoclassical Realist Theory of International Politics*. New York: Oxford University Press.
- Sechser T. S. (2004) “Are Soldiers Less War-Prone than Statesmen?” // *Journal of Conflict Resolution*, vol. 48, no. 5: 746–774. URL: https://fsi-live.s3.us-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/Sechser_2004.pdf (accessed on 20.02.2023).
- Snyder J. (1989) *The Ideology of the Offensive Military Decision Making and the Disasters of 1914*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Svolik M.W. (2012) *The Politics of Authoritarian Rule*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tilly C. (1992) *Coercion, Capital, and European States: AD 990–1992*. Cambridge (MA): Blackwell.
- Tsebelis G. (2002) *Veto Players: How Political Institutions Work*. New York: Russell Sage Foundation; Princeton University Press.
- UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset*. URL: <https://ucdp.uu.se/downloads/> (accessed on 20.12.2022).
- World Development Indicators. GDP per Capita*. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD> (accessed on 20.12.2022).
- Young C. (1997) *The African Colonial State in Comparative Perspective*. New Haven: Yale University Press.



парадигмы

**Д.О.Тимошкин, Ф.А.Сметанин, Ю.О.Корешкова,
Н.Н.Зборовицкая, А.А.Волошин, Д.Е.Брызгина**

**ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ
КАК МЕХАНИЗМ
ПРОИЗВОДСТВА ГРАНИЦ
«ВООБРАЖАЕМЫХ СООБЩЕСТВ»
НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗА ВНУТРЕННЕГО МИГРАНТА
В СИБИРСКИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦИФРОВЫХ МЕДИА¹**

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-78-10075 (<https://rscf.ru/project/22-78-10075/>).

Дмитрий Олегович Тимошкин — кандидат социологических наук, доцент, старший научный сотрудник Иркутского государственного университета. Для связи с автором: dmttrim@gmail.com.

Федор Анатольевич Сметанин — младший научный сотрудник Иркутского государственного университета. Для связи с автором: f-smetanin@mail.ru.

Юлия Олеговна Корешкова — младший научный сотрудник Иркутского государственного университета. Для связи с автором: yuliakodzhaeva@yandex.ru.

Настасья Николаевна Зборовицкая — младший научный сотрудник Иркутского государственного университета. Для связи с автором: zborovickaya@mail.ru.

Андрей Александрович Волошин — младший научный сотрудник Иркутского государственного университета. Для связи с автором: voloha94@yandex.ru.

Диана Евгеньевна Брызгина — младший научный сотрудник Иркутского государственного университета. Для связи с автором: br.diana21@gmail.com.

Аннотация. В статье исследуется процесс производства границ «воображаемых сообществ» поисковыми системами на примере создаваемого ими образа внутренних мигрантов, прибывающих в Томск, Красноярск и Иркутск. Комбинируя количественный и качественный контент-анализ, авторы проанализировали образ, формируемый текстами, составляющими первые страницы поисковой выдачи Google, Яндекс, Bing, DuckDuckGo и

Mail.ru. Установлено, что в большинстве текстов внутренний мигрант представлен как малообеспеченный низкоквалифицированный мужчина, постоянно оказывающийся в экстремальных ситуациях, чаще — преступлениях, жертвой или виновником которых он становится. При этом в зависимости от этнохоронима и названия принимающего города в запросе некоторые существенные детали образа могут различаться.

Согласно гипотезе авторов, тот факт, что все рассмотренные поисковые системы корректируют образ мигранта в зависимости от принимающего города, говорит о наличии региональной специфики в формировании повестки дня. В свою очередь сходство социальных действий, пространств и фигур, составляющих образ внутреннего мигранта в поисковой выдаче, с аналогичными компонентами образа мигранта трансграничного указывает на то, что пересечение региональных границ является достаточным основанием для выделения совершившего его человека в отдельную, стигматизируемую категорию. Поисковые системы фрагментируют «воображаемое сообщество» в повестке дня, выдвигая в топ выдачи тексты, в которых региональные группы изображаются опасными друг для друга чужаками. Это позволяет предположить, что алгоритмы конструируют/воспроизводят представления местных сообществ о самих себе, плохо вписывающиеся в политический миф о единой российской общности, определяемой национальными границами. Если это предположение верно, то поисковые системы выступают в качестве актора (или его репрезентанта), оспаривающего национальную мифологию.

Ключевые слова: внутренняя миграция, повестка дня, границы, воображаемые сообщества, поисковые системы, политический актор

² Page 1996; Latour 1999.

³ Anderson 1991.

⁴ Кассирер 2011.

⁵ Липпманн 2004.

⁶ Целыковский 2016.

⁷ Герштейн 2020.

⁸ Евгеньева и Селезнева 2007.

⁹ Паин 2014.

Современные медиа все больше становятся полноценными акторами², оказывающими непосредственное влияние на критически значимые для национальных государств процессы. В свое время поспособствовав формированию «воображаемых сообществ»³, медиа поддерживают их границы, подкрепляя представления об общности интересов больших групп людей, и являются механизмом реализации ключевых функций политического мифа⁴, а именно конструирования, передачи и легитимации упрощенных схем действительности⁵, конвенциональность которых лежит в основе существования национальных государств⁶. Важной частью продуцируемых и распространяемых медиа образов национального «мы» выступает негативная идентичность⁷, определение «своих» через отрицание «других». Подчеркивание границ, отделяющих «нас» от воображаемого «врага»⁸, — один из наиболее эффективных инструментов поддержания веры в целостность сообщества, к которому широко прибегают, в частности, российские СМИ⁹.

В работах, посвященных ксенофобии, констатируется, что для конструирования дихотомии «свой — чужой» обычно используются трансграничные мигранты, превращаемые, прежде всего посредством

¹⁰ Веснина 2009.

¹¹ См., напр. Boomgaarden and Vliegenthart 2007; Aalberg and Strabac 2010; Georgiou 2012.

¹² Fleras and Kunz 2001; Boomgaarden and Vliegenthart 2007; Georgiou 2012.

¹³ Caviedes 2015; Eberl et al. 2018.

¹⁴ Stonequist 1935; Бебер 1994.

¹⁵ Chouliaraki and Stolic 2017.

¹⁶ Веснина 2010; Варганова 2015; Маркина 2015; Якимова 2015; Комарова 2019.

¹⁷ McCombs and Reynolds 2002; Holone 2016; Ariguete 2017.

¹⁸ Воронов и Сидоров 2021.

¹⁹ May 2022; Schwartz 2022.

²⁰ Миаль 1993.

²¹ Hughes 1986; Setra 2019.

медиа, в столь необходимого для локальной политической религии «врага»¹⁰. Исследователи, работающие над этой проблематикой, фокусируют внимание на трансграничной миграции, репрезентируемой профессиональными медиа¹¹. Отмечается, что СМИ оказывают существенное влияние на миграционные процессы, в том числе за счет создания представлений мигрантов и принимающего сообщества друг о друге¹². С одной стороны, медийный образ потенциальной страны прибытия неизбежно отражается на миграционных траекториях. С другой стороны, образ мигранта в СМИ может поддерживать политические мифы о чужаке, постоянно угрожающем целостности «мы» принимающего государства, помогая местным элитам удерживать власть.

Исследователями неоднократно фиксировалась предрасположенность массмедиа к конструированию и воспроизводству негативных стереотипов о мигрантах¹³. В публицистике они изображаются как маргиналы¹⁴, экзистенциальные «другие»¹⁵, своей инаковостью подчеркивающие границы «воображаемого сообщества» и одновременно разрушающие их. Известна способность подобных конструкторов воздействовать на реальные отношения между социальными группами, на состав и направление миграционных потоков, экономическую и социальную структуру принимающих территорий и в конечном счете на подходы к реализации миграционной политики. О ней говорят и многочисленные работы, посвященные стигматизации и различным формам дискриминации мигрантов в российских регионах¹⁶.

Наряду с традиционными СМИ на роль политического актора, формирующего повестку дня, сегодня претендуют и поисковые системы. Способность популярных поисковых алгоритмов организовывать представления больших групп людей о мире¹⁷ заставляет рассматривать их как возможных агентов, влияющих, помимо прочего, на восприятие сообществами границ между «своими» и «чужими». По мнению некоторых исследователей, по силе своего влияния поисковые системы даже превосходят профессиональные медиа¹⁸. Если публицистические тексты, описывая или замалчивая события, определяют, о чем пользователь будет думать, то от поисковых систем зависит, какие из этих текстов пользователь увидит в первых 10–20 результатах выдачи, а какие не увидит никогда. Вынося в топ выдачи одни материалы и скрывая другие как наименее релевантные пользовательскому запросу¹⁹, поисковые алгоритмы, по сути, порождают информационный аналог «тирании большинства»²⁰. При этом алгоритмы могут не только ретранслировать фоновое знание, но и воздействовать на него²¹.

В настоящей статье тестируется гипотеза, согласно которой поисковые алгоритмы способны конструировать и/или воспроизводить массовые представления о «воображаемых сообществах», располагая те или иные группы по разные стороны их границ путем выстраивания определенной последовательности текстов в поисковой выдаче. Для решения этой задачи мы исследовали образ внутреннего мигранта, прибывающего в Томск, Иркутск и Красноярск, в выдаче функционирующих

в России поисковых систем. Нас интересовало, с какими социальными действиями, пространствами и фигурами он ассоциируется? Каковы сходства и различия между образами, формируемыми разными поисковыми системами по разным запросам? Имеет ли значение изменение в запросе этнохоронима человека, прибывшего из конкретного региона, или названия принимающих регионов?

Фокус на внутренней миграции был обусловлен тем, что анализ медийных репрезентаций внутренней миграции в принципе большая редкость. Исключением являются лишь работы о влиянии СМИ на восприятие трудовых мигрантов в ЕС²², возвращающихся мигрантов в Албании²³ и сельских мигрантов в Китае²⁴. Российские исследования внутренней миграции, как правило, сфокусированы на макропроцессах²⁵ и почти не касаются ее отражения в медиа. Между тем, учитывая массовость межрегиональной миграции в России и ее влияние на регионы²⁶, напрашиваются два предположения. Во-первых, внутренняя миграция должна быть широко представлена в локальной повестке дня, в том числе и в той, что формируется поисковыми алгоритмами. Более того, в условиях серьезных культурных и экономических различий между некоторыми российскими регионами²⁷ она, подобно трансграничной миграции, вполне может спровоцировать переосмысление границ между «своими» и «чужими». Во-вторых, ввиду незначительности и даже иллюзорности различий между трансграничными и внутренними мигрантами²⁸ медийные репрезентации последних могут не в меньшей степени влиять на направление и содержание миграционных потоков, а также на попытки контролировать их с помощью государственной миграционной политики.

Нами была проанализирована выдача крупнейших в России поисковых систем — Google, Яндекс, Bing, Mail.ru и DuckDuckGo. Чтобы минимизировать влияние географического и социального контекста на результаты выдачи, в настройках поиска мы отключали все фильтры. Поисковые запросы содержали названия принимающих городов в сочетании с этнохоронимами, обозначающими выходцев из соседних регионов (тувинец в Красноярске, забайкалец в Иркутске) и небольших городов областного подчинения (братчанин в Иркутске, норильчанин в Красноярске). Названия принимающих городов комбинировались также со словом «мигрант» и его синонимами, такими как «переселенец», «приезжий» (приезжий + Томск, переселенец + Иркутск и т.п.). Всего было составлено 48 запросов, содержащих различные комбинации ключевых слов, которые вводились последовательно в каждую из пяти поисковых систем.

В анализируемый массив включались первые 30 результатов поиска по каждому запросу. С учетом склонности пользователей поисковых систем не погружаться в выдачу дальше нескольких страниц²⁹ правомерно предположить, что формируемый этими текстами образ мигранта будет репрезентировать позицию поисковой системы относительно пользовательских предпочтений. Именно первые страницы поисковой

²² *Danaĵ and Wagner 2021.*

²³ *Dhĕmbo, Ćaro, and Hoxha 2021.*

²⁴ *Zheng 2007; Tao 2015.*

²⁵ *Зайончковская 1991; Мкртчян 2004.*

²⁶ *Дятлов и Петрова 2010; Вакуленко 2012; Мкртчян и Карачурина 2014; Мкртчян 2020.*

²⁷ *Дементьев 2020; Самусенко и Бухарова 2022.*

²⁸ *Малахов 2015.*

²⁹ *Ашманов и Иванов 2011.*

выдачи с наибольшей вероятностью просмотрит случайный пользователь.

Поскольку повторяющиеся в различных запросах и поисковых системах тексты точно так же формируют поисковую выдачу, увеличивая шансы на то, что представленный в них образ попадет на глаза пользователю, эти тексты тоже включались в общий массив. Всего в нем оказалось 7200 текстов, из которых было проанализировано 1373 релевантных цели исследования. Единицей анализа считался текст, который мы находили по прямой ссылке, отображенной на первых трех страницах поисковой выдачи, и связанный с темой перемещения между интересовавшими нас регионами. Совокупность результатов рассматривалась как заданная поисковой системой³⁰ повестка дня³¹ по теме внутренней миграции.

³⁰ Cho and Roy 2004; Bozdog 2013.

³¹ McCombs and Shaw 1972.

При работе с выдачей мы прибегли для категоризации массива к тематическому кодированию. Были введены следующие коды: пространство, где действует мигрант; событие, в котором он участвует; акторы, участвующие в этом событии вместе с ним; демографические характеристики; род занятий; коннотация. Для выделения общих черт образов внутреннего мигранта, а также переменных, влияющих на возникновение отличий, использовался качественный и количественный контент-анализ. Он применялся также для определения реакции поисковых систем на запросы, касающиеся миграции в Сибири. Массиву текстов, генерируемому поисковыми системами, мы присвоили переменные «Иркутск», «Томск», «Красноярск», что позволило сравнивать результаты выдачи в зависимости от выбранной системы и принимающего города в запросе. Среди других переменных некоторые (например, пол мигранта, тип текста, тональность, тип миграции) были строго определенными, некоторые (социальное действие) кодировались уникальными кодами по мере их появления в текстах. Чтобы сформировать общее представление о репрезентации мигранта, мы подсчитали коды и долю (в %) их появления в каждой переменной, а затем сопоставили результаты, полученные для отдельных поисковых систем и городов.

**Мужчина,
преступник,
маргинал:
характеристики
внутреннего
мигранта
в поисковой
выдаче**

Образ внутреннего мигранта в выдаче меняется в зависимости от комбинации упоминаемых в тексте тем. Некоторые фрагменты образа остаются практически неизменными. Их постоянство объясняется доминированием в выдаче публицистических текстов (см. рис. 1). Большинство медийных текстов, по сути, представляют собой криминальную хронику, где внутренний мигрант выступает виновником или жертвой преступлений (см. рис. 2). Причем это, как правило, именно насильственные преступления — убийства, драки и изнасилования. Кроме того, мигранты торгуют наркотиками, крадут и мошенничают.

Но даже если речь не идет о криминале, подавляющую часть ситуаций, в которых задействован мигрант, можно назвать экстремальными. Он отправляется пешком за тысячу километров, пропадает без

Рисунок 1³² Соотношение текстов по жанровой специфике и поисковым системам

³² Все представленные в статье рисунки и таблица созданы авторами по материалам исследования.

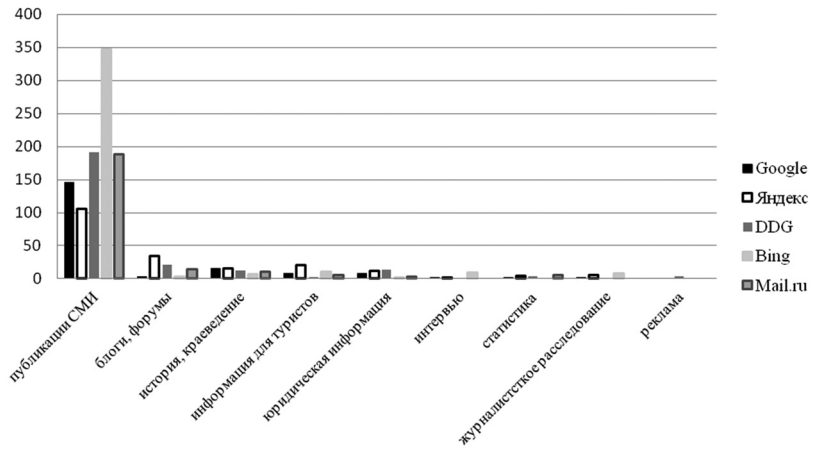
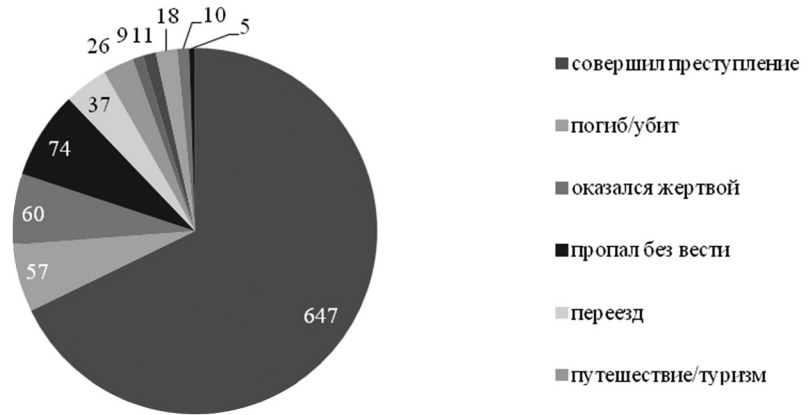


Рисунок 2 Социальные действия, в которых задействован мигрант (общее количество по всем поисковым системам)

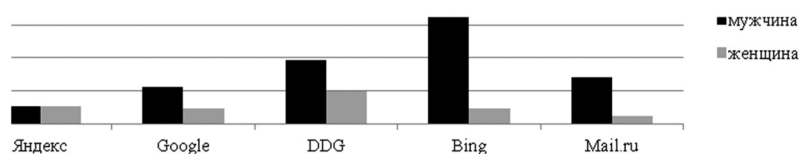


вести, напивается и устраивает дебоши. События, не выходящие за рамки социальной нормы, встречаются на порядок реже, и все они так или иначе связаны с перемещением из города в город: туристические поездки, получение должности в другом регионе и т.п. Действие, в котором участвует внутренний мигрант, определяет остальные тематические категории — пространство, коннотацию, (со)участвующих акторов. Неотъемлемой составляющей ситуаций, в которых оказывается внутренний мигрант, являются полиция, судебные органы, прокуратура. Они контролируют, ловят, наказывают, перемещают его.

Профессия мигранта чаще всего упоминается тогда, когда она связана с криминальной деятельностью. В редких случаях сообщается, что внутренний мигрант занят физическим трудом или работает в сфере обслуживания. Иногда журналисты пишут, что он «приехал на заработки». Упоминания иных форм занятости, не сопряженных с преступлением, довольно редки — это различные виды предпринимательства, обучение в высшей школе, работа в медицинской сфере. Тексты, в которых фигурирует подобная социально одобряемая деятельность, чаще встречаются по запросам, включающим слово «переселенец» или «приезжий». Пространство, в котором действует внутренний мигрант, тоже определяется преимущественно доминирующим в выдаче жанром. Прежде всего это места преступлений, суды, полицейские участки, тюрьмы. Изредка попадают поезда, вокзалы и аэропорты или что-то связанное с профессией мигранта.

Приезжий в текстах, составляющих топ выдачи, максимально обезличен. За редкими исключениями, помимо перемещения в пространстве и участия в той или иной экстремальной ситуации, мы можем узнать его пол и, реже, род занятий. Если в запросе нет гендерных окончаний, поисковые системы, кроме Яндекса, выносят в топ тексты, в которых участником событий является мужчина (см. рис. 3). Добавление гендерных окончаний не приносит разнообразия в поисковую выдачу: мигрантки тоже оказываются прежде всего героинями криминальной хроники, зачастую в роли преступницы, а не жертвы.

Рисунок 3 Соотношение упоминаемых мигрантов по гендерному признаку

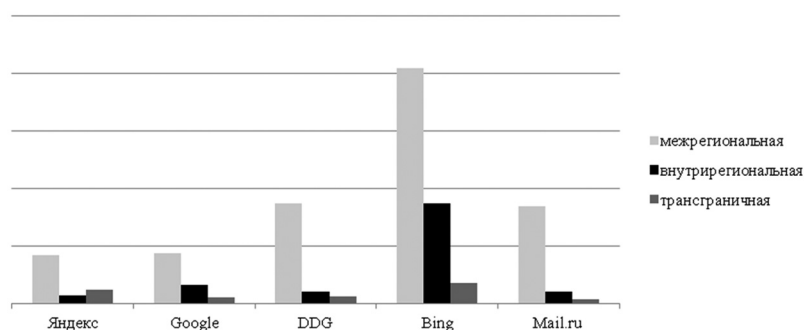


Типы активности, которые поисковые алгоритмы соотносят с пространственным перемещением, влияют на коннотацию образа: она либо негативная, либо нейтральная. Негативная коннотация характерна для публицистических текстов, где мигранта помещают в один семантический ряд со словами, связанными с совершаемыми мигрантом преступлениями, — «мошенник», «злоумышленник», «подозреваемый», «обвиняемый», «вор». Мигранта определяют не какие-то личные качества, профессия или заслуги, а в первую очередь сам факт перемещения через границу и преступление. Этнохоронимы в сочетании с названиями принимающих городов становятся знаками, выделяющими внутренних мигрантов в отдельную категорию. В публицистических текс-

тах они определяются не как люди, а именно как приезжие, тувинцы, буряты, переселенцы в Иркутске, Красноярске или Томске. Если в запросе оставить этнохороним, убрав слова, обозначающие перемещение через региональные границы, криминальная хроника почти полностью исчезает из выдачи. Именно пересечение границ повышает вероятность того, что человек будет представлен как участник или виновник экстремальной ситуации. Если случайный пользователь вдруг введет в рассмотренные нами поисковые системы аналогичные нашим запросы, он, скорее всего, увидит, что перемещения между сибирскими регионами осуществляет низкоквалифицированный мужчина, склонный к насилию и воровству.

Еще одна общая черта выдачи всех поисковых систем заключается в том, что внутрирегиональная миграция упоминается реже, чем межрегиональная (см. *рис. 4*). Возможно, перемещения внутри региона происходят настолько часто, что авторы текстов СМИ не считают нужным каким-либо образом выделять людей, их совершивших. Если межрегиональный мигрант соответствующим образом маркируется в текстах, что позволяет обнаружить их в выдаче, то мигрант внутрирегиональный рассматривается и обозначается как обычный «местный». Это может говорить о том, что именно пересечение границ регионов является фактором, обуславливающим выделение внутренних мигрантов в отдельную группу. Пересечения региональных границ оказывается достаточно для того, чтобы мигрант воспринимался как вызывающий опасения чужак, нарушающий целостность воображаемого «мы».

Рисунок 4 Соотношение по типу миграции и поисковым системам



**Факторы
вариативности
образа
внутреннего
мигранта**

Существует несколько факторов, которые могут изменить образ мигранта в выдаче. Наиболее значимые из них связаны с содержанием поискового запроса, а именно с фигурирующим в нем принимающим городом, а также с выбором этнохоронима или синонима слова «мигрант» (см. *табл. 1*). Каждый из этих факторов влияет прежде всего

на соотношение в выдаче криминальной хроники и других текстов — рекламы, исторических сочинений и т.д. Чем больше публицистических текстов выдвигается в топ алгоритмом поисковой системы, тем большую часть выдачи занимает малообеспеченный мужчина со склонностью к преступной деятельности.

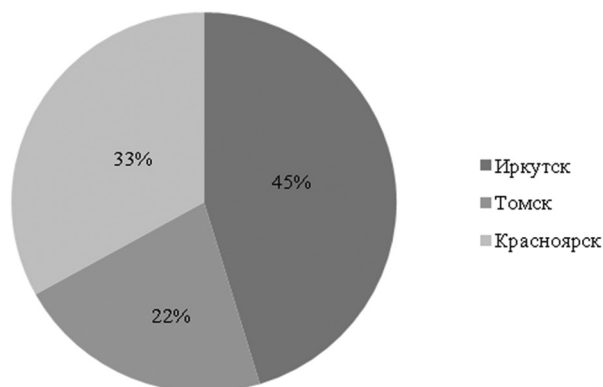
Таблица 1 Понятия, используемые в качестве синонимов к слову «мигрант» (общее число упоминаний по поисковым системам)

Понятие	Поисковая система				
	Яндекс	Google	DDG	Bing	Mail.ru
житель	227	142	289	396	235
этнохороним	89	63	81	278	178
переселенец	19	11	44	6	5
мигрант	10	6	6	3	1
уроженец	10	7	12	20	12
приезжий	9	37	38	69	7
беженец	0	0	24	1	0

На соотношение текстов, принадлежащих к разным жанрам, а значит, и на содержание образа внутреннего мигранта влияет термин, использованный для его обозначения в запросе. Слово «мигрант», судя по выдаче, ассоциируется с транснациональным перемещением. Слова «приезжий» и «переселенец» употребляются в обоих значениях, однако чаще именно в связи с миграцией внутренней. «Переключение» в запросе принимающего региона и региона-донора смещает фокус с мест преступлений на городские достопримечательности, с телег, движущихся по сибирскому тракту, на офисы миграционных юристов. Соответственно, меняется и коннотация слова «мигрант». Мигрант внутренний («приезжий» в Красноярске, «забайкалец» в Иркутске и т.д.) занимает те же пространства и соприкасается преимущественно с теми же акторами, что и мигрант трансграничный. Прежде всего он находится на местах преступлений, в полиции и судах, контактируя с государственными чиновниками, расследующими криминальные события.

Если в запросе фигурирует «Иркутск», мы получаем в выдаче всех поисковых систем в среднем вдвое больше публицистических текстов о внутренних мигрантах, нежели при использовании слова «Томск» (см. рис. 5). В Томске мигрант сопрягается с иным набором пространств и действий. Изменение города меняет представления алгоритма об интересах пользователей. При включении в запрос слова «Томск» большую часть выдачи составят рекламные тексты. Но хотя люди в них

**Рисунок 5 Соотношение текстов по городам
(общее количество по поисковым системам)**



могут вовсе не упоминаться, они тоже формируют определенное представление о миграции в целом. Когда большинство выдачи составляет реклама транспортных компаний, театров, туристических мест, правомерно предположить, что для поисковой системы автором запроса является мигрант. Алгоритм выдвигает рекламу в топ в расчете на человека, который не знает города и ищет информацию о том, как до него добраться, где найти те или иные услуги.

Изменение названия принимающего города может отразиться на том, какое значение будет вкладываться в тот или иной синоним слова «мигрант». Сочетание «приезжий + Иркутск» в DuckDuckGo, Google, Mail.ru и Bing формирует выдачу, где преобладают публицистические тексты, в которых внутренний мигрант выступает виновником или жертвой преступления. При замене в запросе Иркутска на Томск, как уже говорилось, публицистические тексты уступают место рекламе туристических агентств и отзывам о городе.

В случае с Томском «приезжий» — это скорее турист в поисках достопримечательностей, а «переселенец» — участник столыпинских программ, движущийся в Сибирь, или ссыльный периода сталинских репрессий. В случае с Иркутском первый, помимо туриста, оказывается внутренним или трансграничным мигрантом, совершающим преступление, второй — переселенцем-крестьянином или беженцем с восточных территорий Украины, реже — трансграничным мигрантом. В выдаче, касающейся Красноярска, все тексты по запросу «приезжий», кроме одного, описывают преступления, совершенные внутренними мигрантами.

Один и тот же этнохороним в сочетании с разными принимающими городами тоже дает разные результаты. Запрос «тувинец + Иркутск»

приводит на сайты знакомств, к расписаниям музеев и историческим статьям. Криминальная хроника встречается и здесь, но она практически никак не связана с миграцией. Выдача по запросу «тувинец + Красноярск» показывает только криминальную хронику, где тувинец — либо преступник, либо жертва преступления.

Нейтральная коннотация образа внутреннего мигранта, формируемого поисковыми системами по запросу, включающему слово «Томск», может быть обусловлена большим количеством в городе внутренних мигрантов. Их присутствие рутинно и не вызывает интереса. Томск — студенческий город, где учащиеся составляют около пятой части населения и не воспринимаются принимающим сообществом ни как угроза, ни как нечто чужеродное. Вероятно, поисковая система не отправляет в топ криминальную хронику потому, что пользователи не считают такие тексты релевантными и не реагируют на них.

На образе мигранта в выдаче, похоже, сказывается и уровень жизни в регионах-донорах, накладывающий отпечаток на социальный состав миграционных потоков. Доминирование криминальной хроники в выдаче по отдельным запросам может быть связано с тем, что среди приезжающих в города преобладают бедные и плохо социализированные люди, которые не имеют необходимых для интеграции ресурсов и не включены в локальные горизонтальные сети. В выдаче отражается ставка внутренних мигрантов на альтернативные механизмы интеграции.

Выбор поисковой системы незначительно влияет на содержание образа. Различные алгоритмы формируют близкие образы, ориентируясь на предпочтения аудитории. Все они сходятся в том, что пользователи по какой-то причине желают видеть новости о совершаемых приезжими преступлениях. И если заявления создателей поисковых алгоритмов об учете последними пользовательских предпочтений действительно обоснованны, можно предположить наличие региональной специфики в восприятии миграции. То, что все рассмотренные поисковые системы избегают помещать в топ выдачи по запросу со словом «Томск» криминальную хронику, может свидетельствовать о незаинтересованности томских пользователей в новостях о совершенных внутренними мигрантами убийствах и кражах.

Заключение

Пересечение региональных границ может быть причиной для выделения совершившего его человека в отдельную категорию в повестке дня. На это указывает, в частности, обилие обнаруженных нами в выдаче текстов, в которых «приезжие» выделены в особую группу и маркируются как «тувинец в Красноярске», «читинец в Томске» и т.д. Сами эти определения, состоящие из этнохоронима, обозначающего регион исхода, в сочетании с названием принимающего города по умолчанию предполагают, что соответствующий человек выделен из общего фона места прибытия.

И хотя речь идет о смене одного российского город на другой, самого этого обстоятельства недостаточно для того, чтобы стать «своим» для принимающего сообщества. Это в равной степени относится и к этнически маркированным внутренним мигрантам («тувинец», «бурят»), и ко всем остальным («забайкалец», «иркутянин»). Судя по проведенному нами анализу, пространственное перемещение является основанием для помещения социальной группы в контекст экстремальных, неконвенциональных ситуаций. Если вводить в поисковые системы запросы с ключевыми словами, означающими другие, не ассоциируемые с миграцией группы, в сочетании с теми же городами, криминальная хроника из выдачи практически исчезает.

Один из ключевых признаков внутреннего мигранта в выдаче поисковых систем — его участие в экстремальных событиях. Своим поведением он постоянно испытывает представления принимающего сообщества о социально приемлемом. Его субъектность проявляется в насилии, опасном как для него самого, так и для представителей этого сообщества. Поэтому постоянным спутником внутреннего мигранта в публицистических текстах оказывается ограничивающая проявления его субъектности бюрократия. Пространственный контекст, в котором фигурирует внутренний мигрант, тоже постоянно напоминает нам о его «пограничном» положении — помимо судов и мест преступлений, он регулярно обнаруживается в пределах различных «не-мест»³³ — вокзалов и аэропортов.

³³ Оже 2017.

Принимая как истину способность поисковых алгоритмов считывать пользовательские настроения и пожелания, можно предположить, что во всех городах, за исключением Томска, пользователи опасаются внутреннего мигранта не меньше, чем трансграничного, что и находит отражение в обилии криминальной хроники в выдаче. Внутренний мигрант, как и мигрант трансграничный³⁴, в повестке дня, а значит, и в общественных представлениях является чужаком, существом маргинальным, находящимся на границе между различными пространственным и социальными категориями. Проведенный анализ показывает, что поисковые алгоритмы конструируют/воспроизводят границы между региональными группами, используя механизм превращения приезжего в опасного «другого», схожий с теми, что применяются при описании трансграничных мигрантов.

³⁴ Тимошкин 2020.

Гипотетически поисковые алгоритмы можно рассматривать как социального агента, либо отражающего уже сложившиеся установки локальных сообществ, в которых единого «мы» за пределами «нашего» региона не существует, либо формирующего их. Следствием данной гипотезы является заключение о фрагментированности границ «воображаемого сообщества» в коллективных представлениях, (вос)производимых в повестке дня поисковыми системами. Тот факт, что внутренний мигрант, причем вне зависимости от наличия или отсутствия этнических маркеров, в одних локальных повестках дня представлен как опасный чужак, а в других — как нейтральный путешественник, может

говорить о разнице восприятия населением региональных столиц тезиса о целостности национальной группы, поддерживаемого современной российской политической религией.

При этом (опять же гипотетически) чем больше городу приходится сталкиваться с входящими миграционными потоками, тем менее для него характерно восприятие приезжего как чужака. Маргинальность внутреннего мигранта, его ассоциированность в повестке дня с девиантным поведением позволяет отнести его к «грязи» (в понимании Мэри Дуглас³⁵), к категории вещей и существ, чья опасность определяется нахождением их не на своем месте, за пределами конвенциональных границ. Это заставляет задаться вопросом о том, где в таком случае проходят границы, разделяющие «воображаемые сообщества». И можно ли вообще говорить о наличии единой коллективной идентичности, объединяющей население России³⁶?

³⁵ Дуглас 2000.

³⁶ Малинова 2008.

На наш взгляд, полученные результаты открывают возможность для проведения таких сравнительных исследований, которые бы раскрывали отношение к внутренним мигрантам не только поисковых алгоритмов, но и тех, кто ими пользуется. Прежде всего необходимо сравнить образ в поисковой выдаче с тем, как видят внутреннего мигранта респонденты. Сопоставление сформированных в интервью образов с тем, что демонстрируют поисковые системы, позволит подтвердить или опровергнуть гипотезу о региональной специфике в восприятии миграции и даже подойти к ответу на вопрос о конвенциональности общего «культурного пространства», которое делает проблему интеграции внутренних мигрантов неактуальной. Проверив, действительно ли внутренние мигранты воспринимаются населением некоторых региональных столиц как «чужаки», мы можем приблизиться к пониманию того, как в России проводятся границы между «воображаемыми сообществами» в принципе.

Библиография

Ашманов И. и А.Иванов. (2008) *Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых системах*. СПб.: Питер.

Вакуленко Е.С. (2019) «Мотивы внутренней миграции населения в России: что изменилось в последние годы?» // *Прикладная эконометрика*, № 3 (55): 113—138.

Варганова О.Ф. (2015) «Образ трудового мигранта в федеральных и региональных СМИ (по результатам контент-анализа)» // *Социологическая наука и социальная практика*, № 3 (11): 81—93.

Вебер М. (1994) *Избранное: Образ общества*. М.: Юрист.

Веснина Л.Е. (2009) «Милитарная метафора, представляющая образ мигранта в отечественных СМИ» // *Лингвокультурология*, вып. 3: 27—34. URL: <http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/2767/1/licu-2009-03-04.pdf> (проверено 24.03.2023).

Веснина Л.Е. (2010) «Метафорическое моделирование миграции в российских печатных СМИ» // *Политическая лингвистика*, № 1 (31): 84—89.

Воронов С.А. и И.А.Сидоров. (2021) «Механизмы поисковой системы Google, используемые в информационном противоборстве» // *Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Информационные технологии*, т. 19, № 1: 26—38.

Герштейн И.З. (2020) «„Негативная“ идентичность как фактор современного государствообразования (на примере Беларуси, Украины, ДНР и ЛНР)» // *Via in tempore. История. Политология*, т. 47, № 3: 630—639.

Дементьев В.Е. (2020) «Факторы дифференциации регионов по темпам экономического роста» // *Terra Ecomomicus*, т. 18, № 2: 6—21. URL: https://te.sfedu.ru/evjur/data/2020/18_2.pdf (проверено 24.03.2023).

Дуглас М. (2000) *Чистота и опасность: Анализ представлений об осквернении и табу*. М.: Канон-пресс-Ц; Кучково поле.

Дятлов В.И. и Е.Н.Петрова. (2010) «Иркутская область: динамика внешних миграций в условиях экономического кризиса» // *Известия Иркутского государственного университета. Серия: Политология. Религиоведение*, № 2: 73—83.

Евгеньева Т.В. и А.В.Селезнева. (2007) «Образ „врага“ как фактор формирования национальной идентичности современной российской молодежи» // *Полития*, № 3 (46): 83—92. URL: http://politeia.ru/files/articles/rus/Politeia_Evgenyeva_Selezneva-2007-3.pdf (проверено 24.03.2023).

Зайончковская Ж.А. (1991) *Демографическая ситуация и расселение*. М.: Наука.

Кассирер Э. (2011) «Технологии современных политических мифов» // *Политико-философский ежегодник*. Вып. 4. М.: ИФРАН: 112—133.

Комарова Е.В. (2019) «Образ мигранта в медиадискурсе: традиционные СМИ и новые медиа» // *Филология и культура*, № 4 (58): 52—60.

Липпманн У. (2004) *Общественное мнение*. М.: Институт Фонда «Общественное мнение».

Малахов В.С. (2015) *Интеграция мигрантов: Концепции и практики*. М.: Фонд «Либеральная миссия».

Малинова О.Ю. (2008) «Дискуссии о государстве и нации в постсоветской России и идеологема „империи“» // *Политическая наука*, № 1: 31—58.

Маркина В.М. (2015) «Стратегии репрезентации Других в СМИ: теория и методология контент-анализа» // *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология*, № 1: 82—90.

Миль Дж. (1993) «О свободе» // *Наука и жизнь*, № 11: 10—15.

Мкртчян Н.В. (2004) «„Западный дрейф“ внутрirosсийской миграции» // *Отечественные записки*, № 4 (19): 94—104.

Мкртчян Н.В. (2020) «Роль миграции в динамике численности и структуры населения регионов Крайнего Севера и приравненных к нему местностей» // *Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН*. Т. 18. М.: МАКС Пресс: 431—448.

Мкртчян Н.В. и Л.Б.Карачурина. (2014) «Миграция в России: потоки и центры притяжения» // *Демоскоп Weekly*, № 595—596: 1—17.

Оже М. (2017) *Не-места: Введение в антропологию гипермодерна*. М.: Новое литературное обозрение.

Паин Э. (2014) «Ксенофобия и национализм в эпоху российской безвременья» // *Pro et Contra*, т. 62, № 1—2: 34—53. URL: https://carnegieendowment.org/files/ProEtContra_62_34-53.pdf (проверено 24.03.2023).

Самусенко С.А. и Е.Б.Бухарова. (2022) «Внутрирегиональное социальное и экономическое пространственное неравенство в ресурсных экономиках» // *Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки*, т. 15, № 7: 1012—1023.

Тимошкин Д.О. (2020) «Разнообразие „Других“: образ „московского мигранта“ на странице результатов поиска Google, Яндекс и DuckDuckgo» // *Журнал исследований социальной политики*, т. 18, № 4: 641—656.

Цельковский А.А. (2016) «Политический миф как детерминанта формирования национального политического сознания» // *Вестник Челябинского государственного университета*, № 3 (385): 13—20.

Якимова О.А. (2015) «Медиадискурс иностранной миграции в Россию в контексте конструирования межэтнического взаимодействия» // *Журнал социологии и социальной антропологии*, т. 18, № 3: 123—136.

Aalberg T. and Z.Strabac. (2010) «Media Use and Misperceptions: Does TV Viewing Improve Our Knowledge about Immigration?» // *Nordicom Review*, vol. 31, no. 1: 35—52.

Anderson B. (1991) *Imagined Societies: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London, New York: Verso.

Aruguete N. (2017) «The Agenda Setting Hypothesis in the New Media Environment» // *Comunicación y Sociedad*, no. 28: 35—58.

Boomgaarden H.G. and R.Vliegthart. (2007) «Explaining the Rise of Anti-Immigrant Parties: The Role of News Media Content» // *Electoral Studies*, vol. 26, no. 2: 404—417.

Bozdag E. (2013) «Bias in Algorithmic Filtering and Personalization» // *Ethics and Information Technology*, vol. 15, no. 3: 209—227.

Caviedes A. (2015) «An Emerging „European“ News Portrayal of Immigration?» // *Journal of Ethnic and Migration Studies*, vol. 41, no. 6: 897—917.

Cho J. and S.Roy. (2004) «Impact of Search Engines on Page Popularity» // *Proceedings of the 13th International Conference on World Wide Web*. New York: 20—29. URL: <https://dl.acm.org/doi/proceedings/10.1145/988672?tocHeading=heading2> (accessed on 24.03.2023).

Chouliaraki L. and T.Stolic. (2017) «Rethinking Media Responsibility in the Refugee „Crisis“: A Visual Typology of European News» // *Media, Culture & Society*, vol. 39, no. 8: 1162—1177.

Chouliaraki L. and R. Zaborowski. (2017) «Voice and Community in the 2015 Refugee Crisis: A Content Analysis of News Coverage in Eight Europe-

an Countries» // *International Communication Gazette*, vol. 79, no. 6–7: 613–635.

Danaj S. and I.Wagner. (2021) «Beware of the „Poverty Migrant“: Media Discourses on EU Labour Migration and the Welfare State in Germany and the UK» // *Zeitschrift für Sozialreform*, vol. 67, no. 1: 1–27.

Dhëmbó E., E.Çaro, and J.Hoxha. (2021) «„Our Migrant“ and „the Other Migrant“: Migration Discourse in the Albanian Media, 2015–2018» // *Humanities and Social Sciences Communications*, vol. 8, no. 1: 1–10.

Eberl J.M., C.E.Meltzer, T.Heidenreich, B.Herrero, N.Theorin, F.Lind, and J.Strömbäck. (2018) «The European Media Discourse on Immigration and Its Effects: A Literature Review» // *Annals of the International Communication Association*, vol. 42, no. 3: 207–223.

Fleras A. and J.L.Kunz. (2001) *Media and Minorities: Representing Diversity in a Multicultural Canada*. Toronto: Thompson Educational Publishing.

Georgiou M. (2012) «Introduction: Gender, Migration and the Media» // *Ethnic and Racial Studies*, vol. 35, no. 5: 791–799.

Holone H. (2016) «The Filter Bubble and Its Effect on Online Personal Health Information» // *Croatian Medical Journal*, vol. 57, no. 3: 298–301.

Hughes T.P. (1986) «The Seamless Web: Technology, Science, Etcetera, Etcetera» // *Social Studies of Science*, vol. 16, no 2: 281–292.

Latour B. (1999) *On Recalling ANT in Actor Network Theory and After*. Oxford: Blackwell Publishers.

May 2022 Core Update Releasing for Google Search. URL: <https://developers.google.com/search/blog/2022/05/may-2022-core-update> (accessed on 30.03.2023).

McCombs M. and A.Reynolds. (2002) «News Influence on Our Pictures of the World» // Bryant J., D.Zillmann, and M.B.Oliver, eds. *Media Effects: Advances in Theory and Research*. New York: Routledge: 11–28.

McCombs M. and D.L.Shaw. (1972) «The Agenda-Setting Function of Mass Media» // *Public Opinion Quarterly*, vol. 36, no. 2: 176–187.

Page B.I. (1996) «The Mass Media as Political Actors» // *PS: Political Science & Politics*, vol. 29, no. 1: 20–24.

Sætra H.S. (2019) «The Tyranny of Perceived Opinion: Freedom and Information in the Era of Big Data» // *Technology in Society*, vol. 59, no. 4: 101–155.

Schwartz B. (2022) *Google Releases September 2022 Product Reviews Update*. URL: <https://searchengineland.com/google-releases-september-2022-product-reviews-update-387293> (accessed on 30.03.2023).

Stonequist E.V. (1935) «The Problem of the Marginal Man» // *American Journal of Sociology*, vol. 41, no. 1: 1–12.

Tao L. (2015) *Media Representation of Internal Migrant Children in China between 1990 and 2012*. Ph.D. diss. Sydney: The University of New South Wales.

Zheng T. (2007) «Performing Media-Constructed Images for First-Class Citizenship: Political Struggles of Rural Migrant Hostesses in Dalian» // *Critical Asian Studies*, vol. 39, no. 1: 89–120.



РОСНАУ

**D.O. Timoshkin, F.A. Smetanin, Iu.O. Koreshkova,
N.N. Zborovitskaya, A.A. Voloshin, D.E. Bryazgina**
**SEARCH ENGINES AS MECHANISM FOR
CONSTRUCTING BOUNDARIES
OF “IMAGINED COMMUNITIES”
CASE OF INTERNAL MIGRANT IMAGE
IN SIBERIAN REGIONAL DIGITAL MEDIA³⁷**

³⁷ The study was supported financially by the Russian Science Foundation within the Scientific Project No. 22-78-10075 (<https://rscf.ru/project/22-78-10075/>).

Dmitriy O. Timoshkin — Ph.D. in Sociology; Senior Researcher at Irkutsk State University. E-mail: dmtrtim@gmail.com.

Fedor A. Smetanin — Junior Researcher at Irkutsk State University. E-mail: f-smetanin@mail.ru

Iuliia O. Koreshkova — Junior Researcher at Irkutsk State University. E-mail: yuliakodzhaeva@yandex.ru.

Nastasia N. Zborovitskaya — Junior Researcher at Irkutsk State University. E-mail: zborovickaya@mail.ru.

Andrey A. Voloshin — Junior Researcher at Irkutsk State University. E-mail: voloha94@yandex.ru

Diana E. Bryazgina — Junior Researcher at Irkutsk State University. E-mail: br.diana21@gmail.com.

Abstract. The article analyzes the process of constructing boundaries of imagined communities by search engines, using the case of the image of internal migrants arriving in Tomsk, Krasnoyarsk, and Irkutsk. Combining quantitative and qualitative content analysis, the authors analyzed the image of internal migrants created by the texts that make up the first pages of search results of Google, Yandex, Bing, DuckDuckGo, and Mail.ru. They found that in most texts, an internal migrant is presented as a poor, low-skilled man who constantly finds himself in extreme situations, more often — crimes, in which he is either a victim or an offender. At the same time, some essential details of the image may differ depending on the chosen ethnonym and the name of the host city in the search query.

According to the authors' hypothesis, the fact that all the search engines under question modify the image of a migrant depending on the host city in-

dicates the presence of regional specifics in the agenda formation. At the same time, the similarity in social actions, spaces and actors that make up the image of an internal migrant in the search results with the same components in the image of a cross-border migrant indicates that crossing regional borders becomes a sufficient condition for classifying a person who crossed borders into a separate, stigmatized category. Search engines fragment the “imagined community” in the agenda by putting first texts that draw regional groups as outsiders who are dangerous to each other. This finding allows to hypothesize that algorithms construct/reproduce perceptions of local communities about themselves, which falls out of the political myth of a unified Russian community defined by national borders. If the hypothesis is true, it could mean that search engines are beginning to function as an actor (or its representative) that defies contemporary political mythology.

Keywords: internal migration, agenda, borders, imagined societies, search engines, political actor

References

- Aalberg T. and Z.Strabac. (2010) “Media Use and Misperceptions: Does TV Viewing Improve Our Knowledge about Immigration?” // *Nordicom Review*, vol. 31, no. 1: 35–52.
- Anderson B. (1991) *Imagined Societies: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London, New York: Verso.
- Aruguete N. (2017) “The Agenda Setting Hypothesis in the New Media Environment” // *Comunicación y Sociedad*, no. 28: 35–58.
- Ashmanov I.S. and A.Ivanov. (2008) *Optimizatsiya i prodvizhenie saj-tov v poiskovykh sistemakh* [Optimization and Promotion of Websites in Search Engines]. St Petersburg: Peter. (In Russ.)
- Augé M. (2009) *Ne-mesta: Vvedenie v antropologiju gipermoderna* [Non-lieux: Introduction à une anthropologie de la survodernité]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russ.)
- Boomgaarden H.G. and R.Vliegthart. (2007) “Explaining the Rise of Anti-Immigrant Parties: The Role of News Media Content” // *Electoral Studies*, vol. 26, no. 2: 404–417.
- Bozdag E. (2013) “Bias in Algorithmic Filtering and Personalization” // *Ethics and Information Technology*, vol. 15, no. 3: 209–227.
- Cassirer E. (2011) “Tekhnologii sovremennykh politicheskikh mifov” [Technologies of Modern Political Myths] // *Politiko-filosofskij ezhegodnik* [Political and Philosophical Yearbook]. Issue 4. Moscow: IFRAN: 112–133. (In Russ.)
- Caviedes A. (2015) “An Emerging „European“ News Portrayal of Immigration?” // *Journal of Ethnic and Migration Studies*, vol. 41, no. 6: 897–917.
- Cho J. and S.Roy. (2004) “Impact of Search Engines on Page Popularity” // *Proceedings of the 13th International Conference on World Wide Web*. New York: 20–29. URL: <https://dl.acm.org/doi/proceedings/10.1145/988672?tocHeading=heading2> (accessed on 24.03.2023).

Chouliaraki L. and R. Zaborowski. (2017) “Voice and Community in the 2015 Refugee Crisis: A Content Analysis of News Coverage in Eight European Countries” // *International Communication Gazette*, vol. 79, no. 6–7: 613–635.

Chouliaraki L. and T. Stolic. (2017) “Rethinking Media Responsibility in the Refugee „Crisis“: A Visual Typology of European News” // *Media, Culture & Society*, vol. 39, no. 8: 1162–1177.

Danaj S. and I. Wagner. (2021) “Beware of the „Poverty Migrant“: Media Discourses on EU Labour Migration and the Welfare State in Germany and the UK” // *Zeitschrift für Sozialreform*, vol. 67, no. 1: 1–27.

Dementiev V.E. (2020) “Faktory differentsiatsii regionov po tempam ekonomicheskogo rosta” [Factors of Regional Differentiation by Economic Growth Rates] // *Terra Economicus*, vol. 18, no. 2: 6–21. URL: https://te.sfedu.ru/evjur/data/2020/18_2.pdf (accessed on 24.03.2023). (In Russ.)

Dhëmbó E., E.Çaro, and J.Hoxha. (2021) “„Our Migrant“ and „the Other Migrant“: Migration Discourse in the Albanian Media, 2015–2018” // *Humanities and Social Sciences Communications*, vol. 8, no. 1: 1–10.

Douglas M. (2000) *Chistota i opasnost': Analiz predstavlenij ob oskvernenii i tabu* [Purity and Danger: An Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo]. Moscow: Kanon-press-Ts; Kuchkovo pole. (In Russ.)

Dyatlov V.I. and E.N. Petrova. (2010) “Irkutskaja oblast': dinamika vneshnikh migratsij v uslovijakh ekonomicheskogo krizisa” [Irkutsk Region: Dynamics of External Migrations in Conditions of Economic Crisis] // *Izvestija Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Politologija. Religiovedenie* [The Bulletin of Irkutsk State University. Series “Political Science and Religion Studies”], no. 2: 73–83. (In Russ.)

Eberl J.M., C.E. Meltzer, T. Heidenreich, B. Herrero, N. Theorin, F. Lind, and J. Strömbäck. (2018) “The European Media Discourse on Immigration and Its Effects: A Literature Review” // *Annals of the International Communication Association*, vol. 42, no. 3: 207–223.

Evgenieva T.V. and A.V. Selezneva. (2007) “Obraz „vraga“ kak faktor formirovaniya natsional'noj identichnosti sovremennoj rossijskoj molodezhi” [“Enemy Image” as the Factor of the Formation of Modern Russian Youth’s National Identity] // *Politeia*, no. 3 (46): 83–92. URL: http://politeia.ru/files/articles/rus/Politeia_Evgenyeva_Selezneva-2007-3.pdf (accessed on 24.03.2023). (In Russ.)

Fleras A. and J.L. Kunz. (2001) *Media and Minorities: Representing Diversity in a Multicultural Canada*. Toronto: Thompson Educational Publishing.

Georgiou M. (2012) “Introduction: Gender, Migration and the Media” // *Ethnic and Racial Studies*, vol. 35, no. 5: 791–799.

Gerstein I.Z. (2020) “„Negativnaja“ identichnost' kak faktor sovremen-nogo gosudarstvoobrazovaniya (na primere Belarusi, Ukrainy, DNR i LNR)” [“Negative” Identity as a Factor of Modern State Formation (on the Example of Belarus, Ukraine, DPR and LPR)] // *Via in tempore. Istorija. Politolo-*

gija [Via in tempore. History and Political Science], vol. 47, no. 3: 630—639. (In Russ.)

Holone H. (2016) “The Filter Bubble and Its Effect on Online Personal Health Information” // *Croatian Medical Journal*, vol. 57, no. 3: 298—301.

Hughes T.P. (1986) “The Seamless Web: Technology, Science, Etcetera, Etcetera” // *Social Studies of Science*, vol. 16, no 2: 281—292.

Komarova E.V. (2019) “Obraz migranta v mediadiskurse: traditsionnye SMI i novye media” [The Image of a Migrant in Media Discourse: Traditional Mass Media and New Mass Media] // *Filologija i kul'tura* [Philology and Culture], no. 4 (58): 52—60. (In Russ.)

Latour B. (1999) *On Recalling ANT in Actor Network Theory and After*. Oxford: Blackwell Publishers.

Lippmann W. (2004) *Obshchestvennoe mnenie* [Public Opinion]. Moscow: Institut Fonda “Obshchestvennoe mnenie”. (In Russ.)

Malakhov V.S. (2015) *Integratsija migrantov: Kontseptsii i praktiki* [The Integration of Migrants: Concepts and Practices]. Moscow: Fond “Liberal'naja missija”. (In Russ.)

Malinova O.Yu. (2008) “Diskussii o gosudarstve i natsii v postsovetsoj Rossii i ideologema „imperii”” [Discussions about the State and the Nation in Post-Soviet Russia and the Ideologeme of “Empire”] // *Politicheskaja nauka* [Political Science], no. 1: 31—58. (In Russ.)

Markina V.M. (2015) “Strategii reprezentatsii Drugikh v SMI: teorija i metodologija kontent-analiza” [Strategies of Representation of Others in Mass Media: Theory and Methodology of Content Analysis] // *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofija. Sotsiologija. Politologija* [Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science], no. 1: 82—90. (In Russ.)

May 2022 Core Update Releasing for Google Search. URL: <https://developers.google.com/search/blog/2022/05/may-2022-core-update> (accessed on 30.03.2023).

McCombs M. and A.Reynolds. (2002) “News Influence on Our Pictures of the World” // Bryant J., D.Zillmann, and M.B.Oliver, eds. *Media Effects: Advances in Theory and Research*. New York: Routledge: 11—28.

McCombs M. and D.L.Shaw. (1972) “The Agenda-Setting Function of Mass Media” // *Public Opinion Quarterly*, vol. 36, no. 2: 176—187.

Mill J. (1993) “O svobode” [On Liberty] // *Nauka i zhizn'* [Science and Life], no. 11: 10—15. (In Russ.)

Mkrtychyan N.V. (2004) “„Zapadnyj dreyf“ vnutrirossijskoj migratsii” [The “Western Drift” of internal Russian Migration] // *Otechestvennye zapiski [OZ: Journal of Russian Thought]*, no. 4 (19): 94—104. (In Russ.)

Mkrtychyan N.V. (2020) “Rol' migratsii v dinamike chislennosti i struktury naselenija regionov Krajnego Severa i priravnennykh k nemu mestnostej” [The Role of Migration in the Dynamics of the Number and Structure of the Population of the Regions of the Far North and Equivalent Areas] // *Nauchnye trudy: Institut narodnokhozjajstvennogo prognozirovaniya RAN* [Scien-

tific Works: Institute of Economic Forecasting of the Russian Academy of Sciences]. Vol. 18. Moscow: MAKS Press: 431—448. (In Russ.)

Mkrtychyan N.V. and L.B.Karachurina. (2014) “Migratsija v Rossii: potoki i tsentry pritjazhenija” [Migration in Russia: Flows and Centers of Gravity] // *Demoscope Weekly*, no. 595—596: 1—17. (In Russ.)

Page B.I. (1996) “The Mass Media as Political Actors” // *PS: Political Science & Politics*, vol. 29, no. 1: 20—24.

Pain E. (2014) “Ksenofobija i natsionalizm v epokhu rossijskogo bezvremen’ja” [Xenophobia and Nationalism in an Era of Russian Timelessness] // *Pro et Contra*, vol. 62, no. 1—2: 34—53. URL: https://carnegieendowment.org/files/ProEtContra_62_34-53.pdf (accessed on 24.03.2023). (In Russ.)

Sættra H.S. (2019) “The Tyranny of Perceived Opinion: Freedom and Information in the Era of Big Data” // *Technology in Society*, vol. 59, no. 4: 101—155.

Samusenko S.A. and E.B.Bukharova. (2022) “Vnutriregional’noe sotsial’noe i ekonomicheskoe prostranstvennoe neravenstvo v resursnykh ekonomikakh” [Intraregional Social and Economic Spatial Inequality in Resource-Abundant Economies] // *Zhurnal Sibirskogo federal’nogo universiteta. Gumanitarnye nauki* [Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences], vol. 15, no. 7: 1012—1023. (In Russ.)

Schwartz B. (2022) *Google Releases September 2022 Product Reviews Update*. URL: <https://searchengineland.com/google-releases-september-2022-product-reviews-update-387293> (accessed on 30.03.2023).

Stonequist E.V. (1935) “The Problem of the Marginal Man” // *American Journal of Sociology*, vol. 41, no. 1: 1—12.

Tao L. (2015) *Media Representation of Internal Migrant Children in China between 1990 and 2012*. Ph.D. diss. Sydney: The University of New South Wales.

Timoshkin D.O. (2020) “Raznoobrazie „Drugikh“: obraz „moskovskogo migranta“ na stranitse rezul’tatov poiska Google, Yandex i DuckDuckgo” [A Variety of the “Others”: Images of “Moscow Migrants” in the Search Results of Google, Yandex and DuckDuckgo] // *Zhurnal issledovanij sotsial’noj politiki* [The Journal of Social Policy Studies], vol. 18, no. 4: 641—656. (In Russ.)

Tselykovskiy A.A. (2016) “Politicheskij mif kak determinanta formirovaniya natsional’nogo politicheskogo soznaniya” [Political Myth as a Determinant of Formation of the National Political Consciousness] // *Vestnik Cheljabinskogo gosudarstvennogo universiteta* [Bulletin of Chelyabinsk State University], no. 3 (385): 13—20. (In Russ.)

Vakulenko E.S. (2019) “Motivy vnutrennej migratsii naselenija v Rossii: chto izmenilos’ v poslednie gody?” [Motives for Internal Migration of Population in Russia: What Has Changed in Recent Years?] // *Prikladnaja ekonometrika* [Applied Econometrics], no. 3 (55): 113—138. (In Russ.)

Varganova O.F. (2015) “Obraz trudovogo migranta v federal’nykh i regional’nykh SMI (po rezul’tatam kontent-analiza)” [The Image of Migrant

Workers in Federal and Regional Mass Media (Results of Content Analysis) // *Sotsiologicheskaja nauka i sotsial'naja praktika* [Sociological Science and Social Practice], no. 3 (11): 81—93. (In Russ.)

Vesnina L.E. (2009) “Militarnaja metafora, predstavljajushchaja obraz migranta v otechestvennykh SMI” [Military Metaphor Creating the Image of Migrants in Russian Mass Media] // *Lingvokul'turologija* [Linguoculturology], issue 3: 27—34. URL: <http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/2767/1/licu-2009-03-04.pdf> (accessed on 24.03.2023). (In Russ.)

Vesnina L.E. (2010) “Metaforicheskoe modelirovanie migratsii v rossijskikh pechatnykh SMI” [Metaphorical Modeling of Migration in Russian Print Mass Media] // *Politicheskaja lingvistika* [Political Linguistics], no. 1 (31): 84—89. (In Russ.)

Voronov S.A. and I.A.Sidorov. (2021) “Mekhanizmy poiskovoj sistemy Google, ispol'zuemye v informatsionnom protivoborstve” [Google Search Engine Mechanisms Used in Information Warfare] // *Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Informatsionnye tekhnologii* [Vestnik NSU. Series: Information Technologies], vol. 19, no. 1: 26—38. (In Russ.)

Weber M. (1994) *Izbrannoe: Obraz obshchestva* [Selected Works: The Image of Society]. Moscow: Jurist. (In Russ.)

Yakimova O.A. (2015) “Mediadiskurs inostrannoj migratsii v Rossiju v kontekste konstruirovaniya mezhetnicheskogo vzaimodejstviya” [Constructing Inter-Ethnic Interaction: Media Discourse of International Migration in Russia] // *Zhurnal sotsiologii i sotsial'noj antropologii* [The Journal of Sociology and Social Anthropology], vol. 18, no. 3: 123—136. (In Russ.)

Zayonchkovskaya A. (1991) *Demograficheskaja situatsiya i rasselenie* [Demographic Situation and Settlement]. Moscow: Nauka. (In Russ.)

Zheng T. (2007) “Performing Media-Constructed Images for First-Class Citizenship: Political Struggles of Rural Migrant Hostesses in Dalian” // *Critical Asian Studies*, vol. 39, no. 1: 89—120.



Ю. Г. Коргунюк, К. Росс

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Юрий Григорьевич Коргунюк — доктор политических наук, ведущий научный сотрудник отдела политической науки ИНИОН РАН. Для связи с автором: partinform@mail.ru.

Камерон Росс — профессор Университета Данди (Шотландия); глава Европейского института безопасности и права (Центр Жана Монне), главный редактор журналов «European Politics and Society» и «Russian Politics». Для связи с автором: c.z.ross@dundee.ac.uk.

Аннотация. Статья посвящена политическим предпочтениям молодых избирателей на выборах в современной России. В развитие своего предыдущего исследования, где рассматривалась связь между уровнем модернизации и политическим плюрализмом в российских регионах, авторы предприняли попытку с помощью корреляционного и регрессионного анализа оценить роль возрастного фактора в поведении избирателей, используя в качестве контрольных переменных протестированные ими ранее факторы модернизации.

Проведенное исследование показало, что представление о том, будто молодые избиратели более склонны поддерживать либеральные и демократические партии, чем старшие поколения, не вполне справедливо. Избиратели в возрасте от 18 до 24 лет действительно демонстрируют повышенную предрасположенность к голосованию за оппозиционные партии, но не обязательно либеральные и демократические. На думских выборах 2016 г. от их поддержки больше всего выиграли карикатурные неосталинисты из «Коммунистов России», на выборах в региональные собрания в 2016—2021 гг. — праворадикальные империалисты из ЛДПР. На думских же выборах 2021 г. наибольшую поддержку самой молодой возрастной когорты получили, с одной стороны, «системные оппозиционеры» в лице КПРФ и ЛДПР, с другой, дебютант избирательной кампании — партия «Новые люди», придерживающаяся либеральных взглядов в экономической сфере, но вполне лояльная существующему режиму.

Ключевые слова: молодежь, политические предпочтения, постсоветская Россия, выборы в Государственную Думу, выборы в региональные собрания

В работе о социальных предпосылках демократии Сеймур Мартин Липсет следующим образом определил отношения между модернизацией и политическим развитием: «Чем богаче нация, тем больше у нее шансов сохранить демократию»¹. В своем предыдущем исследовании² мы проверили гипотезу Липсета путем изучения связи между модернизацией и уровнем партийной конкуренции в российских регионах в 2013—2017 гг. При этом, учитывая, что для Липсета модернизация не исчерпывалась экономическим ростом и повышением благосостояния населения и он «не приписывал непосредственную действующую силу какой-либо из переменных хотя бы потому, что в реальности они тесно переплетены между собой»³, мы по отдельности протестировали ряд показателей: подушевой ВВП, уровень доходов, образования, урбанизации, предпринимательской активности и др.

Исследование показало, что эти факторы, особенно урбанизация, образование, предпринимательская активность и экономическое развитие, действительно положительно влияют на степень политического плюрализма в российских регионах, причем наиболее значимым из них является даже не урбанизация, а предпринимательская активность. Тем не менее это влияние имеет свои пределы и объясняет поведение избирателей не более чем на 40%.

В настоящем исследовании мы постараемся с помощью корреляционного и регрессионного анализа оценить роль возрастного фактора в поведении избирателей на думских и региональных выборах в период между 2016 и 2021 гг. В качестве контрольных переменных будут выступать факторы модернизации, протестированные в предыдущей работе.

По расчетам Марлен Ларюэль, в 2019 г. люди моложе 34 лет составляли 43% российского населения, из них 30 млн принадлежало к поколению Y (то есть родились в 1981—1996 гг.) и 15 млн — к поколению Z (родились в 1997—2012 гг.)⁴. Мы собираемся проверить, склонны ли представители этих поколений в большей степени, чем их старшие соотечественники, отдавать предпочтение либеральным и демократическим партиям, или в России, как и во многих других странах, готовность молодых избирателей поддерживать демократию и демократические партии переживает определенный спад⁵.

¹ Lipset 1959: 75.

² Ross and Korgunyk 2020.

³ Wucherpfennig and Deutsch 2009: 7.

⁴ Laruelle 2019: 1.

⁵ Foa and Mounk 2016; Foa et al. 2020; Repucci and Slipowitz 2022.

Возраст и политические предпочтения: социологические опросы

⁶ Meyer-Olimpieva 2020: 8.

⁷ Gudkov et al. 2020: 38.

⁸ Ibid.: 46.

⁹ Ibid.: 55.

Ссылаясь на социологические опросы, Ирина Мейер-Олимпиева утверждает, что в системе ценностей и социальной памяти молодых и старших возрастных когорт в России больше общего, чем различий⁶. К сходному выводу приходят и Лев Гудков с коллегами в своем исследовании 2020 г. По их заключению, в плане политических и идеологических предпочтений молодые россияне (14—29 лет) не очень отличаются от более взрослых⁷. В частности, лишь 40% из них определяют себя как социал-демократов и либералов (среди населения в целом — 37%)⁸, а 65% поддерживают тезис о необходимости лидера, правящего сильной рукой ради общественного блага⁹.

¹⁰ Более 80% российской молодежи 2020.

¹¹ О демократии 2020.

¹² Volkov, Goncharov, and Snegovaya 2020: 1.

¹³ Молодежь 2018.

¹⁴ Attitude 2021.

¹⁵ The Return 2021.

¹⁶ При анализе результатов выборов по партийным спискам обычно используется порог в 3–5%, однако в условиях России, где доминирование «партии власти» во многом обеспечивается с помощью «административного ресурса», такой порог, как правило, нивелирует различия между регионами и серьезно упрощает общую картину. Снижение планки до 1% помогает избежать этой проблемы.

¹⁷ В предыдущем исследовании мы использовали также четвертый показатель — эффективное число партий в региональных собраниях, но на этот раз решили обойтись без него, сочтя его искаженной формой ENEP, отражающей скорее способность

В резком контрасте с этими утверждениями подавляющая часть опросов свидетельствует о более высоком уровне поддержки молодежью демократических и либеральных ценностей по сравнению с их родителями и родителями их родителей. Так, согласно опросу Левада-Центра* от 30 апреля 2020 г., 47% респондентов в возрасте от 14 до 29 лет видят в демократии оптимальную для России модель социально-политической системы, а 71% говорит о «неприятии авторитарных методов управления и использования силовых структур для решения социальных и этнонациональных проблем»¹⁰. В свою очередь проведенный в октябре того же года Фондом «Общественное мнение» опрос показывает, что наличие демократии в России считают важным 64% респондентов в возрасте 18–30 лет (среди 31–45-летних таковых 60%, среди 46–60-летних — 57%, среди лиц старше 60 лет — 54%)¹¹.

Опираясь на данные Левада-Центра*, Денис Волков, Степан Гончаров и Мария Снеговая демонстрируют, что молодые люди 16–34 лет — наиболее бизнес-ориентированная, прозападная и толерантная возрастная категория в России. Они настроены менее патерналистски, чем остальное население, а доля отдающих предпочтение правам человека среди россиян моложе 25 лет вдвое превышает долю тех, кто ставит на первое место интересы государства¹².

Что касается поддержки режима, то, по данным экзит-поллов ВЦИОМ, на президентских выборах 2018 г. за Владимира Путина проголосовали 68% избирателей 18–34 лет, тогда как в группе 35–59 лет ему отдали свои голоса 73,4%, а среди избирателей старше 60 лет — 81,3%¹³. Мало того, по мере ухудшения экономической обстановки и ситуации с гражданскими свободами поддержка Путина молодежью стала снижаться, и на начало марта 2021 г. среди респондентов от 18 до 24 лет соотношение тех, кто хотел и не хотел бы, чтобы он оставался президентом после в 2024 г., составляло 31% к 57% (среди людей старше 55 лет это соотношение было обратным — 59% к 31%)¹⁴. Молодежь также более позитивно относится к Алексею Навальному. Согласно опросам Левада-Центра*, в феврале 2021 г. в возрастной категории от 18 до 24 лет его деятельность одобряли 36% респондентов, в то время как в категории 25–39 лет — 23%, в категории 40–54 года — 18%, в категории старше 55 лет — только 12%¹⁵.

Модернизация и плюрализм

государственной бюрократии навязывать свою волю законодательным органам, нежели степень политического плюрализма.

Методология. Для измерения влияния модернизации на электоральную и партийную конкуренцию в качестве зависимых переменных были использованы три индикатора уровня политического плюрализма: 1) число партий, набравших в каждом из регионов более 1% голосов¹⁶ на думских выборах 2021 г., 2) доля голосов, поданных за «Единую Россию» на выборах в региональные собрания в 2016–2020 гг., 3) эффективное число партий на выборах в региональные собрания (effective number of electoral parties — ENEP)¹⁷.

Большее число партий, набравших свыше 1% голосов, в сочетании с большим эффективным числом партий и меньшей долей голосов за «Единую Россию» свидетельствует о более высоком уровне политического плюрализма в соответствующем регионе. В частности, число партий, превысивших на думских выборах 1-процентный порог, говорит о том, насколько избиратели способны противостоять давлению со стороны региональных властей, стремящихся максимизировать количество голосов, отданных за «Единую Россию». Этот показатель раскрывает в первую очередь степень политического плюрализма рядового электората.

Голосование за «Единую Россию» на выборах в региональные собрания помогает выяснить уровень политической консолидации региональных элит. На думских выборах у региональных администраций нередко не бывает иной альтернативы, кроме как сосредоточить свои усилия на максимизации количества голосов в пользу «Единой России», поскольку только так субъект Федерации может получить представительство в Госдуме. Когда дело доходит до региональных выборов, ситуация меняется. Региональные администрации часто бывают заинтересованы в поддержании баланса внутри местных элитных групп, и один из способов решения этой задачи — допустить их представителей в региональные собрания, в том числе в качестве оппозиции¹⁸. Так, даже в Чечне, где «Единая Россия» набирает на думских выборах более 90% голосов, в региональном парламенте представлены несколько оппозиционных партий. Таким образом, процент голосов, отданных за ЕР, демонстрирует степень политического плюрализма среди местных элит.

Эффективное число партий на региональных выборах позволяет оценить не только консолидацию местных элит, но и силу тех элитных групп, которые поддерживают оппозицию. Эффективное число рассчитывается по классической формуле Маркку Лааксо и Рейна Таагеперы¹⁹:

$$N = \frac{1}{\sum_{i=1}^n p_i^2},$$

где p_i — доля голосов, полученных каждой участвующей в выборах партией. В предыдущей статье мы использовали также формулу Григория Голосова²⁰:

$$N_p = \sum_1^y \frac{S_i}{S_i + S_1^2 + S_i^2},$$

где y — общее число партий в системе, S_i — доля голосов, полученных каждой партией, а S_1 — доля партии, вышедшей на первое место в ходе выборов. Однако наши расчеты показали, что эта формула дает меньшую дисперсию и, как следствие, обладает меньшей чувствительностью. Поэтому в нынешнем исследовании мы использовали ее в основном для проверки робастности.

Эти три показателя играли роль зависимых переменных в регрессионных моделях (пошаговая множественная линейная регрессия, метод наименьших квадратов — МНК), независимыми переменными

¹⁸ Turovsky 2015; Kynev 2017.

¹⁹ Laakso and Taagepera 1979.

²⁰ Golosov 2010.

в которых выступали факторы модернизации: 1) доля городского населения, 2) число малых предприятий на 10 тыс. человек, 3) доля работников с высшим образованием, 4) количество врачей на 10 тыс. человек, 5) доля убыточных предприятий, 6) количество личных автомобилей на 1000 человек, 7) доля домохозяйств с горячим водоснабжением.

Выбор именно этих независимых переменных определялся следующими соображениями. Показатель «доля городского населения» отражает ведущую роль крупных городов в процессе модернизации. Но более модернизированные регионы и более успешны в экономическом отношении, благосостояние их населения выше, инфраструктура лучше развита. Отсюда такие показатели, как «доля убыточных предприятий», «количество личных автомобилей на 1000 человек», «доля домохозяйств с горячим водоснабжением» и «количество врачей на 10 тыс. человек». Кроме того, модернизация предполагает более высокий уровень образования и культурного развития населения, что побудило нас внести в список независимых переменных «долю работников с высшим образованием». Наконец, на постсоветском пространстве модернизация не в последнюю очередь связана с возрождением предпринимательской инициативы. Исходя из посылки, согласно которой чем более развит частный сектор экономики, тем более модернизирована территория, мы включили в рассмотрение показатель «количество малых предприятий на 10 тыс. человек».

Протестировав способность этих факторов играть роль предикторов уровня политического плюрализма в регионах России, мы использовали доказавшие такую способность показатели в качестве контрольных переменных в регрессионных моделях, где зависимыми переменными выступили доли голосов, полученных партиями в субъектах Федерации на думских выборах 2016 и 2021 гг., а также на выборах по пропорциональной системе в региональные собрания в 2016—2020 гг. Основными же независимыми переменными стали доли возрастных когорт от 18 до 24 и от 25 до 29 лет в каждом из регионов — именно эти возрастные когорты отнесены Росстатом к «молодежи».

В качестве предварительного этапа перед построением регрессионных моделей мы прибегли также к корреляционному анализу, позволяющему выяснить, существует ли зависимость между возрастом избирателей и их политическими предпочтениями. Регрессионный анализ в свою очередь помогает понять, насколько возраст избирателей может считаться самостоятельным фактором при объяснении их электорального поведения.

Электоральные данные для вычислений были взяты с официального сайта Центральной избирательной комиссии (<http://www.cikrf.ru>), демографические и социально-экономические данные — с сайта Федеральной службы государственной статистики (<http://www.gks.ru>).

Показатели политического плюрализма и факторы модернизации. В табл. 1 приведены показатели политического плюрализма

в 84 из 85 регионов России (Москва была исключена из рассмотрения, поскольку депутаты столичной городской думы избирались только по одномандатным округам).

Таблица 1 Показатели политического плюрализма в российских регионах

<i>Регион</i>	<i>Число партий, набравших более 1% на выборах в Думу в 2021 г.</i>	<i>Процент голосов за «Единую Россию» на выборах в региональные ассамблеи в 2016—2020 гг.</i>	<i>Эффективное число партий на региональных выборах</i>
Адыгея	6	58,31	2,57
Алтайский край	7	34,08	4,23
Амурская обл.	7	35,93	3,88
Архангельская обл.	9	31,59	4,63
Астраханская обл.	8	42,31	3,66
Башкортостан	6	58,31	2,56
Белгородская обл.	7	63,95	2,29
Брянская обл.	6	63,71	2,26
Бурятия	8	41,07	3,84
Владимирская обл.	9	29,57	4,93
Волгоградская обл.	6	48,15	3,3
Вологодская обл.	8	37,27	4,34
Воронежская обл.	8	61,52	2,44
Дагестан	5	75,51	1,7
Еврейская АО	7	42,43	3,36
Забайкальский край	7	28,3	4,67
Ивановская обл.	9	34,14	4,42
Ингушетия	5	75,94	1,7
Иркутская обл.	8	27,83	4,4
Кабардино-Балкария	3	65,85	2,15
Калининградская обл.	9	41,17	4,23
Калмыкия	7	68,52	2,02
Калужская обл.	9	42,43	4,45
Камчатский край	8	48,31	3,18
Карачаево-Черкесия	4	65,04	2,22
Карелия	11	33,2	4,96

Таблица 1 Показатели политического плюрализма в российских регионах (Продолжение)

<i>Регион</i>	<i>Число партий, набравших более 1% на выборах в Думу в 2021 г.</i>	<i>Процент голосов за «Единую Россию» на выборах в региональные ассамблеи в 2016—2020 гг.</i>	<i>Эффективное число партий на региональных выборах</i>
Кемеровская обл.	5	64,4	2,25
Кировская обл.	7	35,9	4,2
Костромская обл.	7	31,92	5,92
Краснодарский край	6	70,78	1,89
Красноярский край	8	38,53	4,53
Крым	6	54,7	2,94
Курганская обл.	7	44,57	3,65
Курская обл.	7	50,17	3,09
Ленинградская обл.	9	51,25	3,15
Липецкая обл.	7	53,88	3,01
Магаданская обл.	7	58,32	2,69
Марий Эл	6	37,49	4,03
Мордовия	6	83,7	1,41
Московская обл.	11	43,15	4,16
Мурманская обл.	11	39,2	4,42
Ненецкий АО	9	38,97	4,04
Нижегородская обл.	7	54,91	2,91
Новгородская обл.	8	38,92	4,04
Новосибирская обл.	10	38,13	4,86
Омская обл.	7	36,3	3,93
Оренбургская обл.	7	41,05	3,69
Орловская обл.	8	45,96	3,26
Пензенская обл.	7	68,99	1,99
Пермский край	8	43,75	3,78
Приморский край	7	39,47	4
Псковская обл.	8	44,14	3,71
Республика Алтай	9	34,18	4,41
Республика Коми	9	28,61	6,48
Ростовская обл.	8	56,98	2,69

Таблица 1 Показатели политического плюрализма в российских регионах (Окончание)

<i>Регион</i>	<i>Число партий, набравших более 1% на выборах в Думу в 2021 г.</i>	<i>Процент голосов за «Единую Россию» на выборах в региональные ассамблеи в 2016—2020 гг.</i>	<i>Эффективное число партий на региональных выборах</i>
Рязанская обл.	7	47,65	3,77
Самарская обл.	8	51,02	3,16
Санкт-Петербург	13	41,25	4,39
Саратовская обл.	7	66,84	2,09
Саха (Якутия)	8	50,84	3,01
Сахалинская обл.	8	44,64	3,98
Свердловская обл.	8	40,26	4,22
Севастополь	7	38,5	4,32
Северная Осетия	4	59,19	2,55
Смоленская обл.	7	36,34	4,19
Ставропольский край	6	53,07	2,92
Тамбовская обл.	7	62,25	2,38
Татарстан	6	72,43	1,85
Тверская обл.	9	46,47	3,47
Томская обл.	9	41,21	3,95
Тува	5	80,13	1,53
Тульская обл.	8	50,27	3,37
Тюменская обл.	7	56,59	2,67
Удмуртия	7	63,16	2,3
Ульяновская обл.	7	33,96	3,7
Хабаровский край	10	12,51	2,75
Хакасия	8	25,46	4,61
Ханты-Мансийский АО	8	46,87	3,29
Челябинская обл.	8	42,58	4,22
Чечня	1	87,66	1,29
Чувашия	7	50,7	3,21
Чукотский АО	9	61,66	2,33
Ямало-Ненецкий АО	5	64,64	2,21
Ярославская обл.	9	38,43	4,2

По итогам думских выборов 2021 г. число партий, набравших в различных регионах более 1%, несколько изменилось по сравнению с 2016 г. Если в прошлый раз оно варьировало от трех (Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария) до 11 (Москва, Московская область и Санкт-Петербург), то в 2021 г. — от одной (Чечня) до 13 (Москва и Санкт-Петербург). Однако наиболее распространенными остались цифры 7 (26 регионов, на два больше, чем в 2016 г.), 8 (20 против 19 в 2016 г.), 9 (13 против 11) и 6 (10 против 14).

Изменения в долях голосов за «Единую Россию» на выборах в региональные собрания и эффективном числе партий оказались меньше, в том числе из-за частичного пересечения временных периодов 2013—2017 и 2016—2020 гг.

В 2013—2017 гг. «рекордсменами» по голосованию за «Единую Россию» были Чечня (87,66%), Кемеровская область (86,21%), Татарстан (84,24%) и Тува (84,03%); в 2016—2020 гг. — Чечня (87,66%), Мордовия (83,7%), Тува (80,13%) и Ингушетия (75,94%). «Аутсайдерами» в этом «соревновании» в 2013—2017 гг. были Карелия (33,2%), Алтайский край (34,08%), Кировская (35,9%) и Амурская (35,93%) области; в 2016—2020 гг. — Хабаровский край (12,51%), Хакасия (25,46%), Иркутская область (27,83%) и Забайкальский край (28,3%). Как видим, самые высокие показатели поддержки «партии власти» почти не изменились, тогда как самые низкие заметно упали.

Минимальное значение эффективного числа партий осталось прежним — 1,29 (Чечня, 2016 г.), а максимальное увеличилось, достигнув 6,48 (Республика Коми, 2020 г.). Предыдущий «рекорд» принадлежал Карелии (2016 г.) — 4,96.

Корреляционный анализ (см. табл. 2) продемонстрировал актуальность всех факторов модернизации для показателей политического плюрализма, однако множественная регрессия (см. табл. 3) исключила из списка факторы «количество личных автомобилей на 1000 человек» и «доля убыточных предприятий». Тем не менее коэффициенты детерминации всех регрессий выросли: с 0,416 до 0,537 для количества партий, набравших более 1% на думских выборах, с 0,389 до 0,43 для доли голосов за «Единую Россию» на региональных выборах и с 0,383 до 0,44 для эффективного числа партий.

Особенно значительным было увеличение коэффициента детерминации для числа партий, получивших более 1% на думских выборах: в 2016 г. у этого показателя было всего два предиктора — количество малых предприятий и доля городского населения, в 2021 г. к ним добавились еще два — доля домохозяйств с горячим водоснабжением и число врачей на 10 тыс. человек, при том что первые два предиктора сохранили лидирующие позиции. Этот рост может быть связан с относительным успехом дебютанта — партии «Новые люди», которая позиционировала себя как выразительница интересов малого и среднего бизнеса и получила большинство голосов в относительно крупных городах.

Таблица 2 Корреляции между показателями политического плюрализма и факторами модернизации (84 наблюдения)

	Число партий, набравших более 1% на выборах в Думу в 2021 г.		Процент голосов за «Единую Россию» на выборах в региональные ассамблеи в 2016–2020 гг.		Эффективное число партий на региональных выборах	
	R	p-level	R	p-level	R	p-level
Городское население (%)	0,556	0,000	-0,424	0,000	0,425	0,000
Малые предприятия на 10 тыс. чел.	0,647	0,000	-0,393	0,000	0,407	0,000
Личные автомобили на 1000 чел.	0,257	0,018	-0,220	0,045	0,215	0,049
Убыточные предприятия (%)	0,054	0,623	-0,220	0,044	0,188	0,086
Работники с высшим образованием (%)	-0,174	0,114	0,429	0,000	-0,421	0,000
Врачи на 10 тыс. чел.	0,328	0,002	-0,114	0,301	0,053	0,633
Домохозяйства с горячим водоснабжением (%)	-0,003	0,979	0,212	0,052	-0,226	0,039

Выделенные корреляции значимы при $p < 0,05$

Таблица 3 Регрессионная модель (МНК) связей между факторами модернизации и уровнем политического плюрализма в регионах России (84 наблюдения)

	Число партий, набравших более 1% на выборах в Думу в 2021 г.		Процент голосов за «Единую Россию» на выборах в региональные ассамблеи в 2016—2020 гг.		Эффективное число партий на региональных выборах	
	R ²	P-level	R ²	P-level	R ²	P-level
Коэффициент детерминации	0,537	0,000	0,430	0,000	0,440	0,000
Городское население (%)	0,335	0,099	-0,402	0,110	0,402	0,109
Малые предприятия на 10 тыс. чел.	0,460	0,093	-0,198*	0,103	0,218	0,102
Личные автомобили на 1000 чел.						
Убыточные предприятия (%)						
Работники с высшим образованием (%)			0,291	0,096	-0,270	0,095
Врачи на 10 тыс. чел.	0,160*	0,083				
Домохозяйства с горячим водоснабжением (%)	-0,252	0,084	0,270	0,103	-0,297	0,102

* p ≤ 0,1; не помеченные случаи — ≤ 0,05

Показатель «голосование за „Единую Россию“ на выборах в региональные собрания» утратил некоторые предикторы (количество личных автомобилей на 1000 человек и число врачей на 10 тыс. человек), но приобрел новый — «доля городского населения», — выдвинувшийся на первое место. То же самое относится и к эффективному числу партий.

Таким образом, можно констатировать, что роль урбанизации как предиктора политического плюрализма выросла, тогда как роль других факторов несколько снизилась. Но в наших последующих регрессионных моделях мы будем использовать все упомянутые выше факторы модернизации — в расчете на то, что в некоторых случаях они могут оказаться актуальными.

Партийное голосование и возрастной состав

Выборы в Думу 2016 г. В думских выборах 2016 г. приняли участие 14 партий. Четыре из них преодолели 5-процентный барьер («Единая Россия» — 54,2%, КПРФ — 13,34%, ЛДПР — 13,1%, «Справедливая Россия» — 6,2%), а пять других набрали более 1% голосов («Коммунисты России» — 2,2%, «Яблоко» — 1,9%, Российская партия пенсионеров за справедливость — 1,7%, «Родина» — 1,5%, Партия Роста — 1,2%). Три партии с очень низким уровнем электоральной поддержки — «Гражданская платформа» (0,22%), «Гражданская сила» (0,14%) и «Патриоты России» (0,59%) — были исключены из анализа. «Гражданская платформа» и «Гражданская сила» были спойлерами, специально созданными для оттягивания голосов у либеральных «Яблока» и ПАРНАСа. Перед «Патриотами России» стояла задача оттянуть голоса у «Справедливой России» и частично у КПРФ.

Хотя ПАРНАС и РЭП «Зеленые» получили менее 1% голосов (0,73 и 0,76 соответственно), мы тем не менее решили включить их в анализ. ПАРНАС — радикальная оппозиционная партия рыночных либералов во главе с бывшим премьер-министром Михаилом Касьяновым, а «Зеленые» формально относятся к разряду экологических партий — появление таких партий на рубеже 1960—1970-х годов дало Рональду Инглхарту повод заговорить о переходе от «старой» материалистической повестки к новой постматериалистической²¹. Нас интересовало, в частности, обладали ли эти две партии привлекательностью для молодых когорт.

Из четырех партий, преодолевших 5-процентный барьер и получивших места в Думе, одна — «Единая Россия» — является «партией власти», представляющей собой послушный инструмент в руках президентской администрации и сочетающей весьма умеренный рыночный либерализм в социально-экономической сфере с безусловной поддержкой Путина и его курса на монополизацию власти. Три другие принято характеризовать как системную оппозицию. Это КПРФ, которая, несмотря на свое название, «смягчила позицию в отношении государственной собственности и теперь признает значительную роль частного предпринимательства», поддерживает «русский национализм» и защищает «права Русской православной церкви»²²; ЛДПР — право-

²¹ Inglehart 1971.

²² Reuter 2019: 49.

²³ March 2012: 251.

²⁴ Panov and Ross
2021.

популистская организация, возглавлявшаяся до 2022 г. Владимиром Жириновским и придерживающаяся радикально-империалистической ориентации; и «Справедливая Россия», продвигающая постсоветскую версию социал-демократии, гораздо более органичную для левых популистов из Латинской Америки, нежели для Западной Европы. Все эти три партии могут быть определены как «полугосударственные»²³, в значительной степени подконтрольные Кремлю и вынужденные следовать его линии для сохранения права на участие в выборах и парламентское представительство²⁴.

Что касается партий, набравших более 1% голосов, но не попавших в Думу, то их политическое лицо крайне неоднородно. «Яблоко» — это социал-либералы, оппозиционные режиму; Партия Роста — правые рыночные либералы, лояльные Путину; «Коммунисты России» — карикатурные неосталинисты, спойлеры КПРФ; Российская партия пенсионеров за справедливость — левые популисты, лояльные Путину, спойлеры «Справедливой России»; «Родина» — радикальные империалисты, лояльные Путину, спойлеры ЛДПР.

В *табл. 4* представлены корреляции между голосованием по партийным спискам и долями возрастных когорт во всех 85 субъектах РФ. Как видно из таблицы, положительную корреляцию с долей 18—24-летних имеет только голосование за «Единую Россию»; во всех других случаях она отрицательная. То же самое относится и к корреляции между голосованием и долей возрастной когорты 25—29 лет (слабые положительные корреляции здесь прослеживаются лишь применительно к Партии Роста и «Зеленым»). В то же время голосование за «Единую Россию» отрицательно коррелирует с долями всех остальных возрастных когорт, кроме когорты 45—49 лет.

Важно, однако, учитывать, что поддержка «Единой России» наиболее высока на Северном Кавказе и в других национальных республиках, где средний возраст населения ниже среднего по стране, причем есть основания полагать, что голосование за «партию власти» там обеспечивается в той или иной степени административно (при существенных различиях в самих административных методах). В связи с этим из анализа были исключены 17 регионов, где явка составила более 60%, а голосование за «Единую Россию» оказалось самым высоким. Помимо национальных республик (Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Тува, Башкортостан, Татарстан, Мордовия) в их число вошли Чукотский и Ямало-Ненецкий АО, Белгородская, Кемеровская, Пензенская, Саратовская и Тюменская области.

Из *табл. 5* следует, что в оставшихся 68 регионах доли младшей возрастной когорты (18—24 года) положительно коррелировали прежде всего с голосованием за КПРФ и — особенно — за «Коммунистов России». Голосование за «Единую Россию», ЛДПР, Партию Роста и «Зеленых» оказалось практически не связано с долей самых молодых избирателей, а остальные партии имели с этой когортой слабую отрицательную связь.

Таблица 4 Корреляции между голосованием за партии и долями возрастных когорт

	<i>Единая Россия</i>	<i>КПРФ</i>	<i>ЛДПР</i>	<i>Спра- ведливая Россия</i>	<i>Комму- нисты России</i>
18—24	0,439	-0,186	-0,425	-0,263	-0,188
	p=0,000	p=0,088	p=0,000	p=0,015	p=0,084
25—29	0,309	-0,233	-0,357	-0,120	-0,242
	p=0,004	p=0,032	p=0,001	p=0,275	p=0,026
30—34	-0,167	-0,115	0,260	-0,019	-0,048
	p=0,127	p=0,296	p=0,016	p=0,865	p=0,660
35—39	-0,358	-0,036	0,513	-0,005	0,092
	p=0,001	p=0,745	p=0,000	p=0,964	p=0,404
40—44	-0,360	-0,020	0,512	0,008	0,100
	p=0,001	p=0,856	p=0,000	p=0,942	p=0,364
45—49	0,097	-0,173	-0,024	-0,178	-0,149
	p=0,378	p=0,113	p=0,828	p=0,103	p=0,174
50—54	-0,094	0,089	0,115	-0,006	0,057
	p=0,392	p=0,416	p=0,294	p=0,953	p=0,605
55—59	-0,375	0,321	0,336	0,191	0,303
	p=0,000	p=0,003	p=0,002	p=0,081	p=0,005
60—64	-0,512	0,393	0,448	0,248	0,358
	p=0,000	p=0,000	p=0,000	p=0,022	p=0,001
65—69	-0,430	0,329	0,330	0,175	0,260
	p=0,000	p=0,002	p=0,002	p=0,109	p=0,016
70—74	-0,196	0,222	0,079	0,015	0,099
	p=0,073	p=0,041	p=0,473	p=0,895	p=0,368
75—79	-0,164	0,255	0,015	0,074	0,138
	p=0,135	p=0,019	p=0,889	p=0,499	p=0,209
80+	-0,174	0,248	-0,025	0,160	0,105
	p=0,112	p=0,022	p=0,819	p=0,145	p=0,340

Выделенные корреляции значимы при $p < 0,05$

на думских выборах 2016 г. во всех регионах (85 наблюдений)

<i>Яблоко</i>	<i>Партия пенсионеров</i>	<i>Родина</i>	<i>Партия Роста</i>	<i>Зеленые</i>	<i>ПАРНАС</i>
-0,329	-0,470	-0,202	-0,108	-0,241	-0,404
p=0,002	p=0,000	p=0,064	p=0,327	p=0,026	p=0,000
-0,003	-0,344	-0,172	0,181	0,034	-0,040
p=0,978	p=0,001	p=0,116	p=0,097	p=0,759	p=0,714
0,179	0,161	0,023	0,282	0,346	0,285
p=0,101	p=0,142	p=0,832	p=0,009	p=0,001	p=0,008
0,248	0,446	0,113	0,221	0,438	0,392
p=0,022	p=0,000	p=0,302	p=0,042	p=0,000	p=0,000
0,245	0,486	0,140	0,130	0,348	0,361
p=0,024	p=0,000	p=0,203	p=0,234	p=0,001	p=0,001
0,089	0,120	0,037	-0,032	0,032	0,075
p=0,419	p=0,276	p=0,739	p=0,775	p=0,769	p=0,494
0,056	0,171	-0,026	-0,068	-0,054	0,033
p=0,611	p=0,118	p=0,816	p=0,534	p=0,623	p=0,768
0,151	0,312	0,091	0,004	0,052	0,163
p=0,167	p=0,004	p=0,410	p=0,973	p=0,637	p=0,136
0,243	0,441	0,120	0,102	0,203	0,295
p=0,025	p=0,000	p=0,275	p=0,354	p=0,063	p=0,006
0,329	0,378	0,166	0,196	0,246	0,384
p=0,002	p=0,000	p=0,129	p=0,072	p=0,023	p=0,000
0,263	0,196	0,145	0,153	0,163	0,291
p=0,015	p=0,072	p=0,186	p=0,163	p=0,137	p=0,007
0,212	0,089	0,106	0,105	0,059	0,216
p=0,051	p=0,420	p=0,332	p=0,338	p=0,590	p=0,047
0,287	0,087	0,160	0,143	0,054	0,257
p=0,008	p=0,429	p=0,143	p=0,192	p=0,624	p=0,018

Таблица 5 Корреляции между голосованием за партии и долями возрастных когорт

	<i>Единая Россия</i>	<i>КПРФ</i>	<i>ЛДПР</i>	<i>Спра- ведливая Россия</i>	<i>Комму- нисты России</i>
18—24	0,032	0,120	0,046	-0,191	0,253
	p=0,797	p=0,331	p=0,710	p=0,118	p=0,038
25—29	-0,055	-0,034	-0,066	-0,081	-0,006
	p=0,655	p=0,781	p=0,592	p=0,513	p=0,962
30—34	-0,284	-0,069	0,263	-0,093	-0,002
	p=0,019	p=0,575	p=0,030	p=0,453	p=0,986
35—39	-0,369	-0,133	0,475	-0,093	0,006
	p=0,002	p=0,280	p=0,000	p=0,451	p=0,962
40—44	-0,276	-0,223	0,417	-0,082	-0,030
	p=0,023	p=0,068	p=0,000	p=0,508	p=0,809
45—49	0,230	-0,340	-0,127	-0,159	-0,316
	p=0,059	p=0,005	p=0,303	p=0,197	p=0,009
50—54	0,277	-0,157	-0,258	-0,006	-0,197
	p=0,022	p=0,201	p=0,033	p=0,962	p=0,108
55—59	0,158	0,001	-0,175	0,104	-0,028
	p=0,198	p=0,993	p=0,154	p=0,400	p=0,823
60—64	0,040	-0,028	-0,032	0,114	-0,028
	p=0,743	p=0,819	p=0,799	p=0,354	p=0,823
65—69	0,085	-0,098	-0,131	0,009	-0,165
	p=0,491	p=0,429	p=0,288	p=0,943	p=0,180
70—74	0,296	-0,219	-0,279	-0,124	-0,323
	p=0,014	p=0,072	p=0,021	p=0,316	p=0,007
75—79	0,308	-0,128	-0,358	-0,022	-0,275
	p=0,011	p=0,298	p=0,003	p=0,856	p=0,023
80+	0,203	-0,066	-0,386	0,103	-0,260
	p=0,097	p=0,595	p=0,001	p=0,404	p=0,032

Выделенные корреляции значимы при $p < 0,05$

на думских выборах 2016 г. в регионах с явкой менее 60% (68 наблюдений)

<i>Яблоко</i>	<i>Партия пенсионеров</i>	<i>Родина</i>	<i>Партия Роста</i>	<i>Зеленые</i>	<i>ПАРНАС</i>
-0,238	-0,172	-0,210	-0,023	-0,076	-0,188
p=0,050	p=0,161	p=0,086	p=0,854	p=0,539	p=0,125
0,196	-0,041	-0,106	0,362	0,348	0,305
p=0,110	p=0,742	p=0,388	p=0,002	p=0,004	p=0,012
0,228	0,225	0,054	0,359	0,497	0,387
p=0,061	p=0,065	p=0,660	p=0,003	p=0,000	p=0,001
0,229	0,464	0,100	0,229	0,524	0,382
p=0,060	p=0,000	p=0,419	p=0,061	p=0,000	p=0,001
0,222	0,491	0,148	0,112	0,418	0,309
p=0,069	p=0,000	p=0,228	p=0,365	p=0,000	p=0,010
0,173	0,234	0,114	-0,003	0,120	0,163
p=0,158	p=0,055	p=0,354	p=0,981	p=0,331	p=0,183
0,015	0,012	-0,014	-0,110	-0,204	-0,112
p=0,904	p=0,922	p=0,913	p=0,374	p=0,095	p=0,364
-0,025	-0,094	-0,017	-0,164	-0,291	-0,193
p=0,838	p=0,448	p=0,893	p=0,181	p=0,016	p=0,115
0,043	0,028	-0,090	-0,088	-0,131	-0,097
p=0,728	p=0,820	p=0,467	p=0,478	p=0,287	p=0,430
0,221	-0,006	0,034	0,114	0,057	0,153
p=0,071	p=0,963	p=0,782	p=0,355	p=0,644	p=0,212
0,181	-0,088	0,062	0,095	0,043	0,146
p=0,139	p=0,477	p=0,614	p=0,443	p=0,729	p=0,234
0,131	-0,232	0,033	0,046	-0,087	0,068
p=0,287	p=0,057	p=0,789	p=0,710	p=0,479	p=0,580
0,239	-0,185	0,123	0,102	-0,064	0,150
p=0,050	p=0,132	p=0,317	p=0,407	p=0,606	p=0,222

Что касается следующих когорт (от 25 до 44 лет), то они положительно коррелировали с голосованием за рыночных либералов и экологов (в первую очередь за ПАРНАС и «Зеленых»), а также за ЛДПР. Напротив, голосование за «Единую Россию» было связано с этими когортами негативно: ее главными «фанатами» были возрастные категории старше 45 лет, особенно 45—54 и 70—79 лет.

Примечательно, что коммунисты — и КПРФ, и «Коммунисты России» — не имели базы поддержки в старших когортах, а голосование за Российскую партию пенсионеров было связано преимущественно с избирателями в возрасте от 30 до 50 лет, причем доля избирателей старше 75 лет коррелировала с ним скорее отрицательно. Обнаружилось также, что голосование за «Справедливую Россию» вообще никак не связано с возрастом.

Еще более заметно все эти тенденции проявились после исключения из анализа дополнительных 11 регионов с явкой свыше 50%. В частности, увеличилась корреляция доли самых молодых (18—24 года) с голосованием за «Коммунистов России».

Посмотрим теперь, насколько влияние возраста способно конкурировать с факторами модернизации (урбанизацией, образованием, предпринимательской активностью и пр.) как предикторами партийного голосования.

Как показывает регрессионная модель связей между голосованием за партии (зависимые переменные), возрастной структурой электората (независимые переменные) и факторами модернизации (контрольные переменные) (см. *табл. 6*), возраст самых молодых избирателей вполне успешно может конкурировать с факторами модернизации в качестве детерминанты партийного выбора в случае «Коммунистов России» и ЛДПР (слабая положительная связь), а также «Единой России» (слабая отрицательная связь). Для «Зеленых» конкурентоспособным предиктором явилась доля возрастной категории 25—29 лет (слабая положительная связь).

В свою очередь голосование за рыночных либералов (Партию Роста, ПАРНАС, «Яблоко») связано не с долей молодых избирателей, а с «факторами модернизации» (предпринимательская активность, образование). Показательно, что самая молодая возрастная когорта (18—24 года), отказывая в поддержке «партии власти», более склонна при этом голосовать не за либералов, а за неосталинистов («Коммунистов России»). Существует и слабая положительная связь между долей этой когорты и голосованием за ЛДПР, но не надо забывать, что предшествующий корреляционный анализ выявил здесь очень слабую корреляцию с зашкаливающим уровнем статистической значимости. Так что будем считать появление данной предикационной связи следствием капризной природы метода множественной регрессии.

Так или иначе, налицо определенный «левопатриотический» уклон молодежи на думских выборах 2016 г., который, наверное, можно объяснить последствиями «Крымской весны» 2014 г., повысившей рей-

Таблица 6 Регрессионная модель (МНК) связей между голосованием за партии и долями возрастных категорий 18–24 и 25–29 лет в регионах с явкой менее 60% на выборах в Государственную Думу 2016 г. – с включением факторов модернизации в качестве контрольных переменных (68 наблюдений)

	R^2	18–24	25–29	Городское население (%)	Малые предприятия на 10 тыс. чел.	Убыточные предприятия (%)	Рабочая сила с высшим образованием (%)	Врачи на 10 тыс. чел.	Доходная ставка с горячим водоснабжением (%)
Beta-коэффициент (стандартная ошибка)									
Единая Россия	0,452*	-0,188 (0,098)***		-0,344 (0,113)**		-0,497 (0,124)**			0,548 (0,109)**
КПРФ	0,061**								-0,247 (0,119)**
ЛДПР	0,298*	0,213 (0,11)***		0,406 (0,115)**	0,182 (0,109)***				-0,460 (0,113)**
Коммунисты России	0,262*	0,35 (0,11)**			0,186 (0,109)***				-0,428 (0,109)**
Яблоко	0,626*					0,767 (0,076)**		-0,139 (0,076)***	
РПЗС	0,381*			0,386 (0,12)**	0,215 (0,107)**	0,232 (0,136)***			-0,347 (0,113)**
Родина	0,074**					0,272 (0,118)**			
Партия Роста	0,509*						0,59 (0,091)**	-0,163 (0,089)***	0,217 (0,092)**
Зеленые	0,532*		0,156 (0,089)***	0,341 (0,104)**		0,415 (0,105)**			
ПАРНАС	0,808*				-0,127 (0,064)***	0,902 (0,06)**		-0,148 (0,06)**	

* p-level < 0,01; ** p-level < 0,05; *** p-level < 0,1

тинги «империалистических» партий и понизившей рейтинги их противников.

Выборы в региональные собрания 2016—2020 гг. В выборах в региональные собрания в 2016—2020 гг. принимало участие не менее 20 политических партий, но на регулярной основе это делали только «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Участие других было спорадическим. Поэтому в нашем анализе мы будем учитывать только эти четыре партии, объединяя все прочие в остаточную категорию.

В *табл. 7* представлены корреляции между голосованием за партии и долями возрастных когорт в 84 регионах России. В анализ в очередной раз не вошла Москва, поскольку ее региональные депутаты избирались только по одномандатным округам; более того, «Единая Россия» формально в выборах не участвовала. Согласно таблице, самые молодые избиратели (18—24 года) предпочитали голосовать за «Единую Россию», к «Справедливой России» они относились равнодушно и не отдавали предпочтения другим партиям. Но, как упоминалось выше, регионы с самым молодым населением — это в основном национальные республики с максимальной «мобилизационной» явкой (до 95%, как в случае Чечни) и наибольшим уровнем голосования за «партию власти».

В 2016—2020 гг. средняя явка на выборы в региональные собрания составляла 44,24%, а без Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Татарстана, Тувы, Ингушетии, Мордовии, Дагестана и Чечни — и вовсе 40,68%. Поэтому было решено исключить из анализа регионы с явкой более 50%. Среди них оказались не только национальные республики (Чечня, Дагестан, Мордовия, Ингушетия, Тува, Татарстан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Чувашия, Северная Осетия, Калмыкия, Адыгея, Якутия), но и некоторые регионы Центральной России, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока — Чукотский АО, Белгородская, Брянская, Кемеровская, Липецкая, Орловская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Тюменская области.

Из *табл. 8* видно, что в оставшихся регионах молодые избиратели (18—29 лет) отдавали предпочтение ЛДПР, индифферентно относились к «Единой России», КПРФ и «Справедливой России» и не жаловали другие партии.

Множественная регрессия (см. *табл. 9*) подтвердила, что в конкуренции с контрольными переменными поддержка самых молодых избирателей (18—24 года) являлась предиктором голосования только для ЛДПР, причем предиктором единственным. Для внепарламентских партий предиктором оказалась негативная связь с долей возрастной категории 25—29 лет — результат интересный, но плохо поддающийся интерпретации.

Таблица 7 Корреляции между голосованием за партии и долями возрастных когорт на выборах в региональные собрания в 2016–2020 гг. (84 наблюдения)

	<i>Единая Россия</i>	<i>КПРФ</i>	<i>ЛДПР</i>	<i>Спра- ведливая Россия</i>	<i>Все осталь- ные</i>
18–24	0,333	-0,221	-0,133	0,000	-0,309
	p=0,002	p=0,043	p=0,229	p=1,00	p=0,004
25–29	0,213	-0,175	0,032	0,119	-0,361
	p=0,052	p=0,112	p=0,773	p=0,280	p=0,001
30–34	-0,098	-0,020	0,227	-0,139	0,021
	p=0,376	p=0,858	p=0,038	p=0,206	p=0,853
35–39	-0,268	-0,023	0,321	-0,143	0,248
	p=0,014	p=0,836	p=0,003	p=0,195	p=0,023
40–44	-0,306	0,010	0,373	-0,126	0,212
	p=0,005	p=0,928	p=0,000	p=0,253	p=0,053
45–49	0,047	-0,241	0,042	-0,227	0,181
	p=0,673	p=0,027	p=0,706	p=0,038	p=0,099
50–54	0,065	-0,110	0,104	0,101	-0,229
	p=0,554	p=0,321	p=0,346	p=0,359	p=0,036
55–59	-0,215	0,248	0,125	0,134	-0,016
	p=0,050	p=0,023	p=0,257	p=0,224	p=0,888
60–64	-0,419	0,354	0,161	0,081	0,309
	p=0,000	p=0,001	p=0,143	p=0,467	p=0,004
65–69	-0,390	0,320	0,136	0,016	0,355
	p=0,000	p=0,003	p=0,219	p=0,886	p=0,001
70–74	-0,235	0,088	-0,002	-0,085	0,477
	p=0,031	p=0,425	p=0,989	p=0,442	p=0,000
75–79	-0,119	0,168	0,057	0,130	-0,019
	p=0,281	p=0,127	p=0,608	p=0,238	p=0,868
80+	-0,158	0,147	-0,128	0,091	0,337
	p=0,151	p=0,181	p=0,245	p=0,411	p=0,002

Выделенные корреляции значимы при $p < 0,05$

Таблица 8 Корреляции между голосованием за партии и долями возрастных когорт на выборах в региональные собрания в 2016–2020 гг. в регионах с явкой менее 50% (61 наблюдение)

	<i>Единая Россия</i>	<i>КПРФ</i>	<i>ЛДПР</i>	<i>Спра- ведливая Россия</i>	<i>Все осталь- ные</i>
18–24	-0,043	0,081	0,345	-0,097	-0,326
	p=0,745	p=0,537	p=0,006	p=0,459	p=0,010
25–29	0,020	-0,049	0,287	0,092	-0,337
	p=0,879	p=0,707	p=0,025	p=0,482	p=0,008
30–34	-0,063	-0,066	0,230	-0,211	0,019
	p=0,628	p=0,612	p=0,075	p=0,103	p=0,887
35–39	0,004	-0,277	0,125	-0,210	0,203
	p=0,977	p=0,030	p=0,338	p=0,105	p=0,117
40–44	0,060	-0,329	0,116	-0,184	0,148
	p=0,646	p=0,010	p=0,374	p=0,155	p=0,254
45–49	0,283	-0,426	-0,114	-0,266	0,220
	p=0,027	p=0,001	p=0,381	p=0,038	p=0,089
50–54	0,285	-0,277	-0,004	0,188	-0,280
	p=0,026	p=0,031	p=0,973	p=0,148	p=0,029
55–59	0,183	-0,016	-0,212	0,265	-0,171
	p=0,157	p=0,900	p=0,102	p=0,039	p=0,188
60–64	-0,052	0,038	-0,293	0,183	0,282
	p=0,691	p=0,769	p=0,022	p=0,157	p=0,028
65–69	-0,070	0,027	-0,224	0,059	0,315
	p=0,590	p=0,839	p=0,083	p=0,651	p=0,014
70–74	0,018	-0,162	-0,239	-0,077	0,443
	p=0,889	p=0,214	p=0,064	p=0,557	p=0,000
75–79	0,112	0,012	-0,078	0,212	-0,186
	p=0,389	p=0,925	p=0,550	p=0,102	p=0,150
80+	0,055	-0,025	-0,345	0,163	0,267
	p=0,672	p=0,846	p=0,006	p=0,211	p=0,037

Выделенные корреляции значимы при $p < 0,05$

Таблица 9 Регрессионная модель (МНК) связей между голосованием за партии и долями возрастных категорий 18–24 и 25–29 лет на выборах в региональные собрания в 2016–2020 гг. в регионах с явкой менее 50% – с включением факторов модернизации в качестве контрольных переменных (61 наблюдение)

	R^2	18–24	25–29	Городское население (%)	Малые предприятия на 10 тыс. чел.	Убыточные предприятия (%)	Рабочая сила с высшим образованием (%)	Домохозяйства с горячим водоснабжением (%)
Beta-коэффициент (стандартная ошибка)								
Единая Россия	0,288*			-0,304 (0,152)**	-0,242 (0,132)	-0,249 (0,118)**		0,465 (0,139)**
КПРФ	0,172*							-0,415 (0,118)**
ЛДПР	0,119*	0,345 (0,122)**						
Справедливая Россия	0,094**			0,225 (0,133)***			-0,302 (0,133)**	
Все остальные партии	0,342*		-0,439 (0,109)**		0,489 (0,109)**			

* p-level < 0,01; ** p-level < 0,05; *** p-level < 0,1

Выборы в Думу 2021 г. На думских выборах 2021 г. более 1% голосов получили восемь партий (из 14 зарегистрированных), пять из них преодолели 5-процентный барьер. Результаты этих восьми партий, а также двух экологических организаций — «Зеленых» и «Зеленой альтернативы» (как по отдельности, так и в агрегированном виде) — были включены в анализ. Последние две партии получили менее 1% голосов каждая, но их совокупный результат составил 1,5%. Лидеры «экологов» были неизвестны электорату, их кампания и повестка — скудны и почти незаметны, так что, по сути, избиратели знали только названия партий. Но, во-первых, можно было ожидать, что молодежь проявит повышенный по сравнению с другими возрастными категориями интерес к экологическим проблемам, во-вторых, для «Зеленой альтернативы» мог сработать «эффект новичка».

Шесть партий — «Единая Россия» (49,8% голосов по пропорциональной системе), КПРФ (18,9%), ЛДПР (7,5%), «Яблоко» (1,3%), «Коммунисты России» (1,2%), Партия пенсионеров (2,45%) — участвовали и в кампании 2016 г. Что касается «Справедливой России», то ее политическое лицо несколько изменилось после объединения с партиями «Патриоты России» и «За правду» в начале 2021 г.

Партия «Патриоты России» была создана в свое время как спойлер КПРФ. В 2004 г. ее будущий лидер Геннадий Семигин безуспешно пытался сместить с поста председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, после неудачи создал Всероссийскую коммунистическую партию будущего, а после бесславной кончины этого проекта возглавил Российскую партию труда, в 2005 г. переименованную в «Патриотов России». На думских выборах партия особого успеха не имела, но регулярно получала места в региональных собраниях.

Партия «За правду» была учреждена в 2020 г. небызывестным писателем Захаром Прилепиным, который в 2000-х годах был близок к лидеру Национал-большевистской партии (НБП) Эдуарду Лимонову, а в 2010-х перешел в пропутинский Общероссийский народный фронт (ОНФ). От НБП Прилепин унаследовал идеологию радикального империализма, от ОНФ — лояльность Путину. Таким образом, объединенная партия, получившая название «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (сокращенно «Справедливая Россия — За правду», или СРЗП), заметно сдвинулась в сторону империализма и воинствующего лоялизма. В своей новой конфигурации она завоевала поддержку 7,4% избирателей.

Удачливым дебютантом избирательной кампании стала партия «Новые люди» (5,3% голосов), сочетавшая рыночный либерализм с лояльностью Путину и почти полностью игнорировавшая внешнеполитическую повестку (прежде всего по вопросам Украины и Крыма — в этом ее принципиальное отличие от «Яблока», с 2014 г. выступавшего против присоединения Крыма и поддержки ЛНР и ДНР).

Как и в случае выборов 2016 г., корреляционная матрица связей между голосованием за партии и долями различных возрастных когорт

по всей совокупности российских регионов создавала впечатление, что поддержкой молодых (18—29 лет) пользовалась только «Единая Россия» (см. *табл. 10*). Но исключение из анализа регионов с явкой выше 60% (в основном это те же регионы, что и в 2016 г., с добавлением Адыгеи, Еврейской АО, Краснодарского края, Брянской и Волгоградской областей) изменило картину в ту же сторону, что и ранее (см. *табл. 11*). Выяснилось, что в регионах с более шепетильным подсчетом голосов голосование за «партию власти» имело с долей самых молодых избирателей (18—24 года) устойчивую отрицательную корреляцию, а голосование за оппозиционные партии — КПРФ, ЛДПР и особенно «Новых людей», — наоборот, положительную. Причем для категории 25—29 лет ситуация менялась: более или менее заметные корреляции здесь сохранялись лишь для СРЗП и «Яблока», да и то со знаком минус.

Множественная регрессия подтвердила значимость корреляций для КПРФ, ЛДПР, «Новых людей» (позитивные) и «Единой России» (негативная) (см. *табл. 12*). Любопытно, что положительные бета-коэффициенты появились у категории 18—24 года и для экологистов — они были обеспечены главным образом «Зеленой альтернативой», поскольку голосование за «Зеленых» в принципе давало здесь нулевые результаты. Однако на самом деле эти бета-коэффициенты были «вытянуты» категорией 25—29 лет, без которой 18—24-летние «не соглашались» становиться предиктором. Причем интересно, что категория 25—29 лет положительно коррелировала только с голосованием за «Единую Россию» — всем остальным она в поддержке «отказывала». Причины неожиданного лоялизма данной категории молодежи объяснить трудно, но расхождения между двумя близкими возрастными когортами очевидны.

В любом случае думские выборы 2021 г. в регионах с менее жестким электоральным администрированием продемонстрировали определенную предрасположенность самой молодой категории избирателей голосовать за оппозиционные партии, одну из которых — «Новые люди» — можно даже считать условно либеральной. О поддержке экологистов со стороны молодых говорить, наверное, все-таки не приходится — за отсутствием прямой и значимой корреляции.

Заключение

Гипотеза о том, что молодые избиратели более склонны поддерживать либеральные и демократические партии, не получила однозначного подтверждения. Исследование показало, что в регионах, где электоральные данные можно оценить как относительно надежные, избиратели в возрасте от 18 до 24 лет действительно демонстрируют повышенную предрасположенность к голосованию за оппозиционные партии, но не обязательно либеральные и демократические. Так, на думских выборах 2016 г. они больше поддерживали «Коммунистов России» (нео сталинистов и при этом спойлеров КПРФ).

На выборах в региональные собрания 2016—2020 гг. самые молодые избиратели были склонны отдавать предпочтение праворадикаль-

Таблица 10 Корреляции между голосованием за партии и долями возрастных когорт

	<i>КПРФ</i>	<i>ЛДПР</i>	<i>Новые люди</i>	<i>Единая Россия</i>
18–24	-0,324	-0,314	-0,280	0,442
	p=0,003	p=0,003	p=0,010	p=0,000
25–29	-0,434	-0,510	-0,452	0,615
	p=0,000	p=0,000	p=0,000	p=0,000
30–34	-0,220	-0,237	-0,107	0,241
	p=0,043	p=0,029	p=0,328	p=0,026
35–39	0,069	0,418	0,255	-0,231
	p=0,533	p=0,000	p=0,019	p=0,033
40–44	0,167	0,603	0,292	-0,387
	p=0,127	p=0,000	p=0,007	p=0,000
45–49	0,180	0,597	0,217	-0,392
	p=0,100	p=0,000	p=0,046	p=0,000
50–54	-0,026	0,185	-0,160	-0,034
	p=0,811	p=0,090	p=0,143	p=0,760
55–59	0,245	0,221	0,084	-0,260
	p=0,024	p=0,042	p=0,444	p=0,016
60–64	0,389	0,268	0,255	-0,425
	p=0,000	p=0,013	p=0,018	p=0,000
65–69	0,431	0,310	0,357	-0,514
	p=0,000	p=0,004	p=0,001	p=0,000
70–74	0,323	0,207	0,245	-0,412
	p=0,003	p=0,057	p=0,024	p=0,000
75–79	0,139	-0,013	0,024	-0,175
	p=0,205	p=0,905	p=0,825	p=0,110
80+	0,113	-0,087	0,011	-0,145
	p=0,303	p=0,427	p=0,923	p=0,185

Выделенные корреляции значимы при $p < 0,05$

на думских выборах 2021 г. во всех регионах (85 наблюдений)

<i>СРЗП</i>	<i>Яблоко</i>	<i>Коммунисты России</i>	<i>Партия пенсионеров</i>	<i>Зеленые + Зеленая альтернатива</i>
-0,344	-0,255	-0,361	-0,386	-0,309
p=0,001	p=0,018	p=0,001	p=0,000	p=0,004
-0,422	-0,344	-0,445	-0,551	-0,480
p=0,000	p=0,001	p=0,000	p=0,000	p=0,000
-0,223	0,037	-0,157	-0,225	-0,024
p=0,040	p=0,737	p=0,151	p=0,038	p=0,824
-0,044	0,141	0,170	0,173	0,530
p=0,686	p=0,197	p=0,119	p=0,113	p=0,000
0,078	0,192	0,285	0,363	0,592
p=0,478	p=0,079	p=0,008	p=0,001	p=0,000
0,140	0,193	0,306	0,396	0,449
p=0,202	p=0,076	p=0,004	p=0,000	p=0,000
-0,016	0,085	-0,017	0,117	0,074
p=0,885	p=0,440	p=0,876	p=0,286	p=0,501
0,153	0,082	0,197	0,269	0,070
p=0,161	p=0,454	p=0,071	p=0,013	p=0,525
0,330	0,155	0,348	0,380	0,088
p=0,002	p=0,157	p=0,001	p=0,000	p=0,422
0,407	0,241	0,417	0,463	0,168
p=0,000	p=0,026	p=0,000	p=0,000	p=0,124
0,371	0,293	0,323	0,378	0,154
p=0,000	p=0,007	p=0,003	p=0,000	p=0,160
0,240	0,252	0,105	0,187	0,048
p=0,027	p=0,020	p=0,337	p=0,087	p=0,662
0,311	0,257	0,070	0,123	-0,033
p=0,004	p=0,018	p=0,526	p=0,262	p=0,764

Таблица 11 Корреляции между голосованием за партии и долями возрастных когорт

	<i>КПРФ</i>	<i>ЛДПР</i>	<i>Новые люди</i>	<i>Единая Россия</i>
18–24	0,393	0,249	0,436	-0,323
	p=0,001	p=0,048	p=0,000	p=0,009
25–29	0,097	-0,147	0,122	0,157
	p=0,448	p=0,246	p=0,339	p=0,216
30–34	-0,133	-0,135	0,119	0,111
	p=0,294	p=0,289	p=0,350	p=0,385
35–39	-0,126	0,135	0,162	-0,009
	p=0,323	p=0,287	p=0,202	p=0,947
40–44	-0,181	0,337	0,028	-0,059
	p=0,152	p=0,006	p=0,829	p=0,642
45–49	-0,246	0,299	-0,204	0,026
	p=0,050	p=0,016	p=0,106	p=0,836
50–54	-0,236	-0,090	-0,449	0,260
	p=0,060	p=0,479	p=0,000	p=0,038
55–59	-0,075	-0,197	-0,295	0,169
	p=0,554	p=0,119	p=0,018	p=0,182
60–64	-0,113	-0,103	-0,288	0,133
	p=0,375	p=0,419	p=0,021	p=0,296
65–69	-0,240	-0,013	-0,292	0,135
	p=0,056	p=0,919	p=0,019	p=0,287
70–74	-0,356	-0,081	-0,434	0,253
	p=0,004	p=0,525	p=0,000	p=0,044
75–79	-0,429	-0,180	-0,508	0,400
	p=0,000	p=0,155	p=0,000	p=0,001
80+	-0,358	-0,260	-0,396	0,293
	p=0,004	p=0,038	p=0,001	p=0,019

Выделенные корреляции значимы при $p < 0,05$

на думских выборах 2021 г. в регионах с явкой менее 60% (64 наблюдения)

<i>СРЗП</i>	<i>Яблоко</i>	<i>Коммунисты России</i>	<i>Партия пенсионеров</i>	<i>Зеленые + Зеленая альтернатива</i>
-0,185	-0,203	0,156	0,053	-0,013
p=0,143	p=0,107	p=0,218	p=0,675	p=0,919
-0,343	-0,268	0,045	-0,166	-0,164
p=0,006	p=0,032	p=0,726	p=0,190	p=0,196
-0,218	0,117	-0,025	-0,109	0,216
p=0,084	p=0,359	p=0,847	p=0,393	p=0,087
-0,239	0,102	-0,015	-0,057	0,540
p=0,057	p=0,422	p=0,904	p=0,652	p=0,000
-0,150	0,135	0,008	0,123	0,547
p=0,236	p=0,289	p=0,952	p=0,334	p=0,000
-0,058	0,151	0,014	0,197	0,305
p=0,648	p=0,233	p=0,914	p=0,119	p=0,014
-0,046	0,115	-0,133	0,130	-0,005
p=0,717	p=0,365	p=0,294	p=0,307	p=0,968
0,074	0,021	-0,046	0,123	-0,224
p=0,564	p=0,869	p=0,718	p=0,334	p=0,076
0,225	0,032	-0,018	0,068	-0,352
p=0,074	p=0,804	p=0,886	p=0,593	p=0,004
0,278	0,137	-0,056	0,076	-0,329
p=0,026	p=0,279	p=0,660	p=0,549	p=0,008
0,221	0,239	-0,154	-0,015	-0,212
p=0,079	p=0,057	p=0,223	p=0,905	p=0,093
0,095	0,229	-0,258	-0,080	-0,132
p=0,453	p=0,068	p=0,040	p=0,531	p=0,299
0,260	0,263	-0,222	-0,084	-0,187
p=0,038	p=0,036	p=0,079	p=0,508	p=0,140

Таблица 12 Регрессионная модель (МНК) связей между голосованием за партии и долями возрастных категорий 18–24 и 25–29 лет на думских выборах 2021 г. в регионах с явкой менее 60% — с включением факторов модернизации в качестве контрольных переменных (64 наблюдения)

	R^2	18–24	25–29	Городское население (%)	Малые предприятия на 10 тыс. чел.	Авто-мобили на 1000 чел.	Работники с высшим образованием (%)	Врачи на 10 тыс. чел.
Beta-коэффициент (стандартная ошибка)								
КПРФ	0,154*	0,392 (0,117)**						
ЛДПР	0,346*	0,415 (0,13)**	-0,230 (0,133)***	0,417 (0,115)**			-0,360 (0,122)**	
Новые люди	0,19*	0,436 (0,114)**						
Единая Россия	0,349*	-0,531 (0,13)**	0,331 (0,132)**	-0,323 (0,115)**			0,264 (0,122)**	
СРЗП	0,118*		-0,343 (0,119)**					
Яблоко	0,308*		-0,319 (0,111)**		0,359 (0,115)**			0,227 (0,119)***
Партия пенсионеров	0,057***					0,238 (0,123)		
Зеленые + Зеленая альтернатива	0,372*	0,347 (0,128)**	-0,423 (0,13)**	0,333 (0,113)**			0,431 (0,12)**	
Зеленая альтернатива	0,563*	0,361 (0,109)**	-0,555 (0,104)**	0,374 (0,104)**	0,274 (0,115)**		0,238 (0,109)**	
Зеленые	0,124*						0,352 (0,119)**	

* p-level < 0,01; ** p-level < 0,05; *** p-level < 0,1

ным империалистам из ЛДПР. Лишь на думских выборах 2021 г. новосозданная либерально-рыночная партия «Новые люди» нашла поддержку у категории 18–24 года, хотя близкие результаты дали также КПРФ и ЛДПР.

Эту неопределенность политических предпочтений молодежи можно объяснить несколькими причинами.

Во-первых, думские выборы 2016 г. несли на себя отпечаток «Крымской весны». Популярность «голубей»-либералов, выступавших против присоединения Крыма, значительно снизилась, а популярность разнообразных «ястребов», наоборот, резко возросла.

Во-вторых, умерший 6 апреля 2022 г. глава ЛДПР Жириновский был едва ли не единственным из лидеров так называемой «системной оппозиции», умевшим разговаривать с молодежью на понятном ей языке. Возможно, именно благодаря этому он в течение многих лет обеспечивал своей партии достаточно высокий уровень популярности у молодых избирателей. Во время выборов 2021 г. его участие в избирательной кампании было незначительным в силу пошатнувшегося здоровья, что, судя по всему, отразилось и на привлекательности партии: доля полученных ЛДПР голосов упала с 13,1% в 2016 г. до 7,5% в 2021-м.

В-третьих, необходимо учитывать ограниченность выбора в либеральной части политического спектра. Многие представители младшей возрастной когорты были, возможно, готовы проголосовать за Навального, но его партия так и не была зарегистрирована. Поэтому значительное число молодых избирателей либеральных взглядов, которых не устраивали скомпрометировавшие себя в их глазах «Яблоко» и ПАРНАС, просто проигнорировало выборы. Те же, кто пришел на избирательные участки, имели другие политические предпочтения. Когда же на выборах появилось относительно «свежее» предложение — «Новые люди», какая-то доля либерально настроенной молодежи отдала им свой голоса.

Наконец, нельзя скидывать со счетов и возможный эффект тактики «умного голосования» сторонников Навального, продвигавших идею поддержки партий с наибольшими шансами на победу над «Единой Россией». Вполне вероятно, что этим была не в последнюю очередь обусловлена поддержка самыми молодыми избирателями «системных оппозиционеров» из ЛДПР и КПРФ.

Как бы то ни было, при оценке ситуации следует избегать чрезмерных экстраполяций. Из того факта, что российская молодежь либеральнее и демократичнее своих более старших соотечественников, вовсе не следует, что она либеральна и демократична в основной массе. Молодежь просто менее консервативна, но в преобладающей своей части она, скорее всего, разделяет те же ценности, что и большинство россиян.

Библиография

- «Более 80% российской молодежи равнодушны к политике». (2020) // *Левада-Центр**, 30.04. URL: <https://www.levada.ru/2020/04/30/boleee-80-rossijskoj-molodezhi-ravnodushny-k-politike/> (проверено 12.02.2023).
- «Молодежь ломает стереотипы». (2018) // ВЦИОМ, 22.03. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/molodezh-lomaet-stererotipy-> (проверено 12.02.2023).
- «О демократии: Подходит ли России такая форма государственного правления, как демократия?» (2020) // *ФОМ*, 17.12. URL: <https://fom.ru/TSennosti/14519> (проверено 12.02.2023).
- «Attitude to the New Term of Vladimir Putin». (2021) // *Levada-Center**, 1.03. URL: <https://www.levada.ru/en/2021/03/01/attitude-to-the-new-term-of-vladimir-putin/> (accessed on 12.02.2023).
- Foa R.S. and Y.Mounk. (2016) «The Democratic Disconnect» // *Journal of Democracy*, vol. 27, no. 3: 5–17.
- Foa R.S., A.Klassen, D.Wenger, A.Rand, and M.Slade. (2020) *Youth and Satisfaction with Democracy: Reversing the Democratic Disconnect?* Cambridge: Centre for the Future of Democracy.
- Golosov G. (2010) «The Effective Number of Parties: A New Approach» // *Party Politics*, vol. 16, no. 2: 171–192.
- Gudkov L., N.Zorkaya, E.Kochergina, K.Pipiya, and A.Ryseva. (2020) *Russia's «Generation Z»: Attitudes and Values 2019/2020*. Friedrich Ebert Stiftung. URL: <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/moskau/16134.pdf> (accessed on 18.02.2023).
- Inglehart R. (1971) «The Silent Revolution in Post-Industrial Societies» // *American Political Science Review*, vol. 65, no. 4: 991–1017.
- Kynev A. (2017) «How the Electoral Policy of the Russian State Predetermined the Results of the 2016 State Duma Elections» // *Russian Politics*, vol. 2, no. 2: 206–226.
- Laakso M. and R.Taagepera. (1979) «Effective Number of Parties: A Measure with Application to West Europe» // *Comparative Political Studies*, vol. 12, no. 1: 3–27.
- Laruelle M. (2019) «Beyond Putin: Russia's Generations Y and Z» // *Ponors Eurasia*, 7.03. URL: <https://www.ponarseurasia.org/beyond-putin-russia-s-generations-y-and-z/> (accessed on 18.02.2023).
- Lipset S.M. (1959) «Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy» // *American Political Science Review*, vol. 53, no. 1: 69–105.
- March L. (2012) «The Russian Duma „Opposition“: No Drama out of Crisis?» // *East European Politics*, vol. 28, no. 3: 241–255.
- Meyer-Olimpieva I. (2020) *Russian Youth and Corruption. New Empirical Evidence on Attitudes towards Corruption among Russian Students*. ERES Occasional Papers, no. 6. URL: <https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/blogs.gwu.edu/dist/8/1076/files/2020/04/IERES-papers-6-Meyer-Olimpieva.pdf> (accessed on 18.02.2023).

Panov P. and C.Ross. (2021) «Mobilised Voting versus Performance Voting in Electoral Autocracies: Territorial Variations in the Levels of Support for the Systemic Opposition Parties in Russian Municipalities» // *Regional and Federal Studies*, 8.08.

Repucci S. and A.Slipowitz. (2022) *Freedom in the World 2022: The Global Expansion of Authoritarian Rule*. URL: <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2022/global-expansion-authoritarian-rule> (accessed on 18.02.2023).

Reuter O.J. (2019) «Political Parties» // Sakwa R., H.E.Hale, and S.White, eds. *Developments in Russian Politics 9*. London: Red Globe Press: 38—53.

Ross C. and Yu.Korgunyuk. (2020) «The Impact of Modernization on the Levels of Electoral and Party Contestation in Russian Regions» // *Regional and Federal Studies*, vol. 30, no. 5: 601—624.

«The Return of Alexey Navalny». (2021) // *Levada-Center**, 8.02. URL: <https://www.levada.ru/en/2021/02/08/the-return-of-alexey-navalny/> (accessed on 12.02.2023).

Turovsky R. (2015) «The Systemic Opposition in Authoritarian Regimes: A Case Study of Russian Regions» // Ross C., ed. *Systemic and Non-Systemic Opposition in the Russian Federation: Civil Society Awakens?* Farnham: Ashgate: 121—138.

Volkov D., S.Goncharov, and M.Snegovaya. (2020) *Russian Youth and Civic Engagement*. URL: <https://cepa.org/comprehensive-reports/russian-youth-and-civic-engagement/> (accessed on 18.02.2023).

Wucherpfennig J. and F.Deutsch. (2009) «Modernization and Democracy: Theories and Evidence Revisited» // *Living Reviews in Democracy*: 1—9. URL: https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/cis-dam/CIS_DAM_2015/WorkingPapers/Living_Reviews_Democracy/Wucherpfennig%20Deutsch.pdf (accessed on 18.02.2023).

* Включен министерством юстиции РФ в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.



Yu.G.Korgunyk, C.Ross
POLITICAL PREFERENCES
OF YOUNG VOTERS
IN CONTEMPORARY RUSSIA

Yury G. Korgunyk — Doctor of Political Science; Leading Researcher at the Political Science Department at the Institute of Scientific Information on Social Science of the Russian Academy of Sciences (INION RAS). Email: partinform@mail.ru.

Cameron Ross — Professor of Politics and International Relations, School of Social Sciences, University of Dundee (Scotland, UK); Host of the European Institute for Security and Justice (Jean Monnet Centre for Excellence); Chief Editor of the Journals “European Politics and Society” and “Russian Politics”. Email: c.z.ross@dundee.ac.uk.

Abstract. The article is devoted to the political preferences of young voters in contemporary Russia’s elections. Building on the conclusions of their previous research on the relationship between modernisation and political pluralism in Russian regions, the authors attempt to evaluate the role of the age factor in voting behaviour by means of correlation and regression analysis, using as control variables the factors of modernization tested by them earlier.

Their research showed that the perception that young voters are more likely to support liberal and democratic parties than older generations is not entirely true. Voters aged 18 to 24 were indeed more prone to vote for opposition parties, but not necessarily liberal and democratic ones. In the 2016 Duma elections, the caricature neo-Stalinists from Communists of Russia benefited the most from the support of the youngest category of voters; in the elections to regional assemblies in 2016—2021 the radical imperialists from the Liberal Democratic Party did it. In the Duma elections of 2021 the greatest support from the youngest age cohort received, on the one hand, the “systemic opposition” in the face of the Communist Party and the Liberal Democratic Party, and on the other hand, the debutant of the election campaign, the New People Party, that adheres to liberal positions in the economic sphere, but is quite loyal to the existing regime.

Keywords: Youth, political preferences, post-Soviet Russia, State Duma elections, regional elections

References

- “Attitude to the New Term of Vladimir Putin”. (2021) // *Levada-Center*, 1.03. URL: <https://www.levada.ru/en/2021/03/01/attitude-to-the-new-term-of-vladimir-putin/> (accessed on 12.02.2023).
- “Bolee 80% rossijskoj molodezhi ravnodushny k politike” [More Than 80% of Russian Youth Are Indifferent to Politics]. (2020) // *Levada-Tsentr* [Levada-Center], 30.04. URL: <https://www.levada.ru/2020/04/30/bolee-80-rossijskoj-molodezhi-ravnodushny-k-politike/> (accessed on 12.02.2023). (In Russ.)
- Foa R.S. and Y.Mounk. (2016) “The Democratic Disconnect” // *Journal of Democracy*, vol. 27, no. 3: 5–17.
- Foa R.S., A.Klassen, D.Wenger, A.Rand, and M.Slade. (2020) *Youth and Satisfaction with Democracy: Reversing the Democratic Disconnect?* Cambridge: Centre for the Future of Democracy.
- Golosov G. (2010) “The Effective Number of Parties: A New Approach” // *Party Politics*, vol. 16, no. 2: 171–192.
- Gudkov L., N.Zorkaya, E.Kochergina, K.Pipiya, and A.Ryseva. (2020) *Russia’s “Generation Z”: Attitudes and Values 2019/2020*. Friedrich Ebert Stiftung. URL: <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/moskau/16134.pdf> (accessed on 18.02.2023).
- Inglehart R. (1971) “The Silent Revolution in Post-Industrial Societies” // *American Political Science Review*, vol. 65, no. 4: 991–1017.
- Kynev A. (2017) “How the Electoral Policy of the Russian State Predetermined the Results of the 2016 State Duma Elections” // *Russian Politics*, vol. 2, no. 2: 206–226.
- Laakso M. and R.Taagepera. (1979) “Effective Number of Parties: A Measure with Application to West Europe” // *Comparative Political Studies*, vol. 12, no. 1: 3–27.
- Laruelle M. (2019) “Beyond Putin: Russia’s Generations Y and Z” // *Ponors Eurasia*, 7.03. URL: <https://www.ponarseurasia.org/beyond-putin-russia-s-generations-y-and-z/> (accessed on 18.02.2023).
- Lipset S.M. (1959) “Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy” // *American Political Science Review*, vol. 53, no. 1: 69–105.
- March L. (2012) “The Russian Duma „Opposition“: No Drama out of Crisis?” // *East European Politics*, vol. 28, no. 3: 241–255.
- Meyer-Olimpieva I. (2020) *Russian Youth and Corruption. New Empirical Evidence on Attitudes towards Corruption among Russian Students*. ERES Occasional Papers, no. 6. URL: <https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/blogs.gwu.edu/dist/8/1076/files/2020/04/IERES-papers-6-Meyer-Olimpieva.pdf> (accessed on 18.02.2023).
- “Molodezh’ lomaet stereotypy” [Young People Break Stereotypes]. (2018) // *VSTIOM*, 22.03. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/molodezh-lomaet-stereotypy-> (accessed on 12.02.2023). (In Russ.)
- “O demokratii: Podkhodit li Rossii takaja forma gosudarstvennogo pravenija, kak demokratija?” [About Democracy: Is Such a Form of Govern-

ment as Democracy Suitable for Russia?] (2020) // *FOM* [The Public Opinion Foundation], 17.12. URL: <https://fom.ru/TSennosti/14519> (проверено 12.02.2023). (In Russ.)

Panov P. and C.Ross. (2021) “Mobilised Voting versus Performance Voting in Electoral Autocracies: Territorial Variations in the Levels of Support for the Systemic Opposition Parties in Russian Municipalities” // *Regional and Federal Studies*, 8.08.

Repucci S. and A.Slipowitz. (2022) *Freedom in the World 2022: The Global Expansion of Authoritarian Rule*. URL: <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2022/global-expansion-authoritarian-rule> (accessed on 18.02.2023).

Reuter O.J. (2019) “Political Parties” // Sakwa R., H.E.Hale, and S.White, eds. *Developments in Russian Politics 9*. London: Red Globe Press: 38—53.

Ross C. and Yu.Korgunuk. (2020) “The Impact of Modernization on the Levels of Electoral and Party Contestation in Russian Regions” // *Regional and Federal Studies*, vol. 30, no. 5: 601—624.

“The Return of Alexey Navalny”. (2021) // *Levada-Center*, 8.02. URL: <https://www.levada.ru/en/2021/02/08/the-return-of-alexey-navalny/> (accessed on 12.02.2023).

Turovsky R. (2015) “The Systemic Opposition in Authoritarian Regimes: A Case Study of Russian Regions” // Ross C., ed. *Systemic and Non-Systemic Opposition in the Russian Federation: Civil Society Awakens?* Farnham: Ashgate: 121—138.

Volkov D., S.Goncharov, and M.Snegovaya. (2020) *Russian Youth and Civic Engagement*. URL: <https://cepa.org/comprehensive-reports/russian-youth-and-civic-engagement/> (accessed on 18.02.2023).

Wucherpfennig J. and F.Deutsch. (2009) “Modernization and Democracy: Theories and Evidence Revisited” // *Living Reviews in Democracy*: 1—9. URL: https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/cis-dam/CIS_DAM_2015/WorkingPapers/Living_Reviews_Democracy/Wucherpfennig%20Deutsch.pdf (accessed on 18.02.2023).



М. С. Сухова

СУБНАЦИОНАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРОВЛАСТНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ В РОССИИ¹

¹ Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2022 г.

Марина Сергеевна Сухова — старший преподаватель факультета социальных наук, аспирант Аспирантской школы по политическим наукам Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Для связи с автором: mssukhova@gmail.com.

Аннотация. В статье рассматривается, как уровень субнациональной административной государственной состоятельности, измеряемый через успешность выполнения майских указов президента РФ 2012 г. в регионах, влияет на электоральную поддержку власти. Исследование сфокусировано на показателях, отражающих динамику оплаты труда «бюджетников» (врачей, педагогов и др.), считающихся одной из опорных для власти электоральных групп.

Полученные автором результаты демонстрируют, что в регионах с более высокими зарплатами работники бюджетной сферы, как правило, активнее голосуют за власть. По заключению автора, это не только указывает на положительное влияние субнациональной административной государственной состоятельности на лояльность граждан, но и подтверждает эффективность стратегии распределения материальных благ для поддержания и укрепления стабильности авторитарных режимов. Вместе с тем исследование показывает, что манипуляции с заработной платой как инструмент повышения лояльности работают не во всех случаях, даже когда речь идет о «бюджетниках». То же самое касается и таких показателей социально-экономического развития, как уровень урбанизации и величина ВРП на душу населения, которые отрицательно коррелируют с провластным голосованием. Все это свидетельствует о том, что наряду с экономическими соображениями на электоральное поведение влияют и другие факторы, которые требуют дополнительного изучения.

Ключевые слова: государственная состоятельность, экономическое голосование, выборы, региональная политика, электоральное поведение, авторитарный режим

Введение

В последние годы исследователи все чаще задаются вопросом о том, как государственная состоятельность (state capacity) может повлиять на стабильность авторитарных режимов. На теоретическом уровне существует консенсус относительно того, что высокий уровень государственной состоятельности в принципе оказывает благоприятное влияние на поддержание стабильности режима². Среди политических институтов, позволяющих авторитарным режимам использовать данный инструмент в своих интересах, часто упоминаются выборы. Обеспечивая положительную экономическую динамику и эффективное распределение общественных благ, автократии обретают так называемую легитимность успеха (performance-based legitimacy), которая конвертируется в электоральную поддержку³.

² *Soifer and vom Hau 2008; Andersen et al. 2014.*

³ *Hanson 2018.*

⁴ *Soifer and vom Hau 2008.*

⁵ *Somuan and Nieto 2017.*

⁶ *Jaros 2016.*

Одним из важных измерений государственной состоятельности является территориальное⁴. В различных регионах страны социально-экономический курс центральной власти может реализовываться по-разному, что неминуемо сказывается на результатах выборов, особенно когда речь идет о федерациях⁵. Для обеспечения социально-экономического развития регионов центр задействует различные формы и методы региональной политики (regional policy), причем эффективность данной политики на местах зависит от уровня субнациональной государственной состоятельности в соответствующем регионе⁶.

Конечно, здесь неизбежно возникает вопрос о роли экономического фактора в формировании электоральных предпочтений. Проводившиеся в последние годы исследования не дают на него однозначного ответа, во всяком случае применительно к России. Так, некоторые авторы пишут о «ловушке бедности», попав в которую, бедные регионы поддерживают действующий режим в надежде на материальную помощь со стороны центра⁷, тогда как другие фиксируют положительное воздействие экономического благополучия на уровень провластного голосования⁸. Но, несмотря на отсутствие определенности относительно вектора экономического голосования в современной России и его значимости как таковой, проследить влияние субнациональной государственной состоятельности на электоральную лояльность граждан представляется вполне возможным. Решению этой задачи и посвящена настоящая статья.

⁷ *Щербак и др. 2017.*

⁸ *Туровский и Гайворонский 2017.*

Государственная состоятельность и стабильность авторитарного режима

В известной книге Питера Эванса, Дитриха Рюшемайера и Теды Скочпол «Возвращение государства» государственная состоятельность лаконично определяется как способность государственных институтов реализовывать официальные цели и политический курс (policy)⁹. При этом государственная состоятельность — широкое понятие, включающее в себя большое число измерений. Отталкиваясь от упомянутой книги, современные исследователи выделяют три основных измерения государственной состоятельности: принуждающее (coercive) — способность государства осуществлять монополию на легитимное насилие;

⁹ *Evans, Rueschemeyer, and Skocpol 1985: 8.*

¹⁰ Møller and Skaaning 2014; Croissant and Hellman 2018; Hanson 2018; Hanson and Sigman 2021.

¹¹ Hanson 2018.

¹² Ibidem.

¹³ Andersen et al. 2014.

¹⁴ Seeberg 2018.

¹⁵ Mietzner 2018.

экстрактивное (extractive) — способность государства собирать налоги; административное (administrative) — способность государства разрабатывать и проводить политику, в том числе социально-экономическую¹⁰. Кроме того, некоторые авторы подразделяют административную состоятельность на «веберианскую» (профессиональная бюрократия) и «невеберианскую» (включающую коррупцию, клиентелизм и патронаж)¹¹.

Есть ли связь между уровнем государственной состоятельности и стабильностью авторитарных режимов? По мнению Джонатана Хэнсона, в случае электоральных автократий существует несколько стратегий, с помощью которых режим может задействовать государственную состоятельность для укрепления своей устойчивости¹². Стратегия легитимации (performance-based legitimacy) предполагает распределение общественных благ с целью повысить поддержку действующей власти на выборах; стратегия доминирования — жесткие репрессии в отношении оппонентов и электоральные манипуляции; стратегия кооптации — селективное распределение благ, призванное ограничить участие оппозиции в выборах. Первые две стратегии базируются на вполне конкретных измерениях государственной состоятельности: стратегия легитимации опирается преимущественно на административную состоятельность, стратегия доминирования — на принуждающую. Что касается стратегии кооптации, то при ее использовании могут применяться режимные, а не государственные институты (например, партийные организации), что делает высокий уровень государственной состоятельности не столь необходимым.

Эмпирических исследований связи между административной состоятельностью (лежащей в основе легитимности успеха) и стабильностью авторитарного режима пока немного. Согласно заключению Дэвида Андерсена и его соавторов, государственная состоятельность этого типа в большей степени работает на стабильность демократических режимов, в авторитарных же главную роль играет принуждающая состоятельность¹³. В то же время Марете Сибберг зафиксировала важность для подобных режимов такого фактора, как контроль инкумбента над экономикой, который может использоваться в том числе для распределения материальных благ с целью повышения стабильности status quo¹⁴. В свою очередь Маркус Мицнер, исследуя опыт Индонезии, обнаружил, что авторитарные режимы могут комбинировать разные стратегии (и разные измерения государственной состоятельности) и использовать их с разной степенью интенсивности¹⁵. В любом случае положительное влияние высокого уровня административной государственной состоятельности на устойчивость авторитарных режимов еще требует эмпирического подтверждения.

Для понимания того, как административная государственная состоятельность (через стратегию легитимации путем обеспечения положительной экономической динамики и распределения материальных благ) может влиять на поддержку авторитарных режимов, необходимо обратиться к многочисленным исследованиям экономического голо-

сования. Выше уже говорилось, что применительно к России такие исследования дают противоречивые результаты. Но так обстоит дело не только в российском случае, и если некоторые работы, написанные на материале иных стран, демонстрируют, что высокий уровень экономического развития увеличивает готовность граждан поддерживать власть на выборах¹⁶, то другие показывают, что такая зависимость существует далеко не всегда¹⁷.

¹⁶ Goodhart and Bhansali 1970; Kramer 1971; Goodman and Kramer 1975; Tufte 1978.

¹⁷ Stigler 1973; Arcelus and Meltzer 1975; Lewis-Beck 1988; Jacobson 1989; Erikson 1990.

¹⁸ Lewis-Beck 1988.

¹⁹ Kiewiet and Rivers 1984: 380.

²⁰ Duch and Stevenson 2008.

В этой ситуации внимание многих исследователей оказалось направлено на поиск факторов, обуславливающих саму связь между экономикой и голосованием. Было выявлено несколько обстоятельств, усиливающих влияние экономических соображений на электоральный выбор. В их числе открытость экономики, экономический рост (или его ожидание) и наличие одной правящей партии (или простой правящей коалиции)¹⁸. По крайней мере одно из этих обстоятельств (наличие доминирующей партии) присутствует и в России, что повышает вероятность включения при голосовании экономических мотивов. Кроме того, было обнаружено, что «экономические условия влияют на решения о голосовании только в той мере, в какой избиратели возлагают ответственность за эти условия на действующих политиков»¹⁹. (В связи с этим настоящее исследование сфокусировано на «бюджетниках» как группе, в наибольшей степени связывающей свое благосостояние с действиями властей.) Наконец, выяснилось, что в странах, где ответственность за принятие экономических решений распределена, экономическое голосование менее значимо²⁰. Соответственно, в России, где уровень централизации принятия решений, в том числе экономических, очень высок, можно ожидать существенной роли такого голосования.

Что касается изучения экономического голосования отечественными авторами, то здесь отчетливо просматриваются три этапа, специфика которых во многом определяется экономической и политической ситуацией в стране. Исследования, проводившиеся в 1990-е годы — период, характеризовавшийся крайней неустойчивостью в экономической сфере и относительной децентрализацией власти, фиксировали взаимосвязь между экономикой и голосованием. Так, самые богатые регионы в целом поддерживали провластные партии, а самые бедные — левую и консервативную оппозицию. Иначе говоря, полученные в ходе этих исследований результаты свидетельствовали о том, что чем лучше экономическая ситуация в регионе, тем выше там поддержка власти на выборах²¹.

²¹ Лавров 1997а, 1997б; Мау, Коцеткова и Жаовронков 2001.

В 2000-е годы интерес к данной тематике снизился — вероятно, в связи с общим улучшением экономической ситуации в стране, а также с появлением доминирующей партии и отменой прямых выборов губернаторов. Среди работ этого периода можно отметить исследование Андрея Щербака, зафиксировавшее утрату значимости экономических показателей на выборах во всей совокупности регионов²². Эти результаты хорошо согласуются с гипотезой Д. Родерика Кивета и Дугласа Риверса, в соответствии с которой в условиях экономического роста вли-

²² Щербак 2005.

²³ Kiewiet and Rivers 1984.

яние экономических мотивов на голосование за правящую партию не столь заметно, как при спаде²³.

²⁴ Туровский и Гайворонский 2017.

С 2012 г., условно знаменующего собой начало третьего, современного, этапа в изучении экономического голосования, внимание исследователей к проблематике влияния социально-экономических факторов на электоральное поведение снова стало расти, чему, по-видимому, способствовали попытки власти усилить контроль над регионами в рамках новых институтов избрания губернаторов, а также нестабильность в экономике. В числе ключевых работ, где затрагивалась эта проблематика, прежде всего стоит упомянуть исследование Ростислава Туровского и Юрия Гайворонского, показавшее, что на выборах 2016 г. в Госдуму из всех экономических факторов на электоральные показатели «Единой России» значимо (и положительно) влиял только размер пенсий²⁴. К еще более неожиданным результатам привело исследование тех же выборов, проведенное Щербак и его коллегами, которые обнаружили, что беднейшие регионы склонны поддерживать правящую партию, а не наказывать ее за ухудшение дел в экономике²⁵. Согласно предположению авторов, такая ситуация может объясняться превашированием в сознании избирателей социальной повестки над экономической, адаптацией к экономическим неурядицам и навязанной СМИ «готовностью терпеть». Однако вопрос о роли экономического голосования в России остается открытым, и, чтобы приблизиться к его решению, как нам кажется, целесообразно проанализировать влияние на выбор избирателей ряда социально-экономических показателей, обсуждаемых ниже.

²⁵ Щербак и др. 2017.

Измерение уровня государственной состоятельности в России

Несмотря на наличие консенсуса относительно концептуализации государственной состоятельности как способности государственных институтов реализовывать официальные цели и политический курс, по поводу принципов ее операционализации все еще ведутся споры. Государственную состоятельность трудно измерить эмпирически, в связи с чем приходится ограничиваться анализом тех результатов, к которым, как предполагается, она приводит. Разумеется, подобный подход сопряжен с рядом рисков (например, государственный потенциал может использоваться не полностью, что приведет к расхождению между интересующей нас состоятельностью и ее практическим воплощением), но убедительной альтернативы ему пока не найдено.

В настоящем исследовании мы измеряем уровень государственной состоятельности через успешность исполнения так называемых майских указов 2012 г., включающих в себя набор целевых показателей, в том числе социально-экономических. Официальная статистика, отражающая результаты выполнения майских указов, представлена по каждому региону отдельно, что позволяет оценивать уровень субнациональной государственной состоятельности на конкретных территориях.

Поскольку, как уже отмечалось, в ходе проводившихся в последние годы исследований было обнаружено, что не все экономические факторы влияют на результаты выборов, в своей работе мы фокусируемся на показателях, вероятность влияния которых на голосование наиболее высока, а именно на заработных платах работников бюджетной сферы (врачей, педагогов и др.). «Бюджетники» считаются одной из опорных для власти электоральных групп (в частности, ввиду возможности применения административного ресурса для привлечения их на избирательные участки). Соответственно, можно ожидать, что повышение уровня оплаты их труда способно обеспечить власти дополнительную поддержку в выборах.

Отталкиваясь от сказанного в предыдущих разделах, мы исходим из того, что, распределяя материальные блага среди групп граждан, зависящих от государственного бюджета, власти усиливают свою электоральную поддержку, тем самым укрепляя режим. Эффективное распределение материальных благ возможно в регионах с высоким уровнем административной государственной состоятельности, то есть способных выполнить установки центра. Таким образом, административная государственная состоятельность используется для поддержания стабильности режима на основе стратегии легитимности успеха.

В этой работе анализируются восемь целевых показателей, включенных в Указ № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»²⁶ и предполагающих повышение зарплат «бюджетников». Следует отметить, что соответствующие показатели сформулированы в относительных цифрах и в большинстве случаев отражают отношение заработных плат конкретной категории работников к средней по региону. Данное обстоятельство позволяет более корректно подойти к оценке заработных плат «бюджетников», так как учитывает экономические особенности каждого из регионов, весьма сильно отличающихся в этом плане друг от друга (так, в 2020 г. средняя заработная плата школьных учителей в Чукотском АО составляла 113,4 тыс. рублей, а в Ингушетии — 23,5 тыс.).

В число анализируемых вошли показатели, характеризующие среднюю заработную плату: (1) педагогических работников дошкольных образовательных организаций (далее — дошкольное образование); (2) педагогических работников общеобразовательных организаций (школьное образование); (3) преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (среднее профессиональное образование); (4) преподавателей образовательных организаций высшего образования (высшее образование); (5) работников учреждений культуры (культура); (6) научных сотрудников (наука); (7) среднего медицинского (фармацевтического) персонала (средний медперсонал); (8) врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее образование (врачи). В случае дошкольного образования речь шла об отношении к средней заработной плате в сфере общего образования, во всех остальных — к среднемесячному доходу

²⁶ [http://
publication.pravo.
gov.ru/Document/
View/
0001201205070023.](http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201205070023)

от трудовой деятельности в принципе (по субъекту РФ). Значения этих показателей в 2019–2021 гг. по России в целом приведены в *табл. 1*. Как видно из таблицы, в 2020 г. на страновом уровне целевое значение было достигнуто по шести показателям, в 2021 г. — по пяти.

Таблица 1 Значения анализируемых показателей в 2019–2021 гг. по России в целом

Показатель	2019	2020	2021	Целевое значение
Дошкольное образование	91,9	90,7	-	100
Школьное образование	103	103,1	98,5	100
Среднее профессиональное образование	98,1	98,4	97,5	100
Высшее образование	225,1	223,2	220,4	200
Культура	104,9	101,5	100,6	100
Наука	265,6	262,3	261,8	200
Средний медперсонал	99,1	110,9	100,3	100
Врачи	202,3	216,4	201,3	200

Несмотря на то что общероссийские показатели в большинстве случаев достигли целевых значений, ситуация в регионах в этом плане довольно разнообразна (см. *табл. 2*).

Из таблицы следует, что в 2020 г. регионы лучше всего справились с повышением оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала. (Впрочем, уже в 2021 г. в полном соответствии с зафиксированной в *табл. 1* тенденцией значения этих показателей снизились, а вместе с тем сократилось и число регионов, достигших целевого уровня.) Хуже всего обстояло дело с зарплатами в сферах дошкольного образования и культуры. Если же мы обратимся к более широкому периоду (с 2015 по 2021 г.), то обнаружим любопытную динамику. В 2018 г. (год президентских выборов, на который была запланирована полная реализация майских указов) большинство показателей подскочило (в том же году некоторые из них впервые достигли целевых значений), после чего их рост замедлился, а в 2020–2021 гг. по ряду позиций наметился спад.

В целом полученные данные говорят о существенных различиях в степени исполнения майских указов в регионах, что, согласно нашей концепции, свидетельствует о разном уровне административной государственной состоятельности субъектов РФ. Следует отметить, что, рассуждая об административной государственной состоятельности, мы имеем в виду не только веберовскую ее разновидность (отражающую эффективность профессиональной бюрократии), но и не-

Таблица 2 Достижение анализируемых показателей на региональном уровне (по состоянию на 2020 г.)²⁷

²⁷ Данные доступны не по всем регионам.

Показатель	Число регионов, достигших целевого значения	Число регионов, не достигших целевого значения	Высшее значение	Низшее значение
Дошкольное образование	18	66	104,4 — Белгородская область	84,5 — Северная Осетия
Школьное образование	79	6	131,5 — Севастополь	93,3 — Забайкальский край
Среднее профессиональное образование	78	7	128,7 — Москва	89,8 — Тыва
Высшее образование	66	7	265,7 — Тульская область	187,1 — Бурятия
Культура	48	37	121,3 — Севастополь	88 — Хакасия
Наука	60	22	363,1 — Белгородская область	169,2 — Тыва
Средний медперсонал	85	0	141,8 — Московская область	101,1 — Забайкальский край
Врачи	84	1	261,6 — Дагестан	196,5 — Забайкальский край

вебериянскую (отражающую эффективность в том числе патронажных и клиентелистских сетей): как показало предыдущее наше исследование, проведенное совместно с Камероном Россом и Ростиславом Туровским, успешность выполнения майских указов зависит от отношений регионов с федеральными политическими элитами, а также от внутренней сплоченности региональной элиты²⁸.

²⁸ Ross, Turovsky, and Sukhova 2022.

Модели и результаты

Зафиксированные различия между регионами в уровне административной государственной состоятельности (как способности обеспечить достижение фигурирующих в майских указах целевых показателей) позволяют проверить, оказывает ли этот фактор влияние на электоральную поддержку власти. С этой целью нами был проведен регрессионный анализ (с использованием линейных моделей и метода

наименьших квадратов). Ввиду большого количества пропусков в данных было принято решение строить модели на общей выборке, охватывающей результаты сразу трех федеральных избирательных кампаний — 2016, 2018 и 2021 гг.

Зависимой переменной, фиксирующей лояльность электората, является процент голосов, отданных в регионе за «Единую Россию» на думских выборах 2016 и 2021 гг. и за Владимира Путина на президентских выборах 2018 г. В качестве независимых переменных выступают значения в регионе рассмотренных выше показателей из майских указов на момент проведения соответствующих избирательных кампаний (то есть в 2016, 2017 и 2020 гг.). Контрольные переменные включают логарифм ВРП на душу населения в 2016, 2017 и 2020 гг.; уровень урбанизации и логарифм численности населения региона на 1 января 2021 г., а также долю русского населения (по результатам Всероссийской переписи 2010 г.). Некоторые независимые переменные коррелируют между собой, в связи с чем они были рассмотрены в разных моделях (см. *табл. 3—4*).

Как следует из *табл. 3 и 4*, на электоральную поддержку федеральной власти положительно влияют многие переменные, отражающие степень исполнения майских указов. Прежде всего бросается в глаза высокая значимость переменной «дошкольное образование» (модели 1—6). Это позволяет говорить об особой эффективности повышения зарплат работников детских садов для обеспечения провластного голосования. Кроме того, поддержка власти положительно коррелирует с переменными «среднее профессиональное образование» (модели 2, 8, 11), «высшее образование» (модели 2, 4, 11), «наука» (модели 5, 8), «культура» (модели 1, 7), «средний медперсонал» (модели 3, 9) и «врачи» (модели 6, 10, 11).

Единственной переменной, не продемонстрировавшей устойчивой положительной значимости, стало отношение зарплат сотрудников школ к среднемесячному доходу в регионе. Более того, в моделях 1 и 3 ее связь с провластным голосованием оказалась отрицательной, а в моделях 4—6 и вовсе отсутствует. Таким образом, налицо различия в реакции различных категорий «бюджетников», в том числе работников сферы образования, на повышение заработных плат. В любом случае правомерно предположить, что электоральный выбор школьных учителей мотивируется какими-то иными факторами, и механизм экономического голосования, сработавший в пользу власти в ситуации с работниками детских садов и преподавателями вузов, здесь не действует. Несмотря на относительные успехи в выполнении положений майских указов, касающихся оплаты труда учителей, эта группа не склонна к прямолинейной форме экономического голосования в виде «ответной» поддержки власти. Электоральное поведение школьных учителей явным образом выпадает из логики поддержки власти в обмен на повышение доходов, а то и вступает с ней в прямое противоречие, что указывает на необходимость более тщательного его изучения.

Таблица 3 Результаты регрессионного анализа: модели 1–6

	Модель 1	Модель 2	Модель 3	Модель 4	Модель 5	Модель 6
	N=254	N=221	N=254	N=221	N=245	N=254
Дошкольное образование	0,5549***	0,8424***	0,7890***	0,8173***	0,5462**	0,8047***
Школьное образование	-0,4365***	-	-0,3510*	-0,0483	-0,0623	-0,1881
Среднее профессиональное образование	-	0,2938*	-	-	-	-
Высшее образование	-	0,3185***	-	0,3498***	-	-
Культура	0,9267***	-	-	-	-	-
Средний медперсонал	-	-	0,4461***	-	-	-
Наука	-	-	-	-	0,1178***	-
Врачи	-	-	-	-	-	0,2180***
Доля русского населения	-0,2138***	-0,1955***	-0,1905***	-0,2060***	-0,2432***	-0,1997***
Население (log)	-0,6478	-6,3973*	3,0741	-4,8928	0,4671	3,0026
Урбанизация	-0,2433***	0,0125	-0,0724	0,0328	0,0131	-0,0372
ВРП на душу населения (log)	-8,3546***	-1,7872	-3,2212	-2,5505	1,2683	-2,1892
Adj. R-squared	0,559	0,431	0,283	0,415	0,254	0,306

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

Таблица 4 Результаты регрессионного анализа: модели 7–12

	Модель 7	Модель 8	Модель 9	Модель 10	Модель 11	Модель 12
	N=255	N=246	N=255	N=255	N=255	N=222
Дошкольное образование	-	-	-	-	-	-
Школьное образование	-	-	-	-	-	-
Среднее профессиональное образование	-	0,4910***	-	-	0,2612*	-
Высшее образование	-	-	-	-	-	0,3333***
Культура	0,8629***	-	-	-	-	-
Средний медперсонал	-	-	0,3509***	-	-	-
Наука	-	0,0987***	-	-	-	-
Врачи	-	-	-	0,1884***	0,1623***	-
Доля русского населения	-0,2175***	-0,2326***	-0,2014***	-0,2079***	-0,2023***	-0,2109***
Население (log)	-1,3063	-2,4643	2,6801	3,0598	2,1444	-4,0928
Урбанизация	-0,2426***	-0,0165	-0,0770	-0,0476	-0,0562	0,0245
ВРП на душу населения (log)	-5,9755*	1,5299	-0,6328	-0,0239	-1,5764	-1,8780
Adj. R-squared	0,505	0,286	0,223	0,256	0,268	0,374

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

Наконец, значимыми оказались некоторые контрольные переменные. Традиционно для региональных исследований обнаружилась повышенная лояльность в регионах с относительно низкой долей этнических русских. Кроме того, некоторые модели выявили отрицательную корреляцию между провластным голосованием и уровнями урбанизации и ВРП на душу населения, что может говорить о меньшей склонности обеспеченных горожан поддерживать власть.

Заключение

Полученные результаты позволяют сделать несколько важных выводов.

1. Более высокий уровень административной государственной состоятельности в регионах России (операционализированной через реализацию целевых установок центра, обозначенных в майских указах) в целом способствует более высокой электоральной поддержке властей и тем самым повышает стабильность политического режима. Проведенное исследование свидетельствует о том, что российское руководство успешно задействовало стратегию легитимации, основанную на конкретных достижениях (*performance-based legitimacy*), для укрепления *status quo*.

2. Манипуляции с заработной платой как инструмент повышения лояльности работают не во всех случаях, даже когда речь идет о «бюджетниках». Наряду с экономическими соображениями на электоральное поведение влияют и другие факторы, которые требуют дополнительного изучения.

3. Связь между общими показателями социально-экономического развития и электоральной поддержкой власти в современной России неоднозначна. Некоторые из таких показателей коррелируют с ней отрицательно, что отчасти объясняет существующие расхождения в оценке вектора и значимости экономического голосования в российском контексте.

Разумеется, эти выводы во многом носят предварительный характер и нуждаются в дальнейшей проверке. В частности, было бы полезно расширить спектр показателей, используемых для измерения субнациональной административной государственной состоятельности, проанализировать возможное влияние на поддержку власти доходов граждан, не входящих в категорию «бюджетников», а также включить в анализ выборы регионального уровня. Вместе с тем надеемся, что настоящая работа внесла определенный вклад в понимание того, как авторитарные режимы могут использовать государственную состоятельность для поддержания своей стабильности.

Библиография

Лавров А.М. (1997а) *Регионально-статистический анализ результатов выборов 1993 г.* (На правах рукописи.)

Лавров А.М. (1997б) *Российские регионы сквозь призму выборов 1995 и 1996 гг.* (На правах рукописи.)

Мау В., О.Кочеткова и С.Жаворонков. (2001) *Экономические факторы электорального поведения (Опыт России 1995—1996 годов)*. М.: ИЭПП.

Туровский Р.Ф. и Ю.О.Гайворонский. (2017) «Влияние экономики на электоральное поведение в России: работает ли „контракт“ власти и общества?» // *Полития*, № 3 (86): 42—61. URL: [http://politeia.ru/files/articles/rus/Politeia-2017-3\(86\)-42-61.pdf](http://politeia.ru/files/articles/rus/Politeia-2017-3(86)-42-61.pdf) (проверено 14.04.2023).

Щербак А.Н. (2005) «Экономический рост и итоги думских выборов 2003 г.» // *Политическая наука*, № 2: 105—123.

Щербак А.Н. Д.О.Смирнова, Е.П.Озернова, Е.В.Лепешко, А.П.Купка и А.Н.Калинин. (2017) «Холодильник vs. телевизор? Экономическое голосование на выборах в Государственную Думу РФ 2016 г.» // *Вестник Пермского университета. Серия: Политология*, № 3: 137—155.

Andersen D. J.Møller, L.L.Rørbæk, and S.-E.Skaaning. (2014) «State Capacity and Political Regime Stability» // *Democratization*, vol. 21, no. 7: 1305—1325.

Arcelus F. and A.Meltzer. (1975) «The Effect of Aggregate Economic Variables on Congressional Elections» // *American Political Science Review*, vol. 69, no. 4: 1232—1239.

Croissant A. and O.Hellmann. (2018) «Introduction: State Capacity and Elections in the Study of Authoritarian Regimes» // *International Political Science Review*, vol. 39, no. 1: 3—16.

Duch R. and R.Stevenson. (2008) *The Economic Vote: How Political and Economic Institutions Condition Election Results*. New York: Cambridge University Press.

Erikson R.S. (1990) «Economic Conditions and the Congressional Vote: A Review of the Macrolevel Evidence» // *American Journal of Political Science*, vol. 34, no. 2: 373—399.

Evans P.B., D.Rueschemeyer, and T.Skocpol. (1985) *Bringing the State Back In*. Cambridge: Cambridge University Press.

Goodhart C. and R.J.Bhansali. (1970) «Political Economy» // *Political Studies*, vol. 18, no. 1: 43—106.

Goodman S. and G.Kramer. (1975) «Comment on Arcelus and Meltzer. The Effect of Aggregate Economic Conditions on Congressional Elections» // *American Political Science Review*, vol. 69, no. 4: 1255—1265.

Hanson J.K. (2018) «State Capacity and the Resilience of Electoral Authoritarianism: Conceptualizing and Measuring the Institutional Underpinnings of Autocratic Power» // *International Political Science Review*, vol. 39, no. 1: 17—32.

Hanson J.K. and R.Sigman. (2021) «Leviathan's Latent Dimensions: Measuring State Capacity for Comparative Political Research» // *The Journal of Politics*, vol. 83, no. 4: 1495—1510.

Jacobson G.C. (1989) «Strategic Politicians and the Dynamics of U.S. House Elections, 1946—86» // *The American Political Science Review*, vol. 83, no. 3: 773—793.

- Jaros K. (2016) «Rethinking Subnational Government Capacity in China» // *Journal of Chinese Governance*, vol. 1, no. 4: 633—653.
- Kiewiet D.R. and D. Rivers. (1984) «A Retrospective on Retrospective Voting» // *Political Behavior*, vol. 6, no. 4: 369—393.
- Kramer G.H. (1971) «Short-Term Fluctuations in U.S. Voting Behavior: 1896—1964» // *The American Political Science Review*, vol. 65, no. 1: 131—143.
- Lewis-Beck M.S. (1988) *Economics and Elections: The Major Western Democracies*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Mietzner M. (2018) «Authoritarian Elections, State Capacity, and Performance Legitimacy: Phases of Regime Consolidation and Decline in Suharto's Indonesia» // *International Political Science Review*, vol. 39, no. 1: 83—96.
- Møller J. and S.Skaaning. (2014) *The Rule of Law: Definitions, Measures, Patterns and Causes*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Ross C., R.Turovsky, and M.Sukhova. (2022) «Subnational State Capacity in Russia: The Implementation of the 2012 Presidential „May Decrees“» // *Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization*, vol. 30, no. 3: 263—282.
- Seeberg M.B. (2018) *State Capacity, Economic Control, and Authoritarian Elections*. London: Routledge.
- Soifer H. and M. vom Hau. (2008) «Unpacking the Strength of the State: The Utility of State Infrastructural Power» // *Studies in Comparative International Development*, vol. 43, no. 3: 219—230.
- Sommano F. and F.Nieto. (2017) *Subnational State Capacity and Civic and Political Participation in Mexico*. URL: <https://www.ippapublicpolicy.org/file/paper/594d7107abda2.pdf> (accessed on 21.04.2023).
- Stigler G. (1973) «General Economic Conditions and National Elections» // *The American Economic Review*, vol. 63, no. 2: 160—167.
- Tufte E.R. (1978) *Political Control of the Economy*. Princeton: Princeton University Press.



ПОЛИТИКА

M.S.Sukhova
**SUBNATIONAL STATE CAPACITY
 AND PRO-GOVERNMENT VOTING
 IN RUSSIA**

Marina S. Sukhova — Senior Lecturer at the Faculty of Social Sciences,
 Ph.D. Candidate, Doctoral School of Political Science, HSE University.
 Email: mssukhova@gmail.com.

Abstract. This paper examines how the level of subnational administrative state capacity, measured as the success of the implementation of the May 2012 presidential decrees in the regions, affects the electoral support for the government. The research study focuses on the indicators that reflect the dynamics of the salaries of public sector workers (doctors, teachers etc.), which are considered one of the electoral groups that the authorities count on.

The results of the study show that in regions with higher salaries, public sector workers tend to vote more actively for the government. According to the author's conclusion, these findings not only demonstrate that a high level of subnational administrative state capacity has a positive effect on the loyalty of citizens, but also confirm the efficiency of a strategy of distributing material wealth for maintaining and strengthening stability of authoritarian states. At the same time, the study shows that salary manipulation as a tool to increase loyalty does not work in all cases, even when it comes to public sector workers. The same applies to such indicators of socio-economic development as the level of urbanization and the value of GRP per capita, which are negatively correlated with pro-government voting. All this indicates that, along with economic considerations, other factors also influence electoral behavior, which requires further research.

Keywords: state capacity, economic voting, elections, regional politics, electoral behavior, authoritarian regime

References

- Andersen D. J., Møller, L.L., Rørbæk, and S.-E. Skaaning. (2014) "State Capacity and Political Regime Stability" // *Democratization*, vol. 21, no. 7: 1305–1325.
- Arcelus F. and A. Meltzer. (1975) "The Effect of Aggregate Economic Variables on Congressional Elections" // *American Political Science Review*, vol. 69, no. 4: 1232–1239.
- Croissant A. and O. Hellmann. (2018) "Introduction: State Capacity and Elections in the Study of Authoritarian Regimes" // *International Political Science Review*, vol. 39, no. 1: 3–16.
- Duch R. and R. Stevenson. (2008) *The Economic Vote: How Political and Economic Institutions Condition Election Results*. New York: Cambridge University Press.
- Erikson R.S. (1990) "Economic Conditions and the Congressional Vote: A Review of the Macrolevel Evidence" // *American Journal of Political Science*, vol. 34, no. 2: 373–399.
- Evans P.B., D. Rueschemeyer, and T. Skocpol. (1985) *Bringing the State Back In*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Goodhart C. and R.J. Bhansali. (1970) "Political Economy" // *Political Studies*, vol. 18, no. 1: 43–106.
- Goodman S. and G. Kramer. (1975) "Comment on Arcelus and Meltzer. The Effect of Aggregate Economic Conditions on Congressional Elections" // *American Political Science Review*, vol. 69, no. 4: 1255–1265.

Hanson J.K. (2018) “State Capacity and the Resilience of Electoral Authoritarianism: Conceptualizing and Measuring the Institutional Underpinnings of Autocratic Power” // *International Political Science Review*, vol. 39, no. 1: 17–32.

Hanson J.K. and R.Sigman. (2021) “Leviathan’s Latent Dimensions: Measuring State Capacity for Comparative Political Research” // *The Journal of Politics*, vol. 83, no. 4: 1495–1510.

Jacobson G.C. (1989) “Strategic Politicians and the Dynamics of U.S. House Elections, 1946–86” // *The American Political Science Review*, vol. 83, no. 3: 773–793.

Jaros K. (2016) “Rethinking Subnational Government Capacity in China” // *Journal of Chinese Governance*, vol. 1, no. 4: 633–653.

Kiewiet D.R. and D. Rivers. (1984) “A Retrospective on Retrospective Voting” // *Political Behavior*, vol. 6, no. 4: 369–393.

Kramer G.H. (1971) “Short-Term Fluctuations in U.S. Voting Behavior: 1896–1964” // *The American Political Science Review*, vol. 65, no. 1: 131–143.

Lavrov A.M. (1997a) *Regional’no-statisticheskij analiz rezul’tatov vyborov 1993 g.* [Regional-Statistical Analysis of the Results of the 1993 Elections]. (On the rights of the manuscript.) (In Russ.)

Lavrov A.M. (1997b) *Rossijskie regiony skvoz’ prizmu vyborov 1995 i 1996 gg.* [Russian Regions through the Prism of the 1995 and 1996 Elections]. (On the rights of the manuscript.) (In Russ.)

Lewis-Beck M.S. (1988) *Economics and Elections: The Major Western Democracies*. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Mau V., O.Kochetkova, and S.Zhavoronkov. (2001) *Ekonomicheskie faktory elektoral’nogo povedenija (Opyt Rossii 1995–1996 godov)* [Economic Factors of Electoral Behavior (The Experience of Russia in 1995–1996)]. Moscow: IEPP. (In Russ.)

Mietzner M. (2018) “Authoritarian Elections, State Capacity, and Performance Legitimacy: Phases of Regime Consolidation and Decline in Suharto’s Indonesia” // *International Political Science Review*, vol. 39, no. 1: 83–96.

Møller J. and S.Skaaning. (2014) *The Rule of Law: Definitions, Measures, Patterns and Causes*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Ross C., R.Turovsky, and M.Sukhova. (2022) “Subnational State Capacity in Russia: The Implementation of the 2012 Presidential „May Decrees“” // *Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization*, vol. 30, no. 3: 263–282.

Seeberg M.B. (2018) *State Capacity, Economic Control, and Authoritarian Elections*. London: Routledge.

Shcherbak A.N. (2005) “Ekonomicheskij rost i itogi dumskikh vyborov 2003 g.” [Economic Growth and the Results of the 2003 Duma Elections] // *Politicheskaja nauka* [Political Science], no. 2: 105–123. (In Russ.)

Shcherbak A.N., D.O.Smirnova, E.P.Ozernova, E.V.Lepeshko, A.P.Kupka, and A.N.Kalinin. (2017) „Kholodil’nik vs. televizor? Ekono-

micheskoe golosovanie na vyborah v Gosudarstvennuju Dumu RF 2016 g.“ [Fridge vs. TV: Economic Voting in the 2016 Duma Elections in Russia] // *Vestnik Permskogo universiteta. Serija: Politologija* [Bulletin of Perm University. Political Science], no. 3: 137–155. (In Russ.)

Soifer H. and M. vom Hau. (2008) “Unpacking the Strength of the State: The Utility of State Infrastructural Power” // *Studies in Comparative International Development*, vol. 43, no. 3: 219–230.

Sommano F. and F.Nieto. (2017) *Subnational State Capacity and Civic and Political Participation in Mexico*. URL: <https://www.ippapublicpolicy.org/file/paper/594d7107abda2.pdf> (accessed on 21.04.2023).

Stigler G. (1973) “General Economic Conditions and National Elections” // *The American Economic Review*, vol. 63, no. 2: 160–167.

Tufte E.R. (1978) *Political Control of the Economy*. Princeton: Princeton University Press.

Turovsky R.F. and Yu.O.Gaivoronsky. (2017) “Vlijanie ekonomiki na elektoral'noe povedenie v Rossii: rabotaet li „kontrakt“ vlasti i obshchestva?” [Economic Influence on Electoral Behavior in Russia: Is “Contract” between Power and Society Working?] // *Politeia*, no. 3 (86): 42–61. URL: [http://politeia.ru/files/articles/rus/Politeia-2017-3\(86\)-42-61.pdf](http://politeia.ru/files/articles/rus/Politeia-2017-3(86)-42-61.pdf) (accessed on 14.04.2023). (In Russ.)



политика

Е.С.Арляпова, Е.Г.Пономарева
АКТИВИЗАЦИЯ АНКАРЫ
НА ЗАПАДНЫХ БАЛКАНАХ
Подходы, инструменты, составляющие

Елена Сергеевна Арляпова — кандидат политических наук, научный сотрудник Института системно-стратегического анализа (ИСАН). Для связи с автором: elena.s.arlyapova@gmail.com.

Елена Георгиевна Пономарева — доктор политических наук, профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России. Для связи с автором: nastya304@mail.ru.

Аннотация. В последние годы Турция все больше отходит от аффилиации с державами трансатлантического блока и стремится вести собственную игру. Особый интерес Анкары к Западным Балканам (Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия, Черногория и самопровозглашенная Республика Косово) определяется рядом причин. Это историческая, социокультурная, религиозная и географическая близость; отсутствие строгих институциональных ограничений ввиду пробуксовки процесса включения Западных Балкан в ЕС; сложная история отношений с Брюсселем самой Турции, а также политические амбиции и притязания последней на региональное лидерство. Все это повышает шансы Турецкой республики на закрепление на Балканах в качестве серьезного игрока. Формальное нахождение региона вне рамок ЕС расширяет возможности для политического лавирования как для Анкары, так и для западнобалканских столиц.

В статье сфокусировано внимание на четырех аналитических блоках: эволюция внешнеполитической стратегии Турции; ее интеграционные предложения для стран региона как попытка замещения инициатив Брюсселя; этнорелигиозная и миграционная составляющие турецкого влияния; инструменты социокультурного проникновения. Проведенный авторами анализ показывает, что, несмотря на продуманную стратегию, задействованные ресурсы, проявленную политическую волю и настойчивость в среднесрочной перспективе Турция едва ли станет для западнобалканских стран альтернативой ЕС или хотя бы влиятельным экономическим игроком в регионе. Анкаре и дальше придется соотносить свои цели с действиями геополитических грандов. Вместе с тем, поскольку в условиях нарастания международной конфликтности борьба за влияние на юге Европы будет только усиливаться, коридор возможностей для Анкары остается открытым.

Ключевые слова: Западные Балканы, Турция, внешняя политика, неоосманизм, эрдоганизм, социогуманитарное сотрудничество, этнорелигиозный фактор, «мягкая сила»

В нынешние времена, когда в Стамбуле, в Боснии и во всем мире творятся такие дела, нельзя ничему удивляться и надо быть готовым ко всему.

Иво Андрич. Травницкая хроника.

С начала XXI в. Западные Балканы (Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия, Черногория и самопровозглашенная Республика Косово) привлекают пристальное внимание со стороны внешних акторов. Не в последнюю очередь это объясняется тем, что «при всей географической, исторической, культурной и экономической предопределенности европейской интеграции окончательный выбор странами региона ЕС как „империи по приглашению“ отягощен сохраняющейся неопределенностью общего будущего»¹. С запуском в ноябре 2000 г. на саммите ЕС в Загребе специального механизма поддержки региона — Процесса стабилизации и ассоциации для Западных Балкан — членство в Союзе не стало для балканских государств осязаемо ближе. В то же время там сохраняется влияние России, растет активность Китая, стран Ближнего Востока. Особое место в списке внешних игроков занимает Турция.

Географическая близость, длительная история контактов на постоянной основе, внутренняя логика развития страны обусловили устойчивый интерес Анкары к региону. Его важность для Турции связана в том числе с притязаниями страны на региональное лидерство и соперничеством за эту роль с Ираном и Саудовской Аравией. В отличие от последних, не фигурирующих пока в ряду основных участников геополитической конкуренции на Балканах, эксперты все чаще относят к ним Турцию. Каковы реальные возможности и перспективы вхождения Анкары в число ведущих акторов западнобалканской политики — вопрос не только научной теории, но и политической практики.

¹ Пономарева и Крыканов 2020: 117.

От региональной ответственности к эрдоганизму: эволюция внешнеполитической стратегии Анкары

В последние годы Турция отошла от тактики выжидания и реакции на действия и позицию более сильных игроков трансатлантического блока, на аффилиацию с которыми она четко ориентировалась во время разрушения Югославии. В наши дни ее внешняя политика на балканском направлении более автономна. Официально, согласно турецкому МИД, она строится на принципах региональной ответственности и инклюзивности, а в качестве четырех ее главных векторов выступают «политический диалог на высоком уровне, безопасность для всех, максимальная экономическая интеграция и сохранение полиэтнических, поликультурных и поликонфессиональных социальных струк-

² <https://www.mfa.gov.tr/relations-with-the-balkan-region.en.mfa>.

тур в регионе»². Заявленные установки в отношении региона полностью соотносятся с шестью базовыми принципами турецкой внешней политики «новой эры», включающими в себя баланс между безопасностью и свободой, отсутствие проблем с соседями, многоаспектность, активность на региональном уровне, кардинально новый дипломатический стиль и ритмичную дипломатию³.

³ Davutoğlu 2013.

В материалах турецкого внешнеполитического ведомства Западные Балканы не выделены в отдельный сектор, а фигурируют под общим названием «Балканы» вместе с государствами, которые в современной западной практике принято выводить за пределы относительно новой подвижной аналитической конструкции «Западные Балканы», то есть с Болгарией, Румынией, Словенией и Хорватией. Этот подход более близок к подходу российского МИДа, в сферу компетенции соответствующего департамента которого входит тот же набор стран, что и у турецких коллег, плюс Греция, Кипр и сама Турция⁴. Наше внимание сфокусировано именно на странах Западных Балкан, которые формально еще остаются вне рамок Европейского союза, а значит, могут прибегать к лавированию на международной арене. Этим пользуется Турция, раздвигая всеми доступными средствами имеющийся коридор возможностей.

⁴ <https://www.mid.ru/print/?id=1412885&lang=ru>.

Сегодняшняя турецкая активность на Балканах — часть внешнеполитической стратегии, за которой в исследовательской среде прочно закрепился реанимированный в свое время термин «неоосманизм». Балканы, наряду с Ближним Востоком, Северной Африкой, Центральной Азией, Кавказом и Крымом, фигурируют в числе практических направлений реализации данной доктрины. Впрочем, далеко не все рассматривают Западные Балканы как один из приоритетов турецкой внешней политики. По мнению скептиков, Анкара сосредоточена преимущественно на ближневосточной проблематике, в частности на войне с Сирией, а также на отношениях с Европой. Ставится под сомнение способность Турции «по-настоящему осуществлять экспансионистскую стратегию в регионе»⁵, идут разговоры о переоцененности самого неоосманизма, по крайней мере в Европе⁶.

⁵ Aydıntaşbaş 2019: 3.

⁶ Rustemi et al. 2019: 136.

Доказывая обратное, сторонники серьезного отношения к расширению присутствия и влияния Турции на Западных Балканах подчеркивают ее напористость и активную дипломатию, а также широкий арсенал инструментов продвижения ею собственной повестки, мало чем уступающий находящемуся в распоряжении игроков «высшей лиги» — Китая, ЕС, России и США. Во времена европейских надежд Турции и ее устремленности в ЕС это не вызывало (или вызывало гораздо меньше) опасений⁷. Однако с приходом к власти Реджепа Тайипа Эрдогана ситуация изменилась. С его установками, политической волей и конкретными действиями связывают антиевропейский крен Турции в последние годы, а на его фоне (вольно или невольно) и усиление позиций страны на Западных Балканах⁸. Так, турецкий исследователь Мехмед Экинчи убежден, что благодаря своему сбалансированному

⁷ Krastev 2018.

⁸ Ekinçi 2014: 107—108.

⁹ *Ekinci 2019: 47.*

¹⁰ *Мамедов 2022: 544—545.*

подходу, а также дружбе Эрдогана с балканскими политиками — Бойко Борисовым, Александром Вучичем, Бакиром Изетбеговичем, Эди Рамой и Хашимом Тачи — «Турция стала одним из ближайших политических партнеров балканских стран»⁹. Именно «личные контакты составляют главный дипломатический канал Турции» в регионе¹⁰.

Текущую фазу турецко-западнобалканских отношений иногда называют эрдоганизмом, отсчитывая ее с 2016 г., то есть со времени ухода с поста премьер-министра Ахмета Давутоглу. Предыдущие две — это атлантизм, курс, которого продолжала придерживаться Партия справедливости и развития (ППС) в 2002—2009 гг., на заре своего правления, и эра Давутоглу, на которую, собственно, приходится интенсификация турецких усилий на западнобалканском направлении. Разумеется, это далеко не единственная периодизация турецко-балканских отношений на современном этапе. Существует много других — аргументированных, интересных, очень детальных, особенно в ракурсе двусторонних отношений Турции со странами региона¹¹. Но для обозначения основных вех взаимодействия с начала XXI в. приведенная периодизация представляется оптимальной.

¹¹ *Koç and Önsoy 2018: 369; Rakipi 2022.*

Эрдоганизм, который часто приравнивают к прагматизму в турецко-балканских отношениях, находится в тесной связке и с персоной, и с локацией. Первое достаточно очевидно, ибо данный курс во многом является производным от политического инстинкта Эрдогана, его умения «устанавливать доверительные отношения (loyalty) с сильными лидерами»¹². Второе объясняется тем, что именно на Западных Балканах «Эрдоган пользуется таким признанием, которого ему часто не хватает в других частях мира»¹³. Как период развития эрдоганизм включает в себя доминирование экономики (в ущерб дипломатии) и прямое взаимодействие главы Турции с руководством западнобалканских стран посредством личных связей (в ущерб институциональным).

¹² *Rašidagić and Hesova 2020: 119.*

¹³ *Güzeldere 2021.*

Помимо этого, эрдоганизм рассматривается в качестве одного из «четырёх китов» (наряду с трансатлантическими институтами, внешней торговлей и мусульманскими общинами), на которых, «похоже, держится внешняя политика Турции на Западных Балканах»¹⁴. Правда, в этом случае он выступает не самостоятельно, а вместе с «борьбой с гюленизмом»¹⁵.

¹⁴ *Aydıntaşbaş 2019: 25.*

¹⁵ *Rrustemi et al. 2019: 135.*

Прежде чем переходить к анализу нынешнего этапа турецко-западнобалканских отношений, стоит кратко остановиться на еще одной ключевой для региона и внешнеполитической переориентации Турции фигуре — Давутоглу. В новаторском подходе к основам турецкой внешней политики «теневое», а затем и действующего министра иностранных дел Балканам (вкуче с Кавказом и Ближним Востоком) отводилась принципиальная роль¹⁶. Внимание к указанным регионам и активизация работы в них должны были дополнить ориентацию на Запад — с целью выполнения Турцией ее исторического предназначения и превращения в глобальную державу. Западные Балканы настолько интересовали Давутоглу, что «многие из своих идей о глобальном положении

¹⁶ *Мамедов 2021: 129.*

¹⁷ *Имеется в виду война в Боснии 1992—1995 гг.*

¹⁸ *Aydıntaşbaş 2019: 9, 11.*

¹⁹ *Лобанов и Шахов 2017: 60.*

²⁰ *Аватков и Сбитнева 2020: 115.*

²¹ *Исламов 2022.*

²² *Меликян 2022.*

²³ *Мехдиев 2016: 33.*

²⁴ *Аватков 2023: 112.*

²⁵ *Калоева 2017: 88.*

²⁶ <https://wbc-rti.info/object/event/21421>.

²⁷ *Андреев 2021.*

²⁸ *Shehu 2021.*

Турции он развил в ответ на балканские события¹⁷. Давутоглу «свято верил в потенциал „мягкой силы“»¹⁸, и именно на нее и была сделана ставка на Западных Балканах¹⁹.

Несмотря на то что неоосманизм позиционирует страну исключительно в качестве регионального игрока, географической и культурной наследницы Византийской и Османской империй, в последние годы все заметнее стремление Турции «добиться статуса надрегиональной державы»²⁰. Анкара, несомненно, хочет видеть себя в центре мировых процессов и, надо сказать, уже добилась определенных результатов на этом пути. После обострения украинского кризиса более востребованной стала наконец ее роль потенциального посредника в различных переговорных комбинациях. Прежде такого рода интенции почти не встречали понимания, о чем свидетельствует, в частности, длительное игнорирование союзниками ее множественных миротворческих инициатив на Балканах²¹.

Притязания Турции на урегулирование конфликтов на «османском пространстве» — важный аспект ее новой внешней политики. «Республика демонстрирует, что она существенный игрок в международной политике и не имеет ничего общего с той Турцией, которая была лишь исполнителем курса старших союзников»²². Действительно, среди всех изменений, произошедших за годы правления ПСР и ее лидера Эрдогана, главное, безусловно, заключается в том, что Анкара больше «не считает себя периферией и младшим партнером США и НАТО»²³. Напротив, она и мыслит, и преподносит себя в качестве «„хаба“», центра притяжения, через который должны проходить пути и смыслы»²⁴. Это и новая идея развития, и геополитическая цель современной Турции.

За повышением политической субъектности амбициозного соседа и его активности на балканском направлении внимательно наблюдают эксперты на местах. В частности, сербские аналитики считают, что «даже слабый президент Турции может попытаться решить свои внутренние проблемы за счет дестабилизации обстановки на Балканах»²⁵. К слову, работы местных авторов выгодно отличаются от западных конкретностью аргументации, а также акцентом не на идеологической, а на прагматической составляющей. От балканских исследователей не ускользает общая ориентация официальной Анкары на Запад, тогда как многие их западные коллеги с легкостью отсекают от него Турцию и помещают ее в категорию восточных держав, оказывающих деструктивное воздействие на Западные Балканы. Стоит отметить, что дискурс «отсоединения» Турции от Европы и ее «сцепки» с Россией и Китаем (в том числе в качестве транслятора их негативного влияния²⁶) активно продвигался в регионе накануне украинских событий²⁷.

Балканские эксперты видят в Турции сугубо региональную державу, которая «не может заместить собой США или ЕС»²⁸. И эта оценка нам кажется вполне обоснованной: международный вес Анкары на данном этапе не позволяет ей войти в число грандов мировой полити-

ки. Кроме того, как справедливо отмечают сами сторонники внесения ее в список главных геополитических конкурентов на Западных Балканах, «предел и ближайшая стратегическая цель для Турецкой Республики — это... обретение статуса мультирегионального лидера»²⁹ путем восстановления главенствующего положения в регионах, примыкающих к ее территориальным границам. Поэтому, как и до начала текущего кризиса, Турция остается для Западных Балкан весьма значимым внешним игроком, но представляющим региональные силы (наряду, например, с Грецией).

²⁹ Лобанов и Шахов 2017: 60.

Турция как интегратор Западных Балкан

Наиболее важными инициативами на балканском направлении сами турки считают Процесс сотрудничества стран Юго-Восточной Европы (ПСЮВЕ) и действующий под политическим руководством этой организации Совет регионального сотрудничества (СРС). Обе структуры рассматриваются как «полезные и взаимодополняющие механизмы евроатлантической интеграции региона», выгодно отличающиеся от других своим внутренним происхождением, что делает их «подлинным голосом региона»³⁰. Турция трижды председательствовала в ПСЮВЕ (в 1998—1999, 2009—2010 и 2020—2021 гг.) и, надо сказать, активно использовала открывшиеся перед ней в связи с этим возможности для утверждения в роли одного из главных медиаторов на Балканах. Особенно продуктивным для нее в этом плане был второй срок, принесший вполне ощутимые конкретные результаты.

³⁰ https://www.mfa.gov.tr/south-east-european-countries-cooperation-process_-seecp_.en.mfa.

На руку Анкаре сыграл целый ряд обстоятельств. Во-первых, это предшествовавший ее председательству финансовый кризис 2007—2008 гг., который не только заставил ЕС приостановить свои усилия по реструктуризации балканской экономики, но и перерос в европейский долговой кризис. Воспользовавшись ослаблением активности Евросоюза на фоне ухудшения экономической ситуации в регионе, Турецкая республика перехватила инициативу, «начав, как однажды заметил Давутоглу, с того места, на котором остановился ЕС»³¹. Именно 2008 г. часто называют поворотным моментом в развитии отношений между Турцией и Западными Балканами, приведшим к заметной их интенсификации.

³¹ Ekinçi 2014: 107—108.

³² Имеются в виду участники так называемого бутмирского процесса — переговоров между боснийскими сербами, хорватами и мусульманами, проходивших на территории сараевского аэропорта «Бутмир».

Во-вторых, это «политический вакуум, образовавшийся после того, как в октябре 2009 г. бутмирские посредники³² из Вашингтона и Брюсселя „собрали свои манатки“³³, не только оставив балканских участников переговоров в состоянии глубокой неудовлетворенности³⁴, но и освободив пространство для рвущейся к региональному лидерству Турции. Ускоренное развитие отношений между ней и Западными Балканами базировалось на двух важных принципах: региональной ответственности, предполагающей «добровольное участие конфликтующих сторон в решении проблемы, стоящей перед регионом»³⁵, и инклюзивности — учета аргументов всех игроков³⁶. Низкая отправная точка в отношениях между Турцией и балканскими странами предоставила ту-

³³ Bechev 2012: 139.

³⁴ Гуськова 2009.

³⁵ Koç and Önsoy 2018: 361.

³⁶ Address 2010.

рецкому МИДу уникальную возможность проверить на практике свою доктрину «нулевых проблем».

Название турецкой внешнеполитической доктрины десятки, а то и сотни раз язвительно обыгрывалось в аналитических материалах и публикациях в СМИ: «от ноля проблем с соседями — к нулю соседей без проблем»³⁷, «от ноля проблем — к нулю друзей»³⁸, «ноль проблем с соседями — множество проблем»³⁹ и т.п. Отечественные востоковеды обращают внимание на то, что изначально доктрина была ориентирована на Ближний Восток и что ведущую роль в ее реализации сыграл Эрдоган, а не Давутоглу⁴⁰. Той же точки зрения придерживаются и западные исследователи, подчеркивающие, что именно «Эрдоган прагматично восстановил дипломатические связи с регионом Западных Балкан, установив прекрасные личные отношения с западнобалканскими лидерами»⁴¹. Более того, некоторые видят проблему Турции как раз в том, что она улучшила отношения с региональными державами, ни одна из которых не граничит с ней непосредственно⁴².

Так или иначе, улучшение отношений с западнобалканскими странами уже в активе турецкой внешней политики. В качестве конкретного примера вклада Турции в развитие добрососедских отношений и сотрудничества в регионе МИД республики приводит созданные по ее инициативе механизмы трехсторонних консультаций между Турцией, Боснией и Герцеговиной (БиГ) и Сербией и между Турцией, БиГ и Хорватией⁴³. Несмотря на очевидный крен в сторону Боснии с логичной в контексте ранней турецкой политики в регионе опорой на единоверцев-бошняков, главным достижением Анкары в период второго ее председательства в ПСЮВЕ стало сближение с Сербией. В то же время применительно к БиГ был допущен ряд ошибок, прежде всего в плане взаимодействия с проживающими там сербами и хорватами, политические партии которых вскоре пополнили ряды балканских «тюркоскептиков».

Что касается отношений с Сербией, то прогресс был весьма впечатляющим, особенно на фоне той низкой отправной точки, с которой они развивались. Осенью 2009 г. впервые за почти четверть века (а именно с 1986 г., то есть еще со времен Югославии) глава турецкого государства Абдулла Гюль прибыл с официальным визитом в Белград. В ходе этого визита был заключен целый ряд соглашений (в сферах транспорта, инфраструктуры, социального обеспечения и т.д.), но главное его значение состояло в том, что он продемонстрировал смену вектора региональной политики Анкары и переход ее от ориентации исключительно на мусульманские сообщества Балкан к взаимодействию на более широкой прагматической основе. Этот внешнеполитический «ребрендинг», пусть и локального характера, не менее важен, чем множество запущенных проектов и сопутствующих договоренностей.

³⁷ Мамедов 2016.

³⁸ Zalewsky 2013.

³⁹ Dorsey 2022.

⁴⁰ Мамедов 2016.

⁴¹ Rrustemi et al. 2019: 129.

⁴² Dorsey 2022.

⁴³ <https://www.mfa.gov.tr/relations-with-the-balkan-region.en.mfa>.

**Этнорелигиозная
и миграционная
составляющие
стратегии
турецкого
влияния**

В качестве основы современного отношения Турции к региону по традиции часто выделяют ислам (родство со многими мусульманскими общинами в балканских странах), а также неоосманский нарратив, сочетающий исламскую тематику с обширным историко-культурным наследием, которое не предполагает «больше разрыва связи с Османской империей»⁴⁴. Вместе с тем, как справедливо замечают отечественные специалисты, «сводить турецкое влияние и в целом турецкую политику лишь к этнорелигиозному фактору и историческим контекстам было бы неправильно»⁴⁵. Важную роль здесь сыграли миграционные процессы, активно развивавшиеся на протяжении XX в., одним из результатов которых стало появление в Турции многочисленных балканских диаспор. Со времени основания Турецкой республики в 1923 г. там осело 1,6 млн лиц балканского происхождения⁴⁶. Впрочем, звучат и большие цифры: по некоторым оценкам, с XIX в. в страну переместилось от 3 до 7 млн выходцев с Балкан⁴⁷.

Число турок, проживающих на Западных Балканах, гораздо скромнее, тем не менее они представлены во всех странах региона, включая Косово. Согласно официальным данным, в 2019 г. в Северной Македонии насчитывалось 12 тыс. турецких граждан, в Албании — 8 тыс., в БиГ — 10,7 тыс., в Косово — 3,5 тыс., в Черногории — 2 тыс., в Сербии — 0,6 тыс.⁴⁸ И это только зарегистрированные формально, информацией о которых располагают турецкие дипломатические миссии. Реальное количество граждан Турции в Западных Балканах может быть существенно большим, хотя с 2012 г., после внесения в турецкое избирательное законодательство поправок, предусматривающих возможность голосования за рубежом, их учет стал более внимательным.

Совершенно другие, отличающиеся на порядок цифры фигурируют в контексте не гражданской, а этнической и конфессиональной идентичности. Речь идет о турках, принявших гражданство страны проживания, но сохранивших культурно-религиозную самобытность. Здесь особенно выделяются Северная Македония и Косово, где они составляют треть (83,5 тыс. человек)⁴⁹ и пятую (18,8 тыс.)⁵⁰ по численности группу соответственно. В остальных западнобалканских странах турки «по происхождению и ощущению», вероятно, вошли в категорию «другие» (как, например, в Сербии, где она охватывает около 10% населения⁵¹) либо в число лиц, не указавших свою этническую принадлежность (в частности, в Черногории таких практически 5%⁵²). В случае с этноконфессиональной идентичностью мы имеем обратную, по сравнению с описанной выше, ситуацию: поскольку показатели численности тут строятся на субъективном самовосприятии респондентов, они могут быть завышены, охватывая не только этнических турок, но и мусульман нетурецкого происхождения, которые, «следуя османской традиции ассоциировать ислам с турецким народом»⁵³, причисляют себя к нему.

Примечательно, однако, что соответствующий рейтинг возглавляет Северная Македония, где ислам исповедуют лишь 32,2% жителей⁵⁴,

⁴⁴ Аватков 2023: 113.

⁴⁵ Энтина 2022: 400—401.

⁴⁶ İçduygu and Sert 2015: 86.

⁴⁷ Свистунова 2020: 66; Энтина 2022: 401.

⁴⁸ Buuyuk, Clapp, and Haxhijaj 2019.

⁴⁹ <https://www.mfa.gov.tr/makedonya-kunyesi.tr.mfa>.

⁵⁰ <https://www.mfa.gov.tr/kosova-kunyesi.tr.mfa>.

⁵¹ <https://www.mfa.gov.tr/sirbistan-kunyesi.tr.mfa>.

⁵² <https://www.mfa.gov.tr/karadag-kunyesi.en.mfa>.

⁵³ Свистунова 2020: 65.

⁵⁴ North Macedonia 2021: 2.

⁵⁵ *Kosovo 2021: 2.*

⁵⁶ *Albania 2021: 2.*

⁵⁷ *Bosnia and Herzegovina 2021: 3.*

⁵⁸ *Kyuchukov 2018: 9.*

⁵⁹ *Аватков и Сбитнева 2022: 296—297.*

⁶⁰ *Свистунова 2020: 68.*

⁶¹ *Buyuk, Clapp, and Haxhiaj 2019.*

⁶² *Flood 2018.*

⁶³ <https://www.aa.com.tr/en/infographics/turkey-boasts-no-5-diplomatic-network-in-the-world/1058710>.

⁶⁴ <https://digital-diplomacy-index.com/index/>.

а не западнобалканские лидеры по доле мусульман среди населения — Косово (93%⁵⁵), Албания (59%⁵⁶) и БиГ (51%⁵⁷). Наибольшее удивление в этом плане вызывает БиГ, «которую Турция рассматривает как братскую страну, своего рода плацдарм для восстановления своего исторического влияния на Балканах»⁵⁸.

Кейс самоидентификации «турок» на Западных Балканах иллюстрирует как тот факт, что во «внешнеполитической плоскости религиозный аспект во многих случаях тесно переплетается с этнонациональным»⁵⁹, так и то, что транслируемый вовне образ Турции как одного из мощных центров притяжения для всего исламского мира и «заступницы мусульман» встречает понимание и одобрение по крайней мере у части целевой аудитории на Западных Балканах. Несомненно, где-то реакция на меседж Анкары более сдержанная, а отношение — скорее настороженное. Однако, как свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного в 2012 г. в восьми государствах региона, при ответе на вопрос: «В какой стране Вы хотели бы жить, если надо было бы выбрать вторую родину?» — Турция оказывается «абсолютным лидером по притягательности для мусульман во всех балканских странах»⁶⁰.

Разумеется, с точки зрения численности граждан Турции — резидентов западнобалканские страны уступают некоторым своим соседям, и в одной только Болгарии их почти вдвое больше (60 тыс. человек⁶¹), чем во всех этих странах вместе взятых. Но само их наличие укрепляет турецкое присутствие, делает его заметным в повседневной жизни Западных Балкан. Так, в кафе Нови Пазара, города на юге Сербии с преимущественно мусульманским населением, стамбульские футбольные клубы «Фенербахче» или «Галатасарай» вызывают куда больше эмоций, чем белградские «Црвена звезда» или «Партизан». Примечательно, что в 2018 г. почетным гражданином этого города был объявлен Эрдоган, и в том же году комиссия городского совета Сараево отказалась присвоить аналогичный титул лауреату Нобелевской премии по литературе Орхану Памуку, известному своим критическим отношением к турецким властям. По мнению ряда экспертов, отзыв ранее единогласно принятого решения о награждении писателя объяснялся именно давлением со стороны Турции⁶².

И Турция вполне способна оказать такое давление. Располагая пятой по величине дипломатической сетью в мире⁶³, в 2023 г. страна заняла четвертое место среди государств G-20 по индексу цифровой дипломатии, значительно опередив Великобританию, Россию, Германию и других тяжеловесов мировой политики⁶⁴. Правда, судя по методологии расчетов, этот индекс, теоретически призванный фиксировать общую картину онлайн-влияния в международной сфере, скорее отражает уровень соответствующей активности отдельных ведомств и структур анализируемых стран (главы государства, министерства и министра иностранных дел, посольств и т.п.). Однако по любому из этих показателей Турция сегодня входит в топ-5. Вполне вероятно, что недавнее

масштабное землетрясение, не только приведшее к многочисленным жертвам, но и нанесшее тяжелый удар по экономике страны, внесет коррективы в ее мощь и потенциал на международной арене, но на данном этапе она — сильнейший региональный игрок.

**Многовекторность
усилий Анкары**

Помимо набирающей обороты экономической активности (на фоне низкой исходной базы прогресс исчисляется сотнями процентов⁶⁵), заслуживают внимания и усилия Турции по развитию сотрудничества с западнобалканскими государствами в религиозной, культурной и образовательной сферах, а также в здравоохранении. К слову, до недавнего времени единственной в регионе страной, где не было больницы, управляемой турецким холдингом или материнской компанией, оставалась Черногория, но сегодня такая больница действует и там⁶⁶. Быстрыми темпами Турция осваивает образовательное пространство Западных Балкан, поддерживая существующие и учреждая новые религиозные и светские учебные заведения. Эта работа ведется с 1990-х годов, и к настоящему моменту сетью прямо или косвенно связанных с Турцией образовательных учреждений охвачен весь регион. В странах с преобладанием мусульманского населения республика играет существенную роль в системе религиозного образования.

Восстановление и строительство мечетей и других объектов исламской инфраструктуры — важная сфера вложений Анкары. Вхождение Турции в уже реализуемые проекты религиозной направленности и выдвижение ею новых инициатив воспринимаются в ЕС и на Западе в целом гораздо спокойнее, чем аналогичная деятельность Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Кувейта. С началом «новой эры» во внешней политике Турции она всячески отстаивает свое «право выступать в качестве „защитницы“ мусульман на Западных Балканах»⁶⁷. И здесь порой проводятся аналогии с Россией и ее защитой «панславянских интересов и идей»⁶⁸ в регионе.

Военное сотрудничество Турции со странами региона развивается как в формате двусторонних отношений, так и в рамках Североатлантического альянса. Анкара регулярно выступает с инициативами в данной сфере. Вместе с тем по состоянию на март 2020 г. турецкие вооруженные силы на Западных Балканах были представлены лишь одной мотопехотной ротой и шестью группами связи и наблюдения общей численностью 368 человек, вместе с войсками других стран осуществлявшими «поддерживающую» миссию в регионе⁶⁹.

С тех пор, когда Турция была лишь «частью более широкого международного присутствия на Балканах»⁷⁰ и ее успехи и неудачи в регионе оценивались именно с этих позиций, несомненно, произошли значительные изменения — и в степени ее солидаризации с партнерами, и в уровне внешнеполитической автономности, и в самой стратегии на западнобалканском направлении. Оценивая современную стратегию страны применительно к Ближнему Востоку, исследователи указывают

⁶⁵ *Rrustemi et al.* 2019: 135.

⁶⁶ <http://www.livhospital.me/>.

⁶⁷ *Vračić* 2016: 6.

⁶⁸ *Rrustemi et al.* 135.

⁶⁹ *Egeresi* 2021: 121.

⁷⁰ *Rüma* 2010: 135.

на серьезные ее издержки, отмечая, что некоторые шаги Анкары выглядят «внешнеполитическими зигзагами и метаниями», а ее действия «приобретают порой непредсказуемый, хаотичный, а временами даже агрессивный характер», но вместе с тем обращают внимание на «ощутимые признаки обретения Турцией курса на проведение значительно более ответственной и взвешенной внешней политики»⁷¹. Эта оценка вполне может быть экстраполирована на западнобалканский вектор турецкой политики. Здесь точно так же наблюдаются «ощутимые признаки» поиска и обретения Турцией собственного курса. При этом, все больше конкурируя с ЕС за региональное влияние, она переходит от «тестирования» границ в регионе к их оспариванию⁷².

⁷¹ *Мальшева*
2017: 179.

⁷² *Dursun-Özkanca*
2019: 60.

Не умаляя значимости политической воли, настойчивости, разносторонности усилий и, как следствие, успехов Турции в продвижении своих интересов на Западных Балканах, нельзя упускать из вида и «при- тормаживающие» движение факторы. Наиболее очевидные из них лежат в экономической плоскости. Да, выстраивание сети эффективных контактов, создание благоприятных условий для сотрудничества (в том числе путем отмены или снижения тарифов и пошлин), мощное инвестирование и т.п. порождают отчетливо выраженный рост, причем не только с точки зрения количества и качества экономического взаимодействия сторон, но и в плане политических дивидендов для их представителей. Но это не меняет главного: западнобалканский рынок пока не привлекателен для турецкого бизнеса, во всяком случае в искомом политическими лидерами и декларируемом ими объеме. Статистика неумолима: Турция и Западные Балканы не являются друг для друга торговыми партнерами № 1. Несмотря на все заявления об особой роли, исключительном экономическом и торговом значении, Турция больше торгует с ЕС, Китаем и Россией, а Западные Балканы — с ЕС, который вот уже много лет удерживает абсолютное лидерство в этой сфере. Поэтому, выйдя за рамки деклараций, в экономике, как и в политике, можно быстро обнаружить глубокий разрыв «между настоящей турецкой мощью на Западных Балканах и таковой в риторике политических лидеров, предназначенной главным образом для внутреннего потребления»⁷³.

⁷³ *Aydintaşbaş*
2019: 19.

Далее, при всей широте используемого Турцией инструментария «мягкой силы», ее потенциал в этой сфере несравним с возможностями, имеющимися у Брюсселя и отдельных членов ЕС. Вообще, в последнее время все чаще высказываются скептические оценки турецких достижений на Западных Балканах: «урок, который Турция извлекла из 20 лет интенсивного взаимодействия, заключается в том, что „мягкая сила“ имеет свои пределы»⁷⁴. Этот скепсис касается и традиционного для страны курса на защиту мусульманских общин. С одной стороны, поддержание особых отношений с такими общинами в преимущественно мусульманских районах БиГ, Косово, Албании, Македонии и сербского Санджака привело к ослаблению турецкого влияния на немусульманское население этих земель. С другой стороны, сближение Турции

⁷⁴ *Güzeldere* 2021.

с православной Сербией негативно отразилось на лояльности к «заступнице за мусульман» местных религиозных меньшинств. В итоге Анкаре не удалось убедить общественность Западных Балкан ни в универсальности своего подхода к региону, ни в собственной беспристрастности. При этом не раз уже подвергавшаяся критике «небрежная риторика турецкой публичной дипломатии»⁷⁵ зачастую усугубляет и без того серьезные разногласия между различными этноконфессиональными группами на местах.

⁷⁵ *Vračić 2016: 6*

Заключение

Проведенный анализ еще раз подтверждает, что логика обстоятельств бывает сильнее логики намерений: для западнобалканских стран Турция не является ни альтернативой ЕС, ни даже влиятельным экономическим игроком в регионе. В то время как во внешнеполитическом плане Анкара рассматривает Западные Балканы как стратегическую точку, где нужно наращивать свое экономическое присутствие и влияние, турецкий бизнес не испытывает большого интереса к местным рынкам, не считает их привлекательными и перспективными⁷⁶.

⁷⁶ *Jusufi and Ukaj 2021: 154.*

В ближайшем будущем Турция продолжит быть «спойлером» политики ЕС на Западных Балканах⁷⁷. По-видимому, в ее региональной стратегии сохраняют доминирование оформившиеся тренды. Но, учитывая тяжелейшие последствия землетрясения 6 февраля 2023 г., как никогда остро будет стоять вопрос ее ресурсности в самом прямом значении этого понятия. Кроме того, Турции как региональной державе придется соотносить свои цели и задачи с действиями геополитических грандов, формирующих мировую повестку, в том числе и на балканском направлении. Не вызывает сомнений, что с обострением международной ситуации борьба за влияние на «слабом фланге Европы»⁷⁸ будет только усиливаться. А это значит, что коридор возможностей для Турции останется открытым.

⁷⁷ *Dursun-Özkanca 2019: 39.*

⁷⁸ *Massara 2022.*

Библиография

Аватков В.А. (2023) «Турецкая Республика накануне своего столетия» // *Свободная мысль*, № 1: 111—115.

Аватков В.А. и А.И.Сбитнева. (2020) «Политический курс современной Турции. Главные особенности внутренней и внешней политики 2019 г.» // *Свободная мысль*, № 2: 115—128.

Аватков В.А. и А.И.Сбитнева. (2022) «Новый национализм Турецкой Республики» // *Вестник РУДН. Серия: Политология*, т. 24, № 2: 291—302. URL: <https://journals.rudn.ru/political-science/article/viewFile/31116/20734> (проверено 11.03.2023).

Андреев В. (2021) «Стратегия Турецкой Республики на Западных Балканах» // *Российский совет по международным делам*, 5.03. URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/sandbox/strategiya-turetskoy-respubliki-na-zapadnykh-balkanakh/> (проверено 11.03.2023).

Гуськова Е.Ю. (2009) «Бутмир и натоизация Балкан» // *Фонд стратегической культуры*, 21.12. URL: <https://www.guskova.info/nov/2009-12-21.html> (проверено 11.03.2023).

Исламов Д. (2022) «„Хочу быть владычицей морской“: Турция как потенциальный посредник на Западных Балканах» // *Российский совет по международным делам*, 22.09. URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/europeanpolicy/khochu-byt-vladychitseymorskoy-turtsiya-kak-potentsialnyy-posrednik-na-zapadnykh-balkanakh/> (проверено 10.03.2023).

Калоева Е.Б. (2017) «Балканы между Западом и Россией: Взгляд сквозь призму общественного мнения» // *Актуальные проблемы Европы*, № 3: 83—113.

Лобанов К.Н. и В.В.Шахов. (2017) «Западные Балканы как объект геополитического анализа современной ситуации в регионе» // *Средне-русский вестник общественных наук*, т. 12, № 4: 56—67.

Малышева Д.Б. (2017) «Политическая трансформация Турции в контексте референдума 16 апреля» // *Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право*, т. 10, № 2: 167—180.

Мамедов И.М. (2021) «Доктрина „стратегической глубины“ А.Давутоглу и Балканы» // *Славянский альманах*, № 3—4: 126—147. URL: https://inslav.ru/sites/default/files/editions/slav_alm_2021_3-4.pdf (проверено 10.03.2023).

Мамедов И.М. (2022) «Реджеп Тайип Эрдоган: Первый всенародно избранный президент Республики Турция» // Никифоров К.В., ред. *Новая элита в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: политические портреты. Конец XX — начало XXI в.* М.: Институт славноведения РАН; СПб.: Нестор-История: 521—559.

Мамедов Р. (2016) «Турецкий поворот: снова на пути к „нулю проблем с соседями“?» // *Российский совет по международным делам*, 21.07. URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/turetskiy-povorot-snova-na-puti-k-nulyu-problem-s-sosedyami/> (проверено 10.03.2023).

Меликян Т. (2022) «Какую роль в мировых делах играет Анкара, и хорошо ли это у нее получается» // *Профиль*, 31.10. URL: <https://profile.ru/politics/kakuju-rol-v-mirovyh-delah-igraet-ankara-i-udaetsya-li-eyeto-1188147/> (проверено 10.03.2023).

Мехдиев Э.Т. (2016) «„Неоосманизм“ в региональной политике Турции» // *Вестник МГИМО-Университета*, № 2 (47): 32—39.

Пономарева Е.Г. и Д.Д.Крыканов. (2020) «Балканское дыхание Пекина (Стратегия и тактика китайского присутствия в странах Западных Балкан)» // *Полития*, № 1 (96): 117—137. URL: [http://politeia.ru/files/articles/rus/Politeia-2020-1\(96\)-117-137.pdf](http://politeia.ru/files/articles/rus/Politeia-2020-1(96)-117-137.pdf) (проверено 10.03.2023).

Свистунова И.А. (2020) «Балканская политика Турции: роль этноконфессиональных меньшинств» // *Современная Европа*, № 4: 61—71. URL: http://www.sov-europe.ru/images/pdf/2020/4-2020/Svistunova_4-20.pdf (проверено 10.03.2023).

Энтина Е.Г. (2022) *Незападные Балканы*. М.: Галактика; «Зебра Е». *Albania 2021 International Religious Freedom Report*. URL: <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/04/ALBANIA-2021-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM-REPORT.pdf> (accessed on 11.03.2023).

Address by H.E.Ahmet Davutoğlu, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey at the Ministerial Meeting of the SEECP, 22 June 2010, İstanbul. URL: https://www.mfa.gov.tr/address-by-h_e_-ahmet-davutoglu_-minister-of-foreign-affairs-of-republic-of-turkey-at-the-ministerial-meeting-of-seecp_istanbul.en.mfa (accessed on 11.03.2023).

Aydintaşbaş A. (2019) «From Myth to Reality: How to Understand Turkey's Role in the Western Balkans» // *Policy Brief*, 13.03. URL: https://ecfr.eu/publication/from_myth_to_reality_how_to_understand_turkeys_role_in_the_western_balkans/ (accessed on 11.03.2023).

Bechev D. (2012) «Turkey in the Balkans: Taking a Broader View» // *Insight Turkey*, vol. 14, no. 1: 131–146.

Bosnia and Herzegovina 2021 International Religious Freedom Report. URL: <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/04/BOSNIA-AND-HERZEGOVINA-2021-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM-REPORT.pdf> (accessed on 11.03.2023).

Buyuk H.F., A.Clapp, and S.Haxhijaj. (2019) «Diaspora Politics: Turkey's New Balkan Ambassadors» // *BalkanInsight*, 19.03. URL: <https://balkaninsight.com/2019/03/19/diaspora-politics-turkeys-new-balkan-ambassadors/> (accessed on 11.03.2023).

Davutoğlu A. (2013) «Zero Problems in a New Era» // *Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Türkiye*, 11.03. URL: <https://www.mfa.gov.tr/zero-problems-in-a-new-era.en.mfa> (accessed on 11.03.2023).

Dorsey J.M. (2022) «In Turkey, Zero Problems with Neighbors Mean Multiple Problems» // *ModernDiplomacy*, 8.09. URL: <https://modern diplomacy.eu/2022/09/08/in-turkey-zero-problems-with-neighbours-mean-multiple-problems/> (accessed on 11.03.2023).

Dursun-Özkanca O. (2019) «Turkish Foreign Policy in the Western Balkans» // Dursun-Özkanca O. *Turkey-West Relations: The Politics of Intra-alliance Opposition*. Cambridge: Cambridge University Press: 38–62.

Egeresi Z. (2021) «Turkey in the Western Balkans: Between Kin State Ambitions and Pragmatism» // Varga G. and T.L.Molnár, eds. *Western Balkans Playbook: Competition for Influence of Foreign Actors*. Budapest: Institute for Foreign Affairs and Trade: 111–138.

Ekinci M.U. (2014) «A Golden Age of Relations: Turkey and the Western Balkans During the AK Party Period» // *Insight Turkey*, vol. 16, no. 3: 107–108.

Ekinci M.U. (2019) «Turkey's Balkan Policy and Its Skeptics» // *Insight Turkey*, vol. 21, no. 2: 37–49.

Flood A. (2018) «Pressure from Turkey Blamed as Sarajevo Reverses Decision to Honour Orhan Pamuk» // *The Guardian*, 20/02. URL: <https://www.theguardian.com/books/2018/feb/20/sarajevo-reverses-decision->

to-make-orhan-pamuk-honorary-citizen-turkey-erdogan (accessed on 11.03.2023).

Gotev G. and N.Bulckaert. (2018) «Erdogan Mobilizes Diaspora, „Friends“ in Balkans» // *Euractiv*, 18.05. URL: <https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/erdogan-mobilises-diaspora-friends-in-balkans/> (accessed on 11.03.2023).

Güzeldere E.E. (2021) «Turkey’s Soft Power in the Balkans Reaching Its Limits» // *ELIAMEP*, 1.07. URL: <https://www.eliamep.gr/en/publication/τα-όρια-της-ήπιας-ισχύος-της-τουρκίας-σ/> (accessed on 11.03.2023).

İçduygu A. and D.Sert. «The Changing Waves of Migration from the Balkans to Turkey: A Historical Account» // Vermeulen H., M.Baldwin-Edwards, and R. van Boeschoten, eds. *Migration in the Southern Balkans: From Ottoman Territory to Globalized Nation States*. Berlin: Springer Open: 85—104.

Jusufi G. and F.Ukaj. (2021) «Turkey’s Trade with Western Balkans: Looking beyond the Turkish Foreign Policy» // *Intereulaweast*, vol. VIII, no. 2: 133—160. URL: <https://hrcak.srce.hr/file/392855> (accessed on 12.03.2023).

Koç Z.E. and M.Önsoy. (2018) «An Evaluation of Turkey’s Western Balkans Policy under the AKP and Prospects for the Post-Davutoğlu Era» // *SUTAD*, no. 43: 355—367.

Kosovo 2021 International Religious Freedom Report. URL: <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/04/KOSOVO-2021-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM-REPORT.pdf> (accessed on 11.03.2023).

Krastev I. (2018) «Eastern Europe’s Illiberal Revolution. The Long Road to Democratic Decline» // *Foreign Affairs*, 16.04. URL: <https://www.foreignaffairs.com/articles/hungary/2018-04-16/eastern-europes-illiberal-revolution> (accessed on 12.03.2023).

Kyuchukov L. (2018) «Balkan Islam and Radicalization: a Barrier in Front of the Bridge» // *Balkan Islam: a Barrier or a Bridge for Radicalization?* Sofia: Friedrich Ebert Stiftung: 5—19.

Massara G. (2022) «How the Ukraine War Deepens Divisions Across the Balkans» // *Aspenia Online*, 28.04. URL: <https://aspeniaonline.it/how-the-ukraine-war-deepens-divisions-across-the-balkans/> (accessed on 12.03.2023).

North Macedonia 2021 International Religious Freedom Report. URL: <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/05/NORTH-MACEDONIA-2021-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM-REPORT.pdf> (accessed on 11.03.2023).

Rakipi A. (2022) «Albanian Turkey Relations — The Perils of Change» // *Tirana Observatory. Foreign Policy and International Relations*, 9.03. URL: https://tiranaobservatory.com/2022/03/09/albanian-turkish-relations-the-perils-of-change/#_ftn1 (accessed on 12.03.2023).

Rašidagić E.K. and Z.Hesova. (2020) «Development of Turkish Foreign Policy Towards the Western Balkans with Focus on Bosnia and Herzegovina» // *Croatian International Relations Review*, vol. 26, no. 86: 96—129.

Rrustemi A., R. de Wijk, C. Dunlop, J. Perovska, and L. Palushi. (2019) *Geopolitical Influences of External Powers in the Western Balkans*. Hague: Hague Centre for Strategic Studies. URL: https://hcss.nl/wp-content/uploads/2021/01/Geopolitical-Influences-of-External-Powers-in-the-Western-Balkans_0.pdf (accessed on 12.03.2023).

Rüma I. (2010) «Turkish Foreign Policy Towards the Balkans: New Activism, Neo-Ottomanism or/so What?» // *Turkish Policy Quarterly*, vol. 9, no. 4: 133–140. URL: http://turkishpolicy.com/pdf/vol_9-no_4-ruma.pdf (accessed on 12.03.2023).

Shehu R. (2021) «Next Generation Turkey and Its Foreign Policy in the Western Balkans» // *Eastern-Focus*, March. URL: <https://www.eastern-focus.eu/2021/03/next-generation-turkey-and-its-foreign-policy-in-the-western-balkans/> (accessed on 12.03.2023).

Vračić A. (2016) *Turkey's Role in the Western Balkans*. SWP Research Paper. URL: https://www.swp-berlin.org/publications/products/research_papers/2016RP11_vcc.pdf (accessed on 12.03.2023).

Zalewsky P. (2013) «How Turkey Went from „Zero Problems“ to Zero Friends» // *Foreign Policy*, 22.04. URL: <https://foreignpolicy.com/2013/08/22/how-turkey-went-from-zero-problems-to-zero-friends/> (accessed on 12.03.2023).



E.S.Arlyapova, E.G.Ponomareva
ANKARA'S ACTIVATION
IN THE WESTERN BALKANS
APPROACHES, TOOLS, AND COMPONENTS

Elena S. Arlyapova — Ph.D. in Political Science; Research Fellow at the Institute for System-Strategic Analysis (ISAN). Email: elena.s.arlyapova@gmail.com.

Elena G. Ponomareva — Doctor of Political Science, Professor at the Comparative Politics Department of Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University). Email: nastya304@mail.ru.

Abstract. In recent years, Turkey has increasingly moved away from the affiliation with the powers of the transatlantic bloc and seeks to play its own game. There are several reasons why Ankara has a special interest in the Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina, North Macedonia, Serbia, Montenegro, and the self-proclaimed Republic of Kosovo): historical, socio-

cultural, religious and geographical proximity; the absence of strict institutional restrictions due to the stalling of the process of the inclusion of the Western Balkans into the EU; the complex history of the relations between Turkey itself and Brussels, as well as Turkey's political ambitions and claims for regional leadership. All these factors increase the chances of the Republic of Turkey to gain a foothold in the Balkans as a serious player. The fact that the region is formally outside the EU expands the opportunities for political maneuvering both for Ankara and for the Western Balkan capitals.

The article focuses on four analytical blocks: the evolution of Turkey's foreign policy strategy; its integration proposals for the countries in the region as an attempt to replace Brussels' initiatives; ethno-religious and migration components of the Turkish influence; tools of socio-cultural penetration. The analysis carried out by the authors shows that, despite Turkey's well-thought-out strategy, the resources involved, the political will and perseverance, in the medium term the country is unlikely to become an alternative to the EU for the Western Balkan countries, or even an influential economic player in the region. Ankara will have to continue to weight its goals against the actions of the geopolitical grandees. At the same time, since the struggle for influence in southern Europe is only going to intensify in the face of the deepening international conflict, the corridor of opportunities for Ankara remains open.

Keywords: Western Balkans, Turkey, foreign policy, neo-Ottomanism, Erdoganism, socio-humanitarian cooperation, ethno-religious factor, soft power

References

Address by H.E.Ahmet Davutoğlu, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey at the Ministerial Meeting of the SEECP, 22 June 2010, İstanbul. URL: https://www.mfa.gov.tr/address-by-h_e_ahmet-davutoglu_-minister-of-foreign-affairs-of-republic-of-turkey-at-the-ministerial-meeting-of-seecp_istanbul.en.mfa (accessed on 11.03.2023).

Albania 2021 International Religious Freedom Report. URL: <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/04/ALBANIA-2021-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM-REPORT.pdf> (accessed on 11.03.2023).

Andreev V. (2021) “Strategija Turetskoj Respubliki na Zapadnykh Balkanakh” [Strategy of the Republic of Turkey in the Western Balkans] // *Rossij-skij sovet po mezhdunarodnym delam* [Russian International Affairs Council], 5.03. URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/sandbox/strategiya-turetskoj-respubliki-na-zapadnykh-balkanakh/> (accessed on 11.03.2023) (In Russ.)

Avatkov V.A. (2023) “Turetskaja Respublika nakanune svoego stoletija” [The Turkish Republic on the Eve of Its Centenary] // *Svobodnaja mysl'* [Free Thought], no. 1: 111–115. (In Russ.)

Avatkov V.A. and A.I.Sbitneva. (2020) “Politicheskij kurs sovremennoj Turtsii. Glavnye osobennosti vnutrennej i vneshnej politiki 2019 g.” [Political

Course of Modern Turkey. The Main Features of Domestic and Foreign Policy of 2019] // *Svobodnaja mysl'* [Free Thought], no. 2: 115—128. (In Russ.)

Avatkov V.A. and A.I.Sbitneva. (2022) “Novyj natsionalizm Turetskoj Respubliki” [New Nationalism of Turkish Republic] // *Vestnik RUDN. Serija: Politologija* [RUDN Journal of Political Science], vol. 24, no. 2: 291—302. URL: <https://journals.rudn.ru/political-science/article/viewFile/31116/20734> (accessed on 11.03.2023). (In Russ.)

Aydintaşbaş A. (2019) “From Myth to Reality: How to Understand Turkey’s Role in the Western Balkans” // *Policy Brief*, 13.03. URL: https://ecfr.eu/publication/from_myth_to_reality_how_to_understand_turkeys_role_in_the_western_balkans/ (accessed on 11.03.2023).

Bechev D. (2012) “Turkey in the Balkans: Taking a Broader View” // *Insight Turkey*, vol. 14, no. 1: 131—146.

Bosnia and Herzegovina 2021 International Religious Freedom Report. URL: <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/04/BOSNIA-AND-HERZEGOVINA-2021-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM-REPORT.pdf> (accessed on 11.03.2023).

Buyuk H.F., A.Clapp, and S.Haxhijaj. (2019) “Diaspora Politics: Turkey’s New Balkan Ambassadors” // *BalkanInsight*, 19.03. URL: <https://balkaninsight.com/2019/03/19/diaspora-politics-turkeys-new-balkan-ambassadors/> (accessed on 11.03.2023).

Davutoğlu A. (2013) “Zero Problems in a New Era” // *Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Türkiye*, 11.03. URL: <https://www.mfa.gov.tr/zero-problems-in-a-new-era.en.mfa> (accessed on 11.03.2023).

Dorsey J.M. (2022) “In Turkey, Zero Problems with Neighbors Mean Multiple Problems” // *ModernDiplomacy*, 8.09. URL: <https://modern diplomacy.eu/2022/09/08/in-turkey-zero-problems-with-neighbours-mean-multiple-problems/> (accessed on 11.03.2023).

Dursun-Özkanca O. (2019) “Turkish Foreign Policy in the Western Balkans” // Dursun-Özkanca O. *Turkey-West Relations: The Politics of Intra-alliance Opposition*. Cambridge: Cambridge University Press: 38—62.

Egeresi Z. (2021) “Turkey in the Western Balkans: Between Kin State Ambitions and Pragmatism” // Varga G. and T.L.Molnár, eds. *Western Balkans Playbook: Competition for Influence of Foreign Actors*. Budapest: Institute for Foreign Affairs and Trade: 111—138.

Ekinci M.U. (2014) “A Golden Age of Relations: Turkey and the Western Balkans During the AK Party Period” // *Insight Turkey*, vol. 16, no. 3: 107—108.

Ekinci M.U. (2019) “Turkey’s Balkan Policy and Its Skeptics” // *Insight Turkey*, vol. 21, no. 2: 37—49.

Entina E.G. (2022) *Nezapadnye Balkany* [Non-Western Balkans]. Moscow: Galaktika; “Zebra E”. (In Russ.)

Flood A. (2018) “Pressure from Turkey Blamed as Sarajevo Reverses Decision to Honour Orhan Pamuk” // *The Guardian*, 20/02. URL: <https://www.theguardian.com/books/2018/feb/20/sarajevo-reverses-decision-to-make-orhan-pamuk-honorary-citizen-turkey-erdogan> (accessed on 11.03.2023).

Gotev G. and N.Bulckaert. (2018) “Erdogan Mobilizes Diaspora, „Friends“ in Balkans” // *Euractiv*, 18.05. URL: <https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/erdogan-mobilises-diaspora-friends-in-balkans/> (accessed on 11.03.2023).

Guskova E.Yu. (2009) “Butmir i natoizatsija Balkan” [Butmir and the Natoization of the Balkans] // *Fond strategicheskoy kul'tury* [Strategic Culture Foundation], 21.12. URL: <https://www.guskova.info/now/2009-12-21.html> (accessed on 11.03.2023). (In Russ.)

Güzeldere E.E. (2021) “Turkey’s Soft Power in the Balkans Reaching Its Limits” // *ELIAMEP*, 1.07. URL: <https://www.eliamep.gr/en/publication/τα-όρια-της-ήπιας-ισχύος-της-τουρκίας-σ/> (accessed on 11.03.2023).

İçduygu A. and D.Sert. “The Changing Waves of Migration from the Balkans to Turkey: A Historical Account” // Vermeulen H., M.Baldwin-Edwards, and R. van Boeschoten, eds. *Migration in the Southern Balkans: From Ottoman Territory to Globalized Nation States*. Berlin: Springer Open: 85—104.

Islamov D. (2022) “„Khochu byt’ vladychitsej morskoy“: Turtsija kak potentsial’nyj posrednik na Zapadnykh Balkanakh” [“I Want to Be the Mistress of the Sea”: Turkey as a Potential Mediator in the Western Balkans] // *Rossijskij sovet po mezhdunarodnym delam* [Russian International Affairs Council], 22.09. URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/europeanpolicy/khochu-byt-vladychitsej-morskoy-turtsiya-kak-potentsialnyj-posrednik-na-zapadnykh-balkanakh/> (accessed on 10.03.2023) (In Russ.)

Jusufi G. and F.Ukaj. (2021) “Turkey’s Trade with Western Balkans: Looking beyond the Turkish Foreign Policy” // *Intereulaweast*, vol. VIII, no. 2: 133—160. URL: <https://hrcak.srce.hr/file/392855> (accessed on 12.03.2023).

Kaloeva E.B. (2017) “Balkany mezhdou Zapadom i Rossiej: Vzglyad skvoz’ prizmu obshchestvennogo mnenija” [Balkans between the West and Russia: Through the Prism of Public Opinion] // *Aktual’nye problemy Evropy* [Current Problems of Europe], no. 3: 83—113. (In Russ.)

Koç Z.E. and M.Önsoy. (2018) “An Evaluation of Turkey’s Western Balkans Policy under the AKP and Prospects for the Post-Davutoğlu Era” // *SUTAD*, no. 43: 355—367.

Kosovo 2021 International Religious Freedom Report. URL: <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/04/KOSOVO-2021-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM-REPORT.pdf> (accessed on 11.03.2023).

Krastev I. (2018) “Eastern Europe’s Illiberal Revolution. The Long Road to Democratic Decline” // *Foreign Affairs*, 16.04. URL: <https://www.foreignaffairs.com/articles/hungary/2018-04-16/eastern-europes-illiberal-revolution> (accessed on 12.03.2023).

Kyuchukov L. (2018) “Balkan Islam and Radicalization: a Barrier in Front of the Bridge” // *Balkan Islam: a Barrier or a Bridge for Radicalization?* Sofia: Friedrich Ebert Stiftung: 5—19.

Lobanov K.N. and V.V.Shakhov. (2017) “Zapadnye Balkany kak ob’ekt geopoliticheskogo analiza sovremennoj situatsii v regione” [Western Balkans

as an Object of Geopolitical Analysis of the Current Situation in the Region] // *Srednerusskij vestnik obshchestvennykh nauk* [Central Russian Journal of Social Sciences], vol. 12, no. 4: 56–67. (In Russ.)

Malysheva D.B. (2017) “Politicheskaja transformatsija Turtsii v kontekste referendum 16 aprelja” [Political Transformation of Turkey in the Context of the Referendum on 16 April] // *Kontury global’nykh transformatsij: politika, ekonomika, pravo* [Outlines of Global Transformations: Politics, Economics, Law], vol. 10, no. 2: 167–180. (In Russ.)

Mamedov I.M. (2021) “Doktrina „strategicheskoy glubiny“ A.Davutoglu i Balkany” [A.Davutoglu’s Doctrine of Strategic Depth and the Balkans] // *Slavjanskij al’manakh* [Slavic Almanac], no. 3–4: 126–147. URL: https://inslav.ru/sites/default/files/editions/slav_alm_2021_3-4.pdf (accessed on 10.03.2023). (In Russ.)

Mamedov I.M. (2022) “Redzhap Tajip Erdogan: Pervyj vsenarodno izbrannyj prezident Respubliki Turtsija” [Recep Tayyip Erdogan: The First Popularly Elected President of the Republic of Turkey] // Nikiforov K.V., ed. *Novaja elita v stranakh Tsentral’noj i Jugo-Vostochnoj Evropy: politicheskie portrety. Konets 20 — nachalo 21 v.* [New Elite in the Countries of Central and South-Eastern Europe: Political Portraits. End of 20th — Beginning of 21st Century]. Moscow: Institut slavjanovedenija RAN; St Petersburg: Nestor-Istorija: 521–559. (In Russ.)

Mamedov R. (2016) “Turetskij povorot: snova na puti k „nulju problem s sosedyami“?” [Turkish Turn: Back on the Road to “Zero Problems with Neighbors”?] // *Rossijskij sovet po mezhdunarodnym delam* [Russian International Affairs Council], 21.07. URL: <https://russianscouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/turetskiy-povorot-snova-na-puti-k-nulyu-problem-s-sosedyami/> (accessed on 10.03.2023). (In Russ.)

Massara G. (2022) “How the Ukraine War Deepens Divisions Across the Balkans” // *Aspenia Online*, 28.04. URL: <https://aspensiaonline.it/how-the-ukraine-war-deepens-divisions-across-the-balkans/> (accessed on 12.03.2023).

Mekhdiev E.T. (2016) “„Neoosmanizm“ v regional’noj politike Turtsii” [“Neo-Ottomanism” in the Regional Policy of Turkey] // *Vestnik MGIMO-Universiteta* [MGIMO Review of International Relations], no. 2 (47): 32–39. (In Russ.)

Melikyan T. (2022) “Kakuju rol’ v mirovykh delakh igraet Ankara, i khorosho li eto u nee poluchaetsja” [What Role Does Ankara Play in World Affairs, and Is It Good at It?] // *Profil* [Profile], 31.10. URL: <https://profil.ru/politics/kakuju-rol-v-mirovyh-delah-igraet-ankara-i-udaetsya-li-eto-1188147/> (accessed on 10.03.2023). (In Russ.)

North Macedonia 2021 International Religious Freedom Report. URL: <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/05/NORTH-MACEDONIA-2021-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM-REPORT.pdf> (accessed on 11.03.2023).

Ponomareva E.G. and D.D.Krykanov. (2020) “Balkanskoe dykhanie Pekina (Strategija i taktika kitajskogo prisutstvija v stranakh Zapadnykh

Balkan” [Balkan Breath of Beijing (Strategy and Tactics of Chinese Presence in the Western Balkans)] // *Politeia*, no. 1 (96): 117–137. URL: [http://politeia.ru/files/articles/rus/Politeia-2020-1\(96\)-117-137.pdf](http://politeia.ru/files/articles/rus/Politeia-2020-1(96)-117-137.pdf) (accessed on 10.03.2023). (In Russ.)

Rakipi A. (2022) “Albanian Turkey Relations — The Perils of Change” // *Tirana Observatory. Foreign Policy and International Relations*, 9.03. URL: https://tiranaobservatory.com/2022/03/09/albanian-turkish-relations-the-perils-of-change/#_ftn1 (accessed on 12.03.2023).

Rašidagić E.K. and Z.Hesova. (2020) “Development of Turkish Foreign Policy Towards the Western Balkans with Focus on Bosnia and Herzegovina” // *Croatian International Relations Review*, vol. 26, no. 86: 96–129.

Rrustemi A., R. de Wijk, C.Dunlop, J.Perovska, and L.Palushi. (2019) *Geopolitical Influences of External Powers in the Western Balkans*. Hague: Hague Centre for Strategic Studies. URL: https://hcss.nl/wp-content/uploads/2021/01/Geopolitical-Influences-of-External-Powers-in-the-Western-Balkans_0.pdf (accessed on 12.03.2023).

Rüma I. (2010) “Turkish Foreign Policy Towards the Balkans: New Activism, Neo-Ottomanism or/so What?” // *Turkish Policy Quarterly*, vol. 9, no. 4: 133–140. URL: http://turkishpolicy.com/pdf/vol_9-no_4-ruma.pdf (accessed on 12.03.2023).

Shehu R. (2021) “Next Generation Turkey and Its Foreign Policy in the Western Balkans” // *Eastern-Focus*, March. URL: <https://www.eastern-focus.eu/2021/03/next-generation-turkey-and-its-foreign-policy-in-the-western-balkans/> (accessed on 12.03.2023).

Svistunova I.A. (2020) “Balkanskaja politika Turtsii: rol’ etnokonfesional’nykh men’shinstv” [Turkey’s Policy in the Balkans: The Role of Ethnic and Religious Minorities] // *Sovremennaja Evropa* [Contemporary Europe], no. 4: 61–71. URL: http://www.sov-europe.ru/images/pdf/2020/4-2020/Svistunova_4-20.pdf (accessed on 10.03.2023). (In Russ.)

Vračić A. (2016) *Turkey’s Role in the Western Balkans*. SWP Research Paper. URL: https://www.swp-berlin.org/publications/products/research_papers/2016RP11_vcc.pdf (accessed on 12.03.2023).

Zalewsky P. (2013) “How Turkey Went from „Zero Problems“ to Zero Friends” // *Foreign Policy*, 22.04. URL: <https://foreignpolicy.com/2013/08/22/how-turkey-went-from-zero-problems-to-zero-friends/> (accessed on 12.03.2023).



В.А.Аватков, Д.Г.Евстафьев
ПОСТСОВЕТСКАЯ ЕВРАЗИЯ
В ЗЕРКАЛЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
Ключевые тенденции развития и дилеммы
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ

Владимир Алексеевич Аватков — доктор политических наук, зав. отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН. Для связи с автором: v.avatkov@gmail.com.

Дмитрий Геннадиевич Евстафьев — кандидат политических наук, профессор Института медиа факультета креативных индустрий Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Для связи с автором: devstafiev@hse.ru.

Аннотация. Особенностью текущего момента в развитии постсоветской Евразии является все большее ее вовлечение в процессы передела ранее относительно устойчивого поля мировой политики и экономики. В условиях изменения мировой политической среды регион оказался перед лицом ряда новых вызовов. При этом специфика ситуации заключается в том, что в настоящее время он существует в режиме «постэкономики», когда принципиальной становится проблема самоидентификации как с точки зрения формулирования внутренних целей развития, так и с точки зрения определения своего места в мире.

Усиление внешнего давления на постсоветскую Евразию порождает две противоречивые тенденции: к ослаблению внутренних связей, чреватому разрушением ее целостности, и к консолидации пространства в ответ на экспансию извне. Происходящие в регионе трансформации во многом отражают общемировые тренды, в числе которых усиление роли идеологических аспектов, оттесняющих на задний план экономические соображения, глобальный поиск идейно-ценностных ориентиров, повышение значимости этнической и религиозной принадлежности.

Детально проанализировав разворачивающиеся на евразийском пространстве процессы, авторы приходят к выводу, что важнейшим фактором его дальнейшего развития будет противоборство различных цивилизационных идентичностей. По их оценке, в случае постсоветской Евразии речь идет либо о полной утрате субъектности, либо о частичной утрате экономического суверенитета и сбережении субъектности через полити-

ческую аффилиацию с Россией. Но реализация второго сценария требует от России не только готовности, но и способности взять на себя функции ядра региона.

Ключевые слова: Евразия, постглобальный мир, евразийская интеграция, социокультурная идентичность

Введение

¹ Сутырин 2022.

Тенденции развития современной Евразии, как правило, рассматриваются в контексте политики России и ее конкурентов за влияние на этом пространстве¹. Особенностью же сегодняшнего исторического момента является все большее вовлечение региона в процессы передела ранее относительно устойчивого поля мировой политики и экономики. В условиях трансформации мировой политической среды постсоветская Евразия сталкивается с рядом новых вызовов, а перед Россией встает вопрос о будущем региональной подсистемы — и вместе с тем о ее собственном.

За последние три десятилетия в рамках преодоления советского прошлого Средняя Азия и Южный Кавказ стали приобретать все больше «восточных» черт и, выстраивая свою новую идентичность, делать упор на государственность как таковую. Это особенно отчетливо проявляется в ситуациях, когда постсоветский патернализм как социально-политическая модель начинает давать сбои (примером чему могут служить события в Казахстане в январе 2022 г.)

Наряду с внутренними вызовами, обусловленными необходимостью выработки собственных моделей развития, страны постсоветской Евразии столкнулись с несколькими волнами внешнего «освоения». Все формы внешнего воздействия так или иначе были направлены на подрыв местной истории, встроенной в общую с российской цивилизацией парадигму, и таким образом проблематизировали перспективы сохранения геоэкономической и тем более геополитической целостности евразийского пространства. События последних лет просто сделали этот подход максимально откровенным.

Ситуация, однако, такова, что постсоветская Евразия (вероятно, в большей степени, чем другие подсистемы международных отношений, за исключением разве что Большой Европы) в настоящее время существует в режиме «постэкономики», когда принципиальной становится проблема самоидентификации как с точки зрения формулирования внутренних целей развития, так и с точки зрения определения своего места в мире.

На положение дел в постсоветской Евразии оказывают влияние набирающие силу во всем мире тенденции, связанные с углубляющимися разрывами в политико-экономической деятельности. Эти разрывы формируются не через экономику, а через идеологическую конфронтацию, которая искусственно возводит все новые «железные занавесы». Экономика в данном случае вторична и вынуждена под-

страиваться под новые реалии. Нельзя не согласиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, отмечающим, что система международных отношений сейчас приобретает форму соперничества ценностей и моделей развития².

² Лавров 2017.

На фоне глобального поиска новых идейно-ценностных ориентиров постсоветская Евразия встает перед сложным выбором модели будущего. Особую роль в этом контексте играет повышение значимости этнического и религиозного фактора в мировой политике. Рост конфликтности в регионе не последнюю очередь стал следствием распада СССР, оставившего бывшие республики один на один с новой реальностью — и без устоявшихся общепризнанных границ. Вместе с тем консерватизм и этнический национализм вкупе с прогрессирующим утверждением «восточного» сознания могут в скором времени радикально изменить макрорегион³.

³ Аватков и Останин-Головня 2022.

Методологической основой статьи является концептуальное переосмысление мир-системной модели⁴ применительно к периоду глубокой геополитической и геоэкономической деструкции и фактической бесполярности⁵. Несмотря на элементы нового геополитического конструирования, эта модель, на наш взгляд, остается более чем актуальной. В то же время речь сегодня идет о слабеющей мир-системности, в рамках которой происходит противоречивый процесс ослабления внутренних связей, интегрирующих систему (вплоть до утраты ею целостности, что обычно трактуется как разрушение системы как таковой⁶), на фоне усиления давления извне, в ряде случаев вызывающего обратную консолидацию системы, стимулируемую внешней экспансией.

⁴ Цаголов (ред.) 2016: 256; Дерлугьян 2017: 384; Дерлугьян (ред.) 2017: 320.

⁵ Хаас 2019: 320

⁶ Цаголов (ред.) 2016: 256; Афанасьев 2018; Валлерстайн 2018: 304; Тённис 2022: 451.

Вопросы, определяющие будущее постсоветской Евразии

Специальная военная операция (СВО) России стала точкой невозврата на пути построения новой системы международных отношений. Глобальные трансформации в том виде, в каком они оформились после начала СВО, порождают четыре блока принципиальных вопросов, ответы на которые позволяют более полно оценить перспективы постсоветской Евразии и роль России на этом пространстве.

⁷ Аватков и Сбитнева 2022: 291—302.

1. Какие геоэкономические силы могут разорвать Евразию — понятно. Это прежде всего центры геоэкономических макрорегионов, формирующиеся вокруг Китая по оси Каспийское море — Персидский залив, и туркоцентричный «тюркский мир», который является в равной мере геоэкономическим и геополитическим феноменом⁷. Но какие цивилизационные идентичности могут дополнить рост геоэкономического влияния внешних игроков, усилить его, создав новые точки консолидации и преодолев очевидный этнократический тренд в развитии соответствующих обществ, чреватый социальной архаизацией?

⁸ Giddens 2003: 104.

2. Отсюда смежный вопрос: насколько потенциальные новые идентичности окажутся совместимы с существующими? Или же их появление приведет к слому социокультурной традиции, а затем и базовых социальных основ⁸? Речь идет не только о глубине социокультурной

деструкции и масштабах социальной дестабилизации и, как следствие, социально-политической хаотизации, но и о возможности сосуществования пространств социально-экономической модернизации и анклавной архаизации в рамках одного и того же поля идентичностей.

3. На повестке дня остается вопрос о возможности возникновения новой евразийской идентичности (пусть с опорой на геоэкономические интересы), способной как минимум сбалансировать влияние внешних сил. И хотя признаков такого развития событий пока очень мало, нельзя исключить, что в результате столкновения привнесенных идентичностей и локализованной этнократичности ситуация изменится. Но даже если мы согласимся с тем, что чисто теоретически новая евразийская идентичность вполне реальна, возникает следующий вопрос: на какой цивилизационной основе она может сформироваться?

4. Принципиальное значение имеет и то, как долго постсоветская Евразия сможет сохранять остатки своей геоэкономической целостности в условиях очевидной утраты целостности геополитической и идейно-ценностной. Следует констатировать, что вопрос не в том, будет ли эта целостность утрачена, а в том, когда это произойдет. Иными словами, сколь долго будет открыто «окно возможностей» для использования странами региона относительно интегрированного народно-хозяйственного комплекса и есть ли перспективы его перестройки, модернизации.

Таким образом, развитие ситуации в постсоветской Евразии фактически зависит от того, будет ли распад евразийского пространства определяться исключительно геоэкономическими процессами (что делает его до известной степени управляемым), или же на них наложатся неэкономические обстоятельства, которые обострят существующие противоречия.

Отсюда следует, что важнейшим фактором трансформаций в постсоветской Евразии станет противоборство различных цивилизационных идентичностей, выражающееся в аффилиации не только с определенными фокусами экономической консолидации (государствами или негосударственными акторами вроде ТНК), но и с определенными типами социального поведения. Ярким примером противоборства нескольких цивилизационных идентичностей является Казахстан, который сочетает в себе элементы тюркской, европейской и славянской цивилизаций⁹. При этом подходы внешних игроков к внедрению и распространению своих логик в регионе различаются. Европейский подход заключается в постепенном движении от экономики к политике, тогда как Турция побуждает страны постсоветской Евразии присоединиться к некоей надидентичности, имеющей, естественно, турецкие истоки. Происходит это путем создания интеграционных полей¹⁰, прежде всего культурной и образовательной направленности.

Предельно упрощая, вопрос можно сформулировать следующим образом. Можно ли продолжать оценивать процессы «евразийской интеграции» в рамках классической мир-системности¹¹, или же процессы

⁹ Гаджиев и Семченков 2021.

¹⁰ Стрельцов (ред.) 2014.

¹¹ Валлерстайн 2018: 304.

в Евразии будут развиваться по более сложной траектории, включая в «систему» целый ряд неэкономических факторов консолидации? Такая постановка вопроса не только зафиксировывает тот факт, что принципы социально-экономической универсальности утрачивают в постсоветской Евразии свою значимость¹², но и потребует преодоления (во всяком случае, применительно к постсоветскому пространству) навязанного нам в период глобализации понимания идентичности как чего-то устаревшего и неактуального¹³.

¹² Friedman 2005: 488.

¹³ Фукуяма 2019: 256.

Представляется, что ключевым для будущего постсоветской Евразии является идейно-ценностный вызов. Именно ситуация в гуманитарной сфере будет задавать, пойдет ли регион по пути экономического соразвития, или в нем продолжится «бракоразводный процесс», выгодный внерегиональным силам. Учитывая мировые политические тенденции, можно утверждать, что идейное поле будет определять поле экономическое. Здесь многое будет зависеть как от самих региональных игроков, так и (в большей степени) от мировых политических акторов, обладающих своим видением будущего региона.

**Тенденции
развития
постсоветской
Евразии**

За последние 30 лет постсоветская Евразия стала ареной глубоких системных трансформаций. Чтобы оценить влияние ключевых геополитических сдвигов на развитие региональной подсистемы, обозначим несколько принципиальных констант, определяющих главные направления движения.

Во-первых, это геоэкономическая разновекторность, ставшая результатом не только центробежных тенденций 1990-х годов, к началу XXI в. в основном «выгоревших», но и попыток создания новой национально-государственной идентичности, основанной на принципе внешней легитимации суверенитета¹⁴. Большинство стран региона видят в разновекторности один из ключевых ценностных ориентиров¹⁵, рассматривая ее как путь к получению максимального количества дивидендов за счет подстраивания под различные подсистемы без реального подчинения какой-либо из них. В современной Евразии одновременно присутствуют несколько геоэкономических векторов, что ставит под вопрос возможность сохранения целостности экономических процессов. Особенно остро это ощущается в Прикаспии и в Средней Азии, но просматривается и на условно «западном» направлении.

¹⁴ Евстафьев 2019.

¹⁵ Аватков 2019.

Будучи обусловлена как политическими, так и экономическими факторами, эта разновекторность рано или поздно начнет проявляться в институциональной сфере. За последние годы мы были свидетелями формирования нескольких альтернативных субъевразийских институциональных систем. Наиболее известные из них — Каспийская тройка и распущенная в 2005 г. Организация Центрально-Азиатского сотрудничества, попытки возродить которую уже предпринимались¹⁶ и, возможно, еще продолжатся. Это

¹⁶ Рамзанов 2018: 285—287.

может рассматриваться по меньшей мере как обозначение потенциальных сценариев евразийской полицентричности, а то и как организационная подготовка к их институционализации.

В постсоветской Евразии так и не произошло полноценной социально-экономической модернизации. Несмотря на формальное улучшение социальных показателей, ни одна из проблем, заявившихся в конце 1990-х годов в качестве ключевых для региона, не была решена, за исключением, пожалуй, повышения в ряде стран уровня бытовой безопасности.

Налицо относительная устойчивость сформированных в советское время социокультурных парадигм и поведенческих стереотипов, начавших деградировать только в середине «нулевых». Условно социокультурные, а на деле — социально-политические «советские» парадигмы оказались гораздо прочнее многих основ постсоветской государственности. Вестернизация и декларативная демократизация, бывшие частью национального строительства в большинстве постсоветских государств, оказались верхушечными. При этом на фоне общей архаизации образовался разрыв между социальными группами, участвующими в глобальных экономических процессах, и основной массой населения, вовлеченной в экономические отношения прежних эпох.

В ходе поиска новой идентичности постсоветские евразийские элиты стали выдвигать на авансцену новых героев, которыми зачастую оказывались антигерои советской эпохи. Параллельно под предлогом возвращения к корням шло формирование политических мифов, *de facto* поднимавших на щит искусственно сконструированный антимодерн или возродившуюся архаику. Именно в эти процессы и пытались встроиться со своими идеологиями внерегиональные игроки, поощрявшие разрыв связей с Россией и насаждавшие собственные логики.

Исходя из эгоистических, а иногда и узкокорыстных побуждений, взращенные советской системой элитарные группы ликвидировали социально-политические лифты, подменив их клановостью, что привело к кризису сменяемости власти, породило свойственный Востоку лидероцентризм и вместе с тем поставило под вопрос будущее соответствующих стран и всего региона. Наибольшие риски здесь связаны с переходом власти от еще сохраняющих ключевые позиции бывших советских руководителей к новой формации лидеров, которые готовятся преимущественно внешними игроками, причем не только из числа представителей западного мира, но и, в частности, Китая и Турцией¹⁷.

¹⁷ Аватков 2021.

Стала очевидна экономическая несамодостаточность как постсоветской Евразии в целом, так и отдельных ее элементов. Китайское влияние растет там в геометрической прогрессии, что вызывает беспокойство других игроков, претендующих на контроль над регионом¹⁸. Особую угрозу для него несет утрата

¹⁸ Аватков 2019.

(отчетливо обнаружившаяся после 2005 г.) внутренних драйверов экономического роста, зависимость от внешних рынков. Одним из следствий регионализации глобальной экономики, похоже, станет появление вблизи, но не внутри евразийского экономического пространства новых центров роста. Это осложнит реализацию стратегических планов евразийских элит по выстраиванию прямых отношений с глобальными экономическими игроками, однако новая ситуация пока не осознана в должной мере.

Отдельно следует отметить тенденцию к размыванию в регионе общеевропейского культурно-идеологического стержня. Речь идет не столько о «советском» идеологическом наследии, целенаправленно разрушавшемся элитами в ходе национального строительства, сколько о возникновении идеологической флюидности в результате деактуализации постсоветских политических моделей. Конечно, это еще не та ситуация всеобъемлющей социально-идеологической деструкции, которую мы наблюдали в начале 1990-х годов, но ценностные основания власти в большинстве стран постсоветской Евразии уже исчерпывают себя. Существует реальная опасность возникновения идеологического вакуума, что может дать старт распространению как традиционных (национализм¹⁹, исламизм), так и гибридных радикальных идеологий.

¹⁹ Sapolsky 2019.

Одной из отличительных черт постсоветской Евразии является институциональная неустойчивость. Во многом это обусловлено ориентализацией региональной подсистемы, в рамках которой лидер важнее институций. Формальные институты здесь могут быстро меняться, появляясь и исчезая вместе с лидерами. Что касается институтов неформальных, то они продолжают играть не последнюю роль в политической жизни соответствующих стран²⁰.

²⁰ Анашкина 2015.

Примечательно, что единственным настоящим «глобальным городом» в постсоветской Евразии остается Москва. Отсутствие полноценных финансовых и промышленных центров на постсоветском пространстве делает маловероятным появление там системы политически защищенных постиндустриальных анклавов.

С социально-политической точки зрения все хорошее и плохое в регионе продолжает подсознательно ассоциироваться с Москвой. И это, на наш взгляд, открывает шанс на продвижение Россией собственной модели регионального развития.

Правда, на этом пути ее ждут немалые сложности, связанные не только с постановкой соответствующей цели и ее реализацией, но и с характером среды, в которой ей предстоит работать. В регионе происходит социальная архаизация и возникновение различного рода анклавов, включая постиндустриальные, при общем снижении базового социального и образовательного уровня²¹. Отсюда необходимость огромных вложений в поддержание социальной инфраструктуры, заведомо превосходящих возможности реального сектора экономики. Архаизация усугубляется активной

²¹ Морозов 2018.

²² *Ионцев, Зимова и Субботин 2017: 37–43.*

утечкой умов²², приводящей к «деинженеризации» социального пространства на фоне попыток политических элит ряда стран сформировать этнотехнократию.

Среди региональных тенденций стоит отметить также нарастание рисков безопасности, причем разноуровневых — от трансграничной преступности и наркомафии до гибридной войны, в том числе с игроками, находящимися вне пределов Евразии. Обострение рисков безопасности во многом является следствием тренда на превращение постсоветской Евразии в пространство противоборства государств, сетевых и иерархических структур. Формируется устойчивая взаимосвязь происходящего в постсоветской Евразии с процессами на Ближнем и Среднем Востоке, которая носит преимущественно деструктивный характер и обусловлена естественным и искусственным перебрасыванием в регион дуги нестабильности.

Заслуживает упоминания и разновекторная миграция, связанная как с внутренними проблемами постсоветского пространства, так и с проблемами глобальными и внерегиональными, в частности с ситуацией на Среднем Востоке. Это чревато усилением политического и религиозного радикализма, прежде всего в специфических этнорелигиозных анклавах. Вопреки многим прогнозам, постсоветской Евразии пока удавалось избегать дестабилизирующего воздействия «новой миграции»²³, но как долго продлится это положение, сказать трудно.

²³ *Фархутдинов 2017.*

При сохранении отмеченных выше тенденций складываются условия для реализации в постсоветской Евразии опасной для России модели «большой шахматной доски». В связи с этим главными представляются следующие вопросы: 1) по каким направлениям и в каких формах будет происходить деструкция? 2) возможно ли институционализированное поддержание интегрированных экономических систем хотя бы на части постсоветского евразийского пространства? 3) возникнет ли новая конкурентная модель внутри региона, или она будет навязана извне?

Негативный сценарий на фоне экономической деградации и социальной архаизации может создать для России ряд некупируемых на политическом уровне рисков, объективно ограничивающих ее доступ к ключевым центрам экономического роста и логистически значимым пространствам.

**Дилеммы
и вызовы
для России
в постсоветской
Евразии**

Главная дилемма России в постсоветской Евразии — проявить ли политическую волю к осуществлению функции ядра подсистемы или предоставить ей развиваться самой по себе. Выбор первого варианта открывает большие возможности, но при этом налагает целый ряд обязанностей, требует перестройки многих форм и методов деятельности и работы с осознанной моделью бу-

душего. Важно, однако, что моделирование региональной подсистемы может дать ключ к развитию не только региона, но и самой России. Отказавшись от вхождения в другие подсистемы в пользу собственного пути, Россия обрела силы заниматься не «охранением» старого мирового порядка, переставшего отвечать современным реалиям, а созиданием нового. В постсоветской Евразии все еще ждут от России большого проекта, который позволил бы сохранить и преумножить экономическую кооперацию.

В свою очередь, с учетом тенденций, развивавшихся в последние годы в регионе, главная долгосрочная стратегическая дилемма постсоветской Евразии выглядит следующим образом: отраслевая интеграция, при которой основой отраслевых цепочек может стать либо Китай, либо Россия, или векторность развития, переходящая в экономическую и политическую экстерриториальность. В последнем случае доминирующей силой в регионе становится Китай, исключая регион Прикаспия, где позиции России пока предпочтительнее и где есть возможности для запуска новых интеграционных механизмов. Другие варианты развития менее вероятны.

Принципиально важно, что для постсоветской Евразии речь идет либо о полной утрате субъектности, либо о частичной утрате экономического суверенитета и сбережении субъектности через политическую аффилиацию с Россией. Потеря субъектности, даже при сохранении политико-правовой базы, грозит превращением Евразии в геополитический «чистый лист»²⁴, который впоследствии может быть использован внерегиональными игроками.

²⁴ *Евстафьев 2022.*

В этих условиях для перезапуска даже в простейшем виде интеграционных процессов необходимо задействовать инструментарий, который так или иначе касается социокультурной идентичности, прежде всего ее институционализации и трансформации в некие формы социально-экономического поведения. На сегодняшний день именно социокультурные отношения являются наиболее мощными факторами евразийской консолидации, хотя в случае опоры на них Россия сразу же попадет в высококонкурентную среду, где ей придется столкнуться не только с местными идентичностями, находящимися в относительном упадке в связи с кризисом постсоветской государственности, но и с гораздо более сильными и институционализированными «привнесенными» идентичностями. Это означает наличие геополитически значимого запроса на общеевразийскую идентичность, которая бы учитывала новые социальные и социокультурные сдвиги.

Проблема в том, что альтернативой конструированию консолидирующей идентичности, хотя бы на периферии ареала, по сути, является возникновение «дикого поля», то есть пространства нестабильности и социальной деструкции. Способность управлять им (и нейтрализовать его) будет определять готовность

и желание России выступить в роли ядра макрорегиона. Для России функции ядра — это не столько инвестиционное и технологическое обеспечение прилегающих территорий, сколько «донорство безопасности», а в перспективе и лидерство в установлении стандартов экономического взаимодействия (но не форм социальной организации, которые могут вырабатываться на национальном или даже региональном уровне).

Отраслевая интеграция возможна исключительно при возвращении на политическом уровне к неоиндустриальным моделям развития Евразии, корпоративизации экономического пространства и формированию — первоначально на базе ЕАЭС, а затем с подключением государств-партнеров — интегрированного инвестиционного пространства, до известной степени защищенного от внешних манипуляций. Вместе с тем необходимо учитывать, что в современных условиях элиты большинства евразийских стран делают ставку на многовекторность отношений с миром, видя в ней наиболее быстрый, легкий и дешевый способ встраивания в глобальные экономические процессы.

Задача усиления присутствия и влияния России в постсоветской Евразии не имеет простых решений. Все варианты действий со стороны Москвы так или иначе повлекут за собой сегментацию влияния. Однако она вряд ли может полностью отстраниться от участия в происходящих в регионе политических и социальных процессах, поскольку подобная политика чревата рядом слабо контролируемых рисков.

В перспективе мы можем столкнуться с во многом уникальной для современности гибридной экономико-социокультурной идентичностью, одним из наиболее важных составляющих которой станет включенность не только в социальные (как в Европе), но и в экономические системы (как в ситуации с нишевой занятостью). Феномен двойных идентичностей не нов²⁵, однако традиционно идентичности формировались преимущественно в социальной и социокультурной сфере. В данном же случае речь будет идти о самореализации через вовлечение в социально-экономические системы. И эти системы могут иметь совершенно разную не только социокультурную, но и политико-институциональную направленность.

²⁵ Бергер и Хантингтон 2004: 379; Бредникова и Абашина (ред.) 2021.

Библиография

Аватков В.А. (2019) «Идейно-ценностный фактор в тюркских государствах постсоветского пространства» // *Мировая политика*, № 4: 1—12. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=31235 (проверено 30.03.2023).

Аватков В.А. (2021) «Постсоветское пространство и Турция: итоги 30 лет» // *Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право*, т. 14, № 5: 162—176.

Аватков В.А. и А.И.Сбитнева. (2022) «Новый национализм Турецкой Республики» // *Вестник РУДН. Серия: Политология*, № 2: 291—302. URL: <https://journals.rudn.ru/political-science/article/viewFile/31116/20734> (проверено 30.03.2023).

Аватков В.А. и В.Д.Останин-Головня. (2022) «Идейно-ценностное измерение мировой политики и дихотомия Восток—Запад» // *Свободная мысль*, № 3: 115—120.

Анашкина Е.Б. (2015) «Роль постсоветского пространства во внешней политике США» // *США и Канада: экономика, политика, культура*, № 6: 19—34.

Афанасьев В.Г. (2018) *Системность и общество*. М.: ЛЕНАНД.

Бергер П. и С.Хантингтон, ред. (2004) *Многоликая глобализация: Культурное разнообразие в современном мире*. М.: Аспект Пресс.

Бредникова О. и С.Абашина, ред. (2021) «Жить в двух мирах»: *переосмысляя транснационализм и транслокальность*. М.: Новое литературное обозрение.

Валлерстайн И. (2018) *Миросистемный анализ: Введение*. М.: URSS; ЛЕНАНД.

Гаджиев Х.А. и А.С.Семченков. (2021) «Устойчивость политической системы республики Казахстан (Индексный анализ)» // *Полития*, № 4 (103): 115—135. URL: [http://politeia.ru/files/articles/rus/Politeia-2021-4\(103\)%20\(1\)-115-144.pdf](http://politeia.ru/files/articles/rus/Politeia-2021-4(103)%20(1)-115-144.pdf) (проверено 30.03.2023).

Дерлугьян Г. (2017) *Как устроен этот мир: наброски на макроэкономические темы*. М.: Изд-во Института Гайдара.

Дерлугьян Г., ред. (2017) *Есть ли будущее у капитализма?* М.: Изд-во Института Гайдара.

Евстафьев Д.Г. (2019) «Информационные манипуляции и государственный суверенитет: риски для России» // *Гражданин. Выборы. Власть*, № 2: 98—110.

Евстафьев Д.Г. (2022) «Новый мировой порядок: потребность в „чистом листе“ и геоэкономические реалии сегодняшнего дня» // *Международная жизнь*, № 4: 38—49. URL: <https://interaffairs.ru/jauthor/material/2644> (проверено 30.03.2023).

Ионцев В.А., Н.С.Зимова и А.А.Субботин. (2017) «Особенности „утечки умов“ в России и сопредельных государствах евразийского пространства» // Рязанцев С.В. и М.Н.Храмова, ред. *Миграционные мосты в Евразии: модели эффективного управления миграцией в условиях развития евразийского интеграционного проекта. Материалы IX Международного научно-практического форума*. Т. 1. М.: Экономическое образование: 37—43.

Лавров С.В. (2017) *Мы — вежливые люди! Размышления о внешней политике*. М.: Книжный мир.

Морозов А. (2018) «Большая трансформация Центральной Азии: золотой век или новое средневековье?» // *Евразия. Эксперт*, 25.02. URL: <http://eurasia.expert/bolshaya-transformatsiya-tsentralnoy-azii-zolotoy-vek-ili-novoe-srednevekove/> (проверено 30.03.2023).

Рамзанов Т.Е. (2018) «Региональное сотрудничество стран Центральной Азии: взгляд из Казахстана» // *Молодой ученый*, № 18: 285—287.

Стрельцов Д.В., ред. (2014) *Россия и страны Востока в постбиполярный период*. М.: Аспект Пресс.

Сутырин В. (2022) «Будущее евразийского проекта России в условиях роста геополитических рисков» // *Евразия. Эксперт*, 1.12. URL: <https://eurasia.expert/budushchee-evraziyskogo-proekta-rossii-v-usloviyakh-rosta-geopoliticheskikh-riskov/> (проверено 30.03.2023).

Тённис Ф. (2022) *Общность и общество: Основные понятия чистой социологии*. СПб.: Владимир Даль.

Фархутдинов И.З. (2017) «Миграционный излом Евразии» // *Евразийский юридический журнал*, № 2. URL: <https://eurasialaw.ru/nashi-rubriki/kolonka-redaktora/migratsionnyj-izlom-evrazii> (проверено 30.03.2023).

Фукуяма Ф. (2019) *Идентичность: Стремление к признанию и политика неприятия*. М.: Альпина Паблишер.

Хаас Р. (2019) *Мировой беспорядок: Американская внешняя политика и кризис старого порядка*. М.: АСТ.

Чаголов Г.Н., ред. (2016) *Новое интегральное общество: Обще-теоретические аспекты и мировая практика*. М.: ЛЕНАНД.

Friedman T. (2005) *The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century*. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Giddens A. (2003) *Runaway World: How Globalization Is Reshaping Our Lives*. New York: Routledge.

Sapolsky R. (2019) «This Is Your Brain on Nationalism: The Biology of Us and Them» // *Foreign Affairs*, vol. 98, no. 2: 42—47.



V.A.Avatkov, D.G.Evstafyev
POST-SOVIET EURASIA
IN THE MIRROR OF GLOBAL PROCESSES
KEY DEVELOPMENT TRENDS AND DILEMMAS
OF RUSSIAN POLITICS

Vladimir A. Avatkov — Doctor of Political Science; Head of the Department of the Near and Post-Soviet East, Institute of Scientific Information on Social Science of the Russian Academy of Sciences (INION RAS). Email: v.avatkov@gmail.com.

Dmitry G. Evstafyev — Ph.D. in Political Science; Professor at the Institute of Media, Faculty of Creative Industries, HSE University. Email: devstafiev@hse.ru.

Abstract. The peculiarity of the current moment in the development of post-Soviet Eurasia is its ever-increasing involvement in the processes of re-drawing the previously relatively stable field of world politics and economics. In a changing global political environment, the region is facing a number of new challenges. At the same time, the situation is unique in that the region exists in the “post-economy” mode, when the problem of self-identification becomes fundamental, from the point of view of both formulating internal development goals and determining one’s place in the world.

The increase in external pressure on post-Soviet Eurasia gives birth to two contradictory tendencies: towards the weakening of internal ties, which is fraught with the destruction of its integrity, and towards the consolidation of space in response to expansion from outside. The transformations taking place in the region largely reflect global trends, including the increasing role of ideological aspects that sideline economic considerations, the global search for ideological and value orientations, and the growing importance of ethnic and religious affiliation.

Having analyzed in detail the processes unfolding in the Eurasian space, the authors come to the conclusion that the confrontation of various civilizational identities will be the most important factor in its further development. According to the authors, post-Soviet Eurasia might face either a complete loss of subjectivity, or a partial loss of economic sovereignty and preservation of subjectivity through its political affiliation with Russia. However, the implementation of the second scenario requires from Russia not only its readiness, but also its ability to assume the functions of the core of the region.

Keywords: Eurasia, post-global world, Eurasian integration, socio-cultural identity

References

- Afanasyev V.G. (2018) *Sistemnost' i obshchestvo* [Consistency and Society]. Moscow: LENAND. (In Russ.)
- Anashkina E.B. (2015) “Rol’ postsovetского prostranstva vo vneshnej politike SShA” [The Role of the Post-Soviet Space in US Foreign Policy] // *SShA i Kanada: ekonomika, politika, kul'tura* [USA & Canada: Economics, Politics, Culture], № 6: 19–34. (In Russ.)
- Avatkov V.A. (2019) “Idejno-tsennochnyj faktor v tjurkskikh gosudarstvakh postsovetского prostranstva” [Ideology- and Value-based Factor in Turkic Post-Soviet States] // *Mirovaja politika* [World Politics], № 4: 1–12. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=31235 (accessed on 30.03.2023). (In Russ.)
- Avatkov V.A. (2021) “Postsovetское prostranstvo i Turtsija: itogi 30 let” [The Post-Soviet Space and Turkey: Results of 30 Years] // *Kontury global’nykh transformatsij: politika, ekonomika, pravo* [Outlines of Global Transformations: Politics, Economics, Law], vol. 14, no. 5: 162–176. (In Russ.)
- Avatkov V.A. and A.I.Sbitneva. (2022) “Novyi natsionalizm Turetskoj Respubliki” [The New Nationalism of the Turkish Republic] // *Vestnik*

RUDN. Serija: Politologija [RUDN Journal of Political Science], vol. 24, no. 2: 291—302. URL: <https://journals.rudn.ru/political-science/article/viewFile/31116/20734> (accessed on 30.03.2023). (In Russ.)

Avatkov V.A. and V.D.Ostanin-Golovnya. (2022) “Idejno-tsennostnoe izmerenie mirovoj politiki i dikhotomija Vostok—Zapad” [The East-West Dichotomy: Ideological and Value Dimension of World Politics] // *Svobodnaja mysl'* [Free Thought], no. 3: 115—120. (In Russ.)

Berger P. and S.Hantington, eds. (2004) *Mnogolikaja globalizatsija: Kul'turnoe raznoobrazje v sovremennom mire* [Many Globalizations: Cultural Diversity in the Contemporary World]. Moscow: Aspekt Press. (In Russ.)

Brednikova O. and S.Abashina. (2021) “Zhit' v dvukh mirakh”: *pere-smysljaja transnatsionalizm i translokal'nost'* [Living in Two Worlds: Re-thinking Transnationalism and Translocality]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russ.)

Derluguian G. (2017) *Kak ustroen etot mir: Nabroski na makroekonomicheskie temy* [How the World Works: Sketches on Macroeconomic Topics]. Moscow: Izd-vo Instituta Gaidara. (In Russ.)

Derluguian G., ed. (2017) *Est' li budushchee u kapitalizma?* [Does Capitalism Have a Future?] Moscow: Izd-vo Instituta Gaidara. (In Russ.)

Evstafiev D.G. (2019) “Informatsionnye manipuljatsii i gosudarstvennyj suverenitet: riski dlja Rossii” [Information Manipulations and National Sovereignty: Risks for Russia] // *Grazhdanin. Vybory. Vlast'* [Citizen. Elections. Power], no. 2: 98—110. (In Russ.)

Evstafiev D.G. (2022) “Novyj mirivoj porjadok: potrebnost' v „chistom liste“ i geoekonomicheskie realii segodnjashnego dnja” [The New World Order: the Need for a “Clean Slate” and Geo-economic Realities of Today] // *Mezhdunarodnaja zhizn'* [International Affairs], no. 4: 38—49. URL: <https://interaffairs.ru/jauthor/material/2644> (accessed on 30.03.2023). (In Russ.)

Farkhutdinov I.Z. (2017) “Migratsionnyj izlom Evrazii” [The Migration Fracture of Eurasia] // *Evrazijskij juridicheskij zhurnal* [Eurasian Law Journal], no. 2. URL: <https://eurasialaw.ru/nashi-rubriki/kolonka-redaktora/migratsionnyj-izlom-evrazii> (accessed on 30.03.2023). (In Russ.)

Friedman T. (2005) *The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century*. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Fukuyama F. (2019) *Identichnost': Stremlenie k priznaniju i politika neprijatija* [Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment]. Moscow: Alpina Publisher. (In Russ.)

Gadzhiev Kh.A. and A.S.Semchenkov. (2021) “Ustojchivost' politicheskoj sistemy respubliki Kazakhstan (Indeksnyj analiz)” [Political System Sustainability in the Republic of Kazakhstan (Index Analysis)] // *Politeia*, № 4 (103): 115—135. URL: [http://politeia.ru/files/articles/rus/Politeia-2021-4\(103\)%20\(1\)-115-144.pdf](http://politeia.ru/files/articles/rus/Politeia-2021-4(103)%20(1)-115-144.pdf) (accessed on 30.03.2023). (In Russ.)

Giddens A. (2003) *Runaway World: How Globalization Is Reshaping Our Lives*. New York: Routledge.

Haass R. (2019) *Mirovoj besporjadok: Amerikanskaja vneshnjaja politika i krizis starogo porjadka* [A World in Disarray: American Foreign Policy and the Crisis of the Old Order]. Moscow: AST. (In Russ.)

Iontsev V.A., N.S.Zimova, and A.A.Subbotin. (2017) “Osobennosti „utechki umov“ v Rossii i sopredel’nykh gosudarstvakh evrazijskogo prostranstva” [Features of the “Brain Drain” in Russia and Neighboring States of the Eurasian Space] // Ryazantsev S.V. and M.N.Khramova, eds. *Migratsionnye mosty v Evrazii: modeli effektivnogo upravlenija migratsiej v uslovijakh razvitiija evrazijskogo intergatsionnogo proekta. Materialy IX Mezhdunarodnogo nauchno-prakticheskogo foruma* [Migration Bridges in Eurasia: Models of Effective Migration Management in the Context of the Development of the Eurasian Integration Project. Materials of the 9th International Scientific and Practical Forum]. Vol. 1. Moscow: Ekonomicheskoe obrazovanie: 37—43. (In Russ.)

Lavrov S.V. (2017) *My — vezhlivye ljudi! Razmyshlenija o vneshnej politike* [We Are Polite People! Reflections on Foreign Policy]. Moscow: Knizhnyj mir. (In Russ.)

Morozov A. (2018) “Bol’shaja transformatsija Tsentral’noj Azii: zolotoj vek ili novoe srednevekov’e?” [The Great Transformation of Central Asia: the Golden Age or the New Middle Ages?] // *Eurasia. Expert*, 25.02. URL: <http://eurasia.expert/bolshaya-transformatsiya-tsentralnoj-azii-zolotoj-vek-ili-novoe-srednevekov/> (accessed on 30.03.2023). (In Russ.)

Ramzanov T.E. (2018) “Regional’noe sotrudnichestvo stran Tsentral’noj Azii: vzgljad iz Kazakhstana” [Regional Cooperation of Central Asian Countries: a View from Kazakhstan] // *Molodoj uchenyj* [Young Scientist], no. 18: 285—287. (In Russ.)

Sapolsky R. (2019) “This Is Your Brain on Nationalism: The Biology of Us and Them” // *Foreign Affairs*, vol. 98, no. 2: 42—47.

Strel’tsov D.V., ed. (2014) *Rossija i strany Vostoka v postbipoljarnyj period* [Russia and the East in the Post-Bipolar Period]. Moscow: Aspekt Press. (In Russ.)

Sutyryn V. (2022) “Budushchee evrazijskogo proekta Rossii v uslovijakh rosta geopoliticheskikh riskov” [The Future of Russia’s Eurasian Project in the Context of Growing Geopolitical Risks] // *Eurasia. Expert*, 1.12. URL: <https://eurasia.expert/budushchee-evrazijskogo-proekta-rossii-v-usloviyakh-rosta-geopoliticheskikh-riskov/> (accessed on 30.03.2023). (In Russ.)

Tönnies F. (2022) *Obshchnost’ i obshchestvo: Osnovnye ponjatija chistoj sotsiologii* [Gemeinschaft und Gesellschaft: Grundbegriffe der reinen Soziologie]. St Petersburg: Vladimir Dal’. (In Russ.)

Tsagolov G.N., ed. (2016) *Novoe integral’noe obshchestvo: Obshcheteoreticheskie aspekty i mirovaja praktika* [The New Integral Society: General Theoretical Aspects and World Practice]. Moscow: LENAND. (In Russ.)

Wallerstein I. (2018) *Mirosistemnyj analiz: Vvedenie* [World Systems Analysis. An Introduction]. Moscow: URSS; LENAND. (In Russ.)



ПОЛИТИЯ

А.Ф.Павловский В ПОИСКАХ ГЛОБАЛЬНОЙ ПАМЯТИ: КУДА ВЕДЕТ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ В MEMORY STUDIES?¹

¹ Автор благодарит Алексея Миллера, Нари Шелекпаева, Анастасию Павловскую, Арсения Моисеенко, Карину Хаснулину и Михаила Кондратьева за советы и комментарии к ранним версиям статьи.

Алексей Федорович Павловский — аспирант факультета истории, ассоциированный сотрудник Центра изучения культурной памяти и символической политики Европейского университета в Санкт-Петербурге. Для связи с автором: apavlovskiy@eu.spb.ru.

Аннотация. Статья посвящена транснациональному повороту в исследованиях коллективной и культурной памяти в XXI в., отражающему стремление ученых, работающих в русле Memory studies, выйти за пределы «методологического национализма» и исследовать формирование и циркуляцию исторической памяти поверх границ. Опираясь на англоязычную литературу 2000—2020-х годов, автор анализирует нарождающееся поле Transnational Memory studies с точки зрения категориального аппарата, дисциплинарных особенностей и исследовательских подходов.

Зафиксировав, что рассуждения о транскультурном измерении коллективной памяти присутствуют еще в работах классиков Memory studies, автор показывает, что двигателем усилий их современных критиков являются попытки концептуализировать память о Холокосте, Второй мировой войне, колониализме и других событиях «трудного прошлого». Обилие сформулированных за последние годы близкородственных концептов создает видимость конкуренции на этом поле, однако зачастую за этими концептами стоят принципиально разные идеологические и методологические установки, и если некоторые из концептов обладают определенным эмпирическим потенциалом, то другие носят откровенно нормативный характер.

Говоря о сегодняшнем состоянии Transnational Memory studies, автор выделяет шесть основных исследовательских оптик — международную, наднациональную, диаспорическую, медиатизированную, цифровую и, наконец, глобальную, связанную с проблемой синхронии/симультанности памяти. Вместе с тем, по его заключению, избавление от национальной перспективы в понимании транснациональной памяти еще далеко от завершения, и уже сам факт того, что ученые смотрят поверх границ, свидетельствует о наличии таковых.

Ключевые слова: глобальная память, транснациональная память, транскультурная память, Memory studies, места памяти, Холокост, simultaneity

Введение

Транснациональный поворот в исследованиях культурной памяти — часть большого поворота гуманитарных наук в конце XX — начале XXI в., направленного на отказ от «методологического национализма», рассматривающего национальное государство как онтологический контейнер основных образов и смыслов. В этом контексте глобальная и транснациональная история оказывается вызовом старым компаративным моделям, анализирующим разные феномены, будь то цивилизации или национальные государства, изолированно друг от друга. Вместо этого транснациональный подход фокусируется на мобильности, циркуляции, заимствованиях и иных формах взаимосвязанности различных групп. Глобальный подход добавляет к транснациональной оптике особую чувствительность к проблеме simultaneity и синхронии в истории, а также акцент на процессах устойчивой интеграции, приобретающих качество и масштаб глобальных².

² См. Haupt and Kocka (eds.) 2009; Iriye and Saunier (eds.) 2009; Конрад 2018: 19–28, 60–71.

Но как применить эти подходы не к истории эпидемий, технологического трансфера или торговли в Средиземноморье, а к истории культурной памяти — вещи, которая многим за пределами Memory studies может показаться эфемерной? Сегодня соответствующий концепт служит зонтичным брендом для исследований нарративов и репрезентаций прошлого, а также акторов и институтов, ответственных за архивацию, канонизацию и распространение культурных текстов, способствующих формированию групповых идентичностей³. Как этот концепт, изначально работавший при изучении локальных и национальных образов прошлого, транснационализировать или даже глобализировать? Есть ли для этого потенциал? И какие вопросы надо начать задавать, чтобы его реализовать?

³ См. Assmann 2011; Ассман 2014.

Transnational Memory studies (в том виде, в каком это субполе со своим категориальным аппаратом и подходами существует последние 10 лет) — результат уникальной синхронии начала XXI в. Общий эффект глобализации 1990-х годов, распространение образов Холокоста как «глобальной иконы» в Европейском союзе и США, завершение институционального оформления Holocaust studies и Memory studies в Европе и Америке, зарождение особого направления Media memory studies⁴ — без всего этого данный подход не получил бы относительной известности даже в рамках изучения коллективной памяти, которое ведется на протяжении уже нескольких поколений⁵. Какие «социальные рамки памяти» позволяют помнить «за пределами нации»? Как новые посредники памяти и медиа формируют коллективную память в транснациональном взаимодействии? В чем особенности диаспорической памяти, памяти мигрантов? Из чего складывается транснациональная память колониализма? Как интеграция продуцирует новые памяти,

⁴ Сафронова 2019: 167–188.

⁵ См. Сафронова 2018; Головашина 2022b.

а с ней и новые идентичности? Как разные культуры памяти заимствуют элементы друг друга? В конце концов, приводит ли глобализация к ослаблению локальных/национальных памятей, или же она усиливает их, делает видимыми, сталкивает с другими унифицирующими нарративами⁶? Именно эти вопросы находятся в центре внимания *Transnational Memory studies*.

⁶ *De Cesari and Rigney 2014.*

⁷ *Репина 2017; Летняков 2020.*

⁸ *Аникин 2011: 17–18.*

⁹ *Эрлих 2016: 28.*

¹⁰ *Пахалюк 2016: 42–45.*

Обращаются к изучению транснациональной и глобальной памяти и российские исследователи⁷, усматривающие в ней как возможности, так и вызовы для национальных версий прошлого⁸. Некоторые авторы связывают глобальную память с изменениями этического порядка и распространением культуры покаяния за преступления прошлого⁹. Другие видят в ней продукт глобализации и деятельности транснациональных корпораций, рассуждая о возможной социальной основе такой памяти — от формирования глобальной информационной повестки до нарастания общемировых проблем¹⁰. Тем не менее соответствующие работы часто носят декларативный характер, при всей интеллектуальной интуиции авторов не позволяя разглядеть разнообразие предметов исследования за тем, что обозначается как транснациональная или глобальная память. Настоящая статья является попыткой заполнить эту лагуну.

Цель статьи — охарактеризовать транснациональный поворот в *Memory studies* с точки зрения концептов, дисциплинарных особенностей и подходов. В качестве источников в ней использована англоязычная литература. Сначала я обращаюсь к классическим работам в рамках *Memory studies*, которые часто обвиняют в «методологическом национализме», затем описываю наиболее важные концепты, определяющие логику существующих исследований транснациональной памяти, и наконец обобщаю конкретные исследовательские подходы внутри данного направления, в том числе показывая разницу между дисциплинарными оптиками.

**Memory studies
до транс-
национального
поворота:
«методологи-
ческий национа-
лизм»...
или все-таки нет?**

Приверженцы транснационального поворота в *Memory studies* во многом обосновывают его через критику предшествующих проектов — классических работ и концептов Мориса Хальбвакса, Пьера Нора, Яна Ассмана и Алейды Ассман. Подходы этих ученых, ключевых для развивающейся дисциплины, объявляются недостаточно транснациональными или транскультурными, поскольку они, с одной стороны, сфокусированы на коммуникативной передаче воспоминаний через память небольших групп, а с другой, уделяют избыточное внимание канонам культурной памяти, обслуживающим национальное прошлое. При этом утверждается, что исследования транснациональной памяти позволяют перейти «от статической модели памяти к динамической, от органической памяти к медиатизированной, от локальной модели памяти к космополитической»¹¹. Подобная критика имеет смысл как маркетинговый ход, чтобы подчеркнуть обособление нового направления, однако за-

¹¹ *Rothberg 2014b: 128.*

ставляет задуматься о том, насколько всеобъемлющим был «методологический национализм» классиков Memory studies и нельзя ли найти у них то, что сближает их с адептами транснационального подхода к изучению памяти.

Если бы можно было воскресить французского социолога Мориса Хальбвакса (1877—1945), мы наверняка бы услышали от него: «Транснациональная память — это оксюморон». Отец Memory studies имел массу причин так думать. Стоит напомнить, что в 1920-е годы усилия Хальбвакса как ученика Эмиля Дюркгейма были направлены на доказательство того, что коллективная память *вообще существует* и что процесс памятования не прекращается до тех пор, пока его конструируют и обрамляют «социальные рамки памяти» в виде коллективной памяти семьи, религиозной памяти и памяти общественных классов¹². Даже в конце 1930-х годов, рефлексирова о нации как возможной «социальной рамке», Хальбвакс отвергал возможность национальной памяти в силу отсутствия субъекта и носителя таковой, поскольку ни один индивид не помнит в подобном масштабе. С его точки зрения, национальной может быть только история как способ письма, конструирующий объективное, универсальное и единое, но не память, которая является эмоциональной, групповой и частной¹³.

¹² Хальбвакс 2007: 185—218, 219—264, 265—318.

¹³ Хальбвакс 2005.

Вместе с тем важно учитывать, что Хальбвакс считал национальную историю искусственным разрывом подлинной *единой* истории. Он подчеркивал, что «мир истории подобен океану, в который впадают все частные истории»: писать историю Франции — это хорошо, но писать историю Европы — гораздо лучше¹⁴. Безусловно, в случае концепции Хальбвакса проблематично говорить не только о транснациональной, но даже о национальной памяти, однако в ней нет и следа «методологического национализма», рассматривающего национальное государство в качестве главного контейнера смыслов и образов.

¹⁴ Там же.

Перечитывая позднейшего Хальбвакса, а именно «Легендарную топографию Евангелий в Святой Земле» (1941), нетрудно заметить, как его подход соотносится с современными если не транснациональными (в XI в. наций не было), то транскультурными исследованиями памяти. Упомянутая книга посвящена тому, как крестоносцы и христианские паломники переносили на физический ландшафт Палестины воображаемый библейский пейзаж, либо просто изобретая «места Христа», либо подстраивая под свои нужды иудейские места коммемораций¹⁵. Таким образом, речь в ней идет о знаковом (транс)культурном трансфере в истории Европы и Ближнего Востока, и потому Хальбвакс вполне может стать источником вдохновения для тех, кто занят поиском глобального и транснационального измерений культурной памяти в XXI столетии.

¹⁵ Сафронова 2019: 53—55; Головашина 2022а.

На ту же роль может претендовать и создатель альтернативной теории коллективной памяти — немецкий историк искусства Аби Варбург (1866—1929). Его искусствоведческий подход к памяти кардинально отличался от социологического подхода Хальбвакса: в своих работах

ученый исследовал «переселение образов», показывая, как на протяжении тысячелетий шло перемещение иконографических моделей — из античной культуры через культуры Востока в европейскую культуру времен Ренессанса, которая заимствовала у античной иконографии не только формы пафоса и жесты, но и присущую ей эмоциональную «память об аффекте»¹⁶. Как справедливо отмечает автор предисловия к русскому переводу «Великого переселения образов» Илья Доронченков, исследовательский проект Варбурга в 1920-е годы «был посвящен проблеме общественной памяти, понятой как визуальная память культуры, порождаемым ею традициям и возникающим при этом „странным сближениям“, в рамках которых даже «в революционном модернизме способна воскреснуть память о древних божествах и ренессансных транскрипциях античности»¹⁷. В подобном подходе к изучению образов, порожденных одной культурой и трансформированных другой, нетрудно усмотреть предтечу исследований транскультурной памяти в современных Memory studies.

¹⁶ См. Доронченков 2008.

¹⁷ Там же: 36.

Гораздо проще обвинить в «методологическом национализме» масштабный проект «Места памяти» французского историка Пьера Нора, с которым ассоциируется второе рождение Memory studies и первичная институционализация направления в 1980—1990-е годы. Именно этот проект и является главным объектом нападков со стороны приверженцев транснационального подхода. Изучая коллективную память Франции, Нора и другие участники проекта понимали под «местом памяти» «всякое значимое единство, материального или идеального порядка, которое воля людей или работа времени превратили в символический элемент наследия памяти некоторой общности»¹⁸. «Местом памяти» могло оказаться все что угодно — от персонажей-символов вроде Жанны д'Арк и солдата Шовена до некрополя Пантеона и очертаний Гексагона как элементов наследия национальной общности французов. При этом создатели проекта полностью отдавали себе отчет в том, что их обвиняют как раз в нежелании выйти за рамки национального государства, однако, отвечая оппонентам, указывали, что именно национализм и идея нации в XIX и XX вв. привели к появлению подавляющего большинства «мест памяти». Иными словами, сами «места памяти» (в трактовке Нора) изначально национализированы¹⁹, а следовательно, довольно сложно найти транснациональное «место памяти».

¹⁸ Нора 1999: 78.

¹⁹ Там же: 79—81.

Вместе с тем наблюдения некоторых участников проекта шли вразрез с этой констатацией. Так, анализируя Жанну д'Арк как «место памяти», Мишель Винок отмечал, что во второй половине XIX в. так называемый Дом Жанны в Лотарингии был местом паломничества не только французов, но также немцев и бельгийцев; в начале XX в. проблема канонизации Жанны д'Арк играла важную роль в дипломатических отношениях Франции и Ватикана; а в конце 1970-х годов Жанна д'Арк стала превращаться в элемент общеевропейского транснационального дискурса (что было связано с выборами в Европарламент)²⁰. Это свидетельствует о том, что по мере развития политической и/или

²⁰ Винок 1999.

культурной интеграции в мире национальные «места памяти» способны транснационализироваться, и условная Жанна д'Арк может служить индикатором соответствующих процессов. Не случайно по мере укрепления Евросоюза как политической, культурной и наднациональной общности попыток рассмотреть не французские, немецкие или итальянские, а панъевропейские²¹, центральноевропейские, восточноевропейские, югославские и иные транснациональные «места памяти», несмотря на все сложности с определением этих «мест» и их регионов, становится все больше²².

²¹ Leggewie 2008.

²² Majerus 2014.

Таким образом, перечитывание ранних работ в русле Memory studies позволяет как минимум поставить под вопрос обоснованность адресуемых их авторам упреков в «методологическом национализме». Разумеется, было бы ошибкой преувеличивать «транснациональность» классических подходов, однако еще до транснационального поворота 2000—2010-х годов им, бесспорно, не была чужда рефлексия о транскультурном измерении памяти. В этих условиях из объекта «тотемно-ритуальных» ссылок и Хальбвакс, и Варбург, и участники проекта «Места памяти» могут стать движителями настоящих размышлений о проблеме.

**Транс-
национальный
поворот
в поисках новых
концептов памяти**

История Memory studies как дисциплины — это история конкуренции близкородственных концептов. В полной мере это относится и к транснациональному повороту 2000-х годов. Введенные в оборот в течение одного десятилетия концепты «глобальной», «космополитической», «переплетенной», «диалогической», «разнонаправленной», «транскультурной», «путешествующей» памяти отражали общее намерение исследователей мыслить коллективную и культурную память «за пределами нации», рассматривая ее в качестве результата транснационального взаимовлияния и обмена. Однако у каждого из этих концептов есть свой дисциплинарный, идеологический и методологический бэкграунд, разница между которыми может быть очень существенной, когда мы задаемся вопросом: что мы изучаем, говоря, что изучаем транснациональную память?

Транснациональный поворот в Memory studies невозможно себе представить без изучения культурной памяти о Холокосте. Именно применительно к памяти о Шоа в начале 2000-х годов американско-израильскими социологами Даниэлем Леви и Натаном Шнайдером были впервые использованы понятия «космополитическая память» и «глобальная память». Вслед за американским социологом Джефффри Александером, автором концепта «культурная травма», обозначающим процесс формирования доминирующих и альтернативных нарративов страдания сообщества в прошлом, а также институционализации этих нарративов в различных сферах — от юриспруденции и политики до религии, эстетики и науки²³, Леви и Шнайдер утверждали, что начиная с 1990-х годов уничтожение нацистами шести миллионов европейских евреев ста-

²³ Alexander 2002, 2004.

ло восприниматься в Западной Европе и США как «сакральное зло» и память о нем превратилась в «моральную универсалию». По их мысли, в условиях глобализации подобная форма памяти должна стать нравственным мерилom по отношению к культурным травмам, в том числе не связанным с Холокостом, и способствовать усвоению дискурса о правах человека как основы современной цивилизации²⁴.

²⁴ *Levy and Sznajder 2005: 1—8.*

Другими словами, глобальная память трактовалась ими как инструмент гомогенизирующего процесса, а усвоение немецкой модели покаяния — как оптимальный путь к моральному прогрессу любой страны с «трудным прошлым». Однако такое отношение к глобальной памяти сегодня критикуется многими исследователями. И дело не только в нормативности концепта (глобальная память должна быть универсальной и популяризировать соответствующий нарратив о жертвах и преступниках), но и в излишней оптимистичности вывода Леви и Шнайдера о доминировании глобальной памяти о Холокосте в Европе, Америке и за их пределами, что ставится под сомнение рядом авторов²⁵.

²⁵ *Gabowitsch 2017.*

Альтернативного взгляда на глобальную память о Холокосте придерживается немецкий историк Алейда Ассман. В отличие от Леви и Шнайдера, она предлагает воспринимать глобальную память не как космополитическую метафору, а как мемориальные действия конкретных акторов памяти. С ее точки зрения, при изучении глобальной памяти возможны четыре концептуальные оптики, которые могут и не пересекаться. Во-первых, это представление о Холокосте как об исторической памяти нации жертв (Израиля, еврейской диаспоры), нации преступников (Германии), наций-освободительниц (стран антигитлеровской коалиции), а также европейских наций, на чьей территории осуществлялся геноцид. Во-вторых, это Холокост как транснациональная память по обе стороны Атлантики (что Ассман связывает как с «американизацией» Холокоста, так и с деятельностью наднациональной Целевой группы по международному сотрудничеству в области просвещения, памяти и исследования Холокоста, созданной в 1999 г. в целях развития образовательных программ по истории Холокоста в различных странах). В-третьих, это память о Холокосте как универсальная светская этическая норма, которую пропагандируют правозащитные организации (здесь Ассман цитирует Леви и Шнайдера, указывая при этом, что глобальность этой нормы отнюдь не очевидна и многие арабские страны открыто отвергают ее). В-четвертых, это Холокост как «глобальная икона», набор визуальных монограмм, которые продвигают различные медиа, будь то кино, пресса, телевидение или интернет²⁶.

²⁶ *Ассман 2017.*

При таком угле зрения Холокост, бесспорно, является глобальной памятью, но из этого, на мой взгляд, не следует, что «иконические» образы Холокоста автоматически способствуют распространению этических императивов памяти о нем. Вместе с тем использование концептов «историческая память», «транснациональная память», «универсальная

норма» и «глобальная икона» в отношении памяти о Холокосте позволяют лучше настроить исследовательские оптики применительно к другим «местам памяти».

Второй этап транснационального поворота в Memory studies связан с появлением концептов «диалогической», «переплетенной» и «разнонаправленной» памяти. Не претендуя на обобщение глобальной памяти, все три концепта касаются распространения, усвоения и заимствования нарративов памяти поверх национальных границ, однако между ними существуют нормативные и дескриптивные различия.

Первый концепт — «диалогическая память» — носит нормативный характер и во многом основывается на критике герметичности национальной памяти стран Евросоюза о Второй мировой войне. Как подчеркивает предложившая его Ассман, большинство этих стран согласны лишь на одну из трех ролей — «победителя, одолевшего зло», «борца и мученика, оказавшего сопротивление злу», или «пассивной жертвы, пострадавшей от злодеяний». Между тем ЕС как политическое объединение, обладающее властью по унификации исторических нарративов, должен взламывать «монолитную конструкцию памяти, очерченную национальными границами», продвигая практики диалогической памяти, предполагающей «взаимное признание чередующихся ролей преступника и жертвы в совместной истории совершенных и пережитых преступлений»²⁷ (как в случае памяти о Холокосте и Накбе²⁸ в контексте израильско-палестинских отношений²⁹).

Подобный подход несколько компрометирует концепт диалогической памяти, так как Ассман здесь выступает уже не столько в качестве исследователя, сколько в качестве идеолога евроинтеграции, выдвигающего нормативную установку и стратегию ее реализации. При этом диалогическая память, как и глобальная память в трактовке Леви и Шнайдера, выглядит скорее утопическим пожеланием. В реальности, как отмечают другие авторы, «конкуренция жертв» и транснациональный «виктимный национализм» в различных странах Европы и Азии после Второй мировой войны гораздо более ощутимы³⁰, чем попытки наладить транснациональный диалог путем создания общего учебника истории или финансирования музея, учитывающего обе национальные точки зрения. Взаимовлияние нарративов не означает их немедленного идеологического сближения.

Этот аспект во многом ухвачен в концепте немецкого историка Себастьяна Конрада «переплетенные памяти» (entangled memories), который мне кажется более удачным, чем «диалогическая память», в силу стоящей за ним методологии. Так, в своей работе, посвященной сравнению памяти Германии и Японии о Второй мировой войне, Конрад призывает помещать объекты памяти — национальный миф и военную память — в широкий региональный контекст, изучая их как результат, с одной стороны, попытки акторов установить связь с коллективным прошлым (генеалогическое понимание памяти), а с другой, реакции

²⁷ Ассман 2016: 209—210.

²⁸ Накба — термин, нередко используемый для описания массового «исхода» палестинцев с территории Израиля в процессе и результате арабо-израильских войн.

²⁹ Ассман 2019: 131—145.

³⁰ Lim 2010.

актеров на множество импульсов и влияний в настоящем (память как следствие синхронии/симультанности)³¹.

³¹ *Conrad 2003: 86–87.*

В отличие от Ассман, Конрад считает, что такая модель производства воспоминаний не означает общей истории (shared history) разных стран, «предполагающей надежду на согласованные интерпретации прошлого». Однако она приводит к тому, что сама национальная идентичность, будь то немцев, американцев или японцев, становится «плодом, а не... условием транснационального взаимодействия, обмена и переплетения»³². Иначе говоря, согласно Конраду, национальная память, якобы герметичная и монологичная в своем содержании и автореференциях, часто является продуктом транснационального влияния — изящный тезис, позволяющий выйти за рамки «методологического национализма» и одновременно деконструировать его как производное широких межнациональных процессов и неочевидных трансферов. В дальнейшем теория Конрада повлияла на известный концепт «сплетенная память» (entangled memory) Грегора Фейндта и его соавторов, рассматривающих транснациональную память как частный случай «множественных точек зрения, асимметрии и перекрестных мнемонических практик»³³, в принципе характерных для групп, институтов, медиа, культур, а не только для наций.

³² *Ibid.: 87.*

³³ *Feindt et al 2014: 35.*

К сожалению, термин «переплетенные памяти» сегодня часто используется как метафора без всякой привязки к Конраду; иногда это просто синоним транснационального подхода или даже концепта разнонаправленной памяти (multidirectional memory) американского литературоведа Майкла Ротберга³⁴. Впрочем, эти концепты действительно схожи. В книге «Разнонаправленная память: Вспоминая Холокост в эпоху деколонизации» Ротберг, подобно Конраду, демонстрирует, насколько неочевидной может быть диалогическая ситуация, казалось бы, далеких друг от друга памятей. Так, объединяя подходы Holocaust studies и постколониальную теорию, Ротберг показывает, как дискурс о трансатлантическом рабстве и европейском колониализме повлиял на дискурс о Холокосте как геноциде и как позднее нарративы памяти о Холокосте начали заимствоваться афроамериканскими активистами, борющимися за признание культурной травмы рабства и расизма. В результате в современной мемориальной ситуации в США память о Холокосте и память о рабстве в Америке оказались взаимосвязаны³⁵. Соответственно, полагает Ротберг, коллективную память о травматическом прошлом продуктивнее рассматривать не как *сосязательную*, предполагающую «борьбу за скудные ресурсы с нулевой суммой», а как *разнонаправленную* — «как «предмет... переговоров, перекрестных ссылок и заимствований»³⁶.

³⁴ *См., напр. Henderson and Lange (eds.) 2017; Fareld 2021; Fischer 2022.*

³⁵ *Rothberg 2009: 1–29.*

³⁶ *Ibid.: 3.*

Аналогично Конраду в случае «переплетенных памятей», Ротберг подчеркивает, что дискурсивные трансферы разнонаправленной памяти не порождают автоматически солидарности между группами. Заимствование «аффективного словаря» Холокоста³⁷ есть факт транснационального взаимодействия, но это не значит, что потомки выживших

³⁷ Термин Паолы Эброн (см. *Ebron 2014*).

в Шоа воспринимают травму потомков рабов как свою или наоборот, и попытка принудить их к этому едва ли увенчается успехом. Однако, на мой взгляд, это не умаляет ценности концепта разнонаправленной памяти, который служит противовесом от «методологического национализма» или старомодного варианта компаративистики, анализирующей объекты сравнения как герметичные и не влияющие друг на друга. Из всех упомянутых концептов «разнонаправленная память» получила наибольшую популярность в Memory studies — во многом за счет неожиданного, но убедительного совмещения двух важных предметов исследования: памяти о Холокосте и памяти о колониализме.

Третий (и последний на сегодняшний день) концептуальный поворот в Transnational Memory studies связан с сомнениями ученых в плодотворности использования «национального» фрейма в самой категории транснационального. Эта проблема присуща транснациональной истории вообще, так как речь идет о неспособности расстаться с понятием, которое исследователи хотели бы преодолеть (то есть «нацией»), и потому в качестве альтернативных предлагаются термины «трансрегиональная» или «транслокальная история»³⁸. В случае Memory studies таким альтернативным концептом служит «транскультурная память» — термин, предложенный в 2011 г. немецкой исследовательницей Астрид Эрл. По ее мнению, применение его при исследовании памяти поможет избежать имплицитного представления о нации как о главном контейнере культуры и анализировать трансферы внутри больших наднациональных культур (англо-американская, испаноязычная, русскоязычная культура) и между ними. Подобный подход, с точки зрения Эрл, позволяет лучше рассмотреть, как благодаря медиа различные нарративы, образы и модели памятования, игнорируя всяческие границы, циркулируют между группами в разных точках планеты, превращая транскультурную память в синоним памяти мигрирующей, путешествующей (travelling memory)³⁹.

В данной трактовке концепт транскультурной памяти приобрел немалое влияние среди исследователей и активно используется в Memory studies⁴⁰. Вместе с тем он не вполне снимает угрозу эссенциализации, перенося ее с нации на культуру: либо та окажется очередным герметичным контейнером смыслов, либо мы не будем в состоянии определить, что есть, собственно, культура поверх национальных границ.

Защитники концепта транснациональной памяти, например Кьяра де Чезари и Энн Ригни, справедливо напоминают, что границы все-таки существуют — как воображаемые, так и государственные. Даже в эпоху глобализации национальные государства остаются главными акторами исторической и мемориальной политики, и их нельзя списывать со счета, как бы нам того ни хотелось в погоне за интеллектуальной модой, требующей во всем видеть общечеловеческие связи, заимствования и обмен. Однако доминирование государств не мешает мыслить культурную память транснационально, что означает анализировать ло-

³⁸ Конрад 2018: 70—71.

³⁹ Эрл 2011.

⁴⁰ См., напр. Bond and Rapson (eds.) 2014.

⁴¹ *De Cesari and Rigney 2014: 3—6.*

**Transnational
Memory studies:
дисциплинарные
оптики и подходы**

⁴² *См., напр. Eroll 2020; Hoskins and Halstead 2021; Kasianov 2022.*

⁴³ *Hebel (ed.) 2009; Gutman, Brown, and Sodaro. (eds.) 2010; Assmann and Conrad (eds.) 2010; Langenbacher and Shain (eds.) 2010; Bond and Rapson (eds.) 2014; De Cesari and Rigney (eds.) 2014; Gabowitsch (ed.) 2017; Andersen and Törnquist-Plewa (eds.) 2017.*

кальную, национальную и глобальную память не как отделенные друг от друга иерархические части одного «контейнера», а как динамические оптики, находящиеся во взаимодействии и взаимовлиянии⁴¹.

Распространение теорий глобальной, разнонаправленной и транскультурной памяти спровоцировало настоящий бум в Transnational Memory studies. Так, если за период с 2008 по 2017 г. в журнале «Memory Studies» вышло всего 20 статей, имевших отношение к транснациональной памяти, то в 2018—2022 гг. — уже 70. Усилению интереса к этой тематике во многом способствовали события последних лет, прежде всего пандемия COVID-19 и крупномасштабные военные действия в Европе, а также мощное развитие цифровых технологий, отчетливо показавшие силу, потенциал и вместе с тем хрупкость глобализованного мира, что не могло не привлечь внимание исследователей памяти⁴².

Но даже превращаясь в мейнстрим, Transnational Memory studies остаются (меж)дисциплинарным предприятием, и именно дисциплинарные оптики во многом определяют, как понимается транснациональный подход (а тем самым и то, какие подходы существуют бок о бок под зонтичным брендом транснационального).

Весьма примечательна уже сама география Transnational Memory studies. Так, если мы посмотрим на страновую принадлежность авторов восьми наиболее известных англоязычных сборников, посвященных транснациональной памяти и опубликованных в 2009—2017 гг.⁴³, то обнаружим, что ядро направления составляют специалисты из США (29%) и Германии (27%) — традиционных лидеров в Memory и Holocaust studies. Далее следуют ученые из Великобритании (9%), Нидерландов (9%), Дании (5%), Польши (4%), а завершают список Австрия, Канада, Израиль, Исландия и Австралия (по 2%).

Еще более любопытные пропорции дает анализ дисциплинарного бэкграунда упомянутых авторов. Первое место среди них делят литературоведы и историки (по 30%). Среди литературоведов преобладают компаративисты, специалисты по англоязычной, латиноамериканской и немецкой литературе, исследователи культурной травмы Холокоста и колониальных практик. В центре их внимания — медиапамять, трансфер визуальных образов и литературных нарративов. В жанровом отношении к ним примыкают историки искусств (6%) и музеологи (2%). Что касается историков, то это в основном специалисты по второй половине XX в., изучающие память о Второй мировой войне, Холокосте и других геноцидах, в том числе в сравнительной перспективе. В содержательном плане их больше занимают политические, социальные и историографические аспекты рассматриваемой проблемы.

Широко представлены в выборке также культурные антропологи (10%), социологи (9%) и политологи (9%). Антропологи и социологи исследуют локальные культуры памяти в их взаимосвязи с трансна-

циональной повесткой; политологи, как правило, сфокусированы на правах человека и правосудии переходного периода (transitional justice) в странах с «трудным прошлым»⁴⁴. Начали обращаться к соответствующей проблематике и международники (4%), заинтересовавшиеся тем местом, которое занимает апелляция к памяти в дипломатических отношениях между странами⁴⁵. Именно эти дисциплинарные группы, часто публикующиеся под одной обложкой, и определяют лицо современных Transnational Memory studies — весьма эклектичных и обособленных в плане предмета исследования, методологии и концептуального аппарата.

⁴⁴ Kapralski 2017; David 2017.

⁴⁵ Bachleitner 2021.

При всем обилии подходов Transnational Memory studies их можно свести к нескольким оптикам мемориального взаимодействия, которые иногда пересекаются. На мой взгляд, таких оптик шесть.

Первая оптика — это *международная* (international) оптика изучения государств. Именно государства формируют историческую политику, проводят дипломатическую политику «покаяния»/«извинения», выплачивают компенсации, содействуют комиссиям по примирению и участвуют в «войнах памяти» с соседями. В строящихся на этой оптике исследованиях транснационального взаимодействия⁴⁶ главными игроками остаются национальные государства, хотя процесс создания нового этического порядка, определяющего, кто является преступником, а кто жертвой, какими должны быть компенсации и принципы коммеморации события, нельзя представить без массовых общественных движений и НКО. Как правило, в исследованиях этого типа делается упор на распространении немецкой модели покаяния в разных странах, которые могут идеализировать немецкий опыт, задействовать его частично или вносить в него собственные новации⁴⁷. Так, опубликованный в 1985 г. доклад «Никогда снова» аргентинской Национальной комиссии по делу о массовом исчезновении людей, посвященный преступлениям хунты, равно как и заключения Комиссии правды и примирения, образованной в ЮАР после отмены апартеида, оказали на некоторые страны не меньшее влияние, чем дискурс о Холокосте⁴⁸.

⁴⁶ См., напр. Torrey 2006; Olick 2007.

⁴⁷ Gabowitsch (ed.) 2017.

⁴⁸ Энгле 2020: 131—158, 188—217.

Вторая оптика — это понимание транснациональной памяти как *наднациональной*. Эта память может носить выраженный (пост)имперский характер, что отчетливо просматривается, когда речь идет о едином «мифе» о Великой Отечественной войне в республиках СССР⁴⁹, или о том, как продвигаемый ЕС нарратив о Холокосте вступает в противоречие с локальными нарративами о национальной травме⁵⁰, или о том, как современная Турция использует память об Османской империи в качестве «мягкой силы» и ностальгической точки притяжения для бывших частей империи⁵¹. Своего рода гибридной версией наднациональной памяти является культурное наследие, которое может быть одновременно локальным и всемирным (учитывая деятельность ЮНЕСКО по определению того, что заслуживает сохранения для будущего человечества, а что нет)⁵². Такое понимание транснациональной памяти особенно продуктивно, когда авторы обращают внимание на столкновение

⁴⁹ Weiner 2001.

⁵⁰ David 2017.

⁵¹ Koureas et al. 2019.

⁵² De Cesari 2014.

между унифицирующими нарративами, которые распространяют влиятельные организации, и их функционированием на местах. Как показывает Ли Давид на примере памяти о геноциде югославских евреев, «правильная» память о Холокосте становится предметом торга между Евросоюзом (а также Международным альянсом памяти жертв Холокоста) и Сербией и Хорватией, которые, соглашаясь продвигать нужные нарративы за финансовую поддержку, сохраняют при этом локальные интерпретации трагического события⁵³.

⁵³ David 2017.

Третья оптика транснациональной памяти — *диаспорическая*. Иначе говоря, это память диаспор о миграциях, депортациях, переселениях, геноцидах, которая при наличии в государстве нескольких диаспор с культурной травмой может приводить к диалогическим эффектам разнонаправленной памяти (о чем писал Ротберг применительно к еврейской и афроамериканской общинам в США⁵⁴). О какой бы диаспорической памяти ни шла речь, будь то развитие памяти гугенотов на протяжении нескольких столетий⁵⁵, память эстонской диаспоры в Нидерландах о советских репрессиях⁵⁶, «женская память» иракской диаспоры в Аммане, Детройте и Торонто⁵⁷ или память чилийских мигрантов в Великобритании о диктатуре Пиночета⁵⁸, все исследователи подчеркивают сложный характер диаспоры как актора памяти. Во-первых, диаспора заинтересована в сохранении и институционализации коллективной памяти о родине в целях поддержания собственной идентичности в государстве проживания; во-вторых, она стремится влиять на восприятие места своего исхода другими сообществами и продуцирует особые национальные нарративы для тех, кто остался в нем; в-третьих, ее память неизбежно заимствует коммеморативные приемы, присущие инокультурным сообществам, с которыми она коммуницирует. Именно это, на мой взгляд, делает диаспору столь важным объектом исследования в рамках Transnational Memory studies — лабораторией, где процессы транснациональной памяти предстают особенно зримыми и многомерными.

⁵⁴ Rothberg 2009.

⁵⁵ Trim (ed.) 2011.

⁵⁶ Melchior 2017.

⁵⁷ Jones-Gailani 2020.

⁵⁸ Serpente 2015.

Четвертая оптика предполагает взгляд на транснациональную память как на *медиатизованную* память, акторы которой с помощью кино, литературы, прессы и других медиа создают «глобальные иконы» и осуществляют трансферы художественных и/или коммеморативных моделей по всему миру⁵⁹. С методологической точки зрения концепт медиатизированной памяти используется для нарративного, визуального, жанрового и рецептивного анализа сообщений о прошлом, которые распространяются посредниками памяти поверх границ⁶⁰. Сила медиа настолько велика, что приводит к детерриториализации памяти о событии и ее культурной апроприации за пределами страны, где это событие произошло (наглядной иллюстрацией здесь может служить «американизация» Холокоста)⁶¹.

⁵⁹ De Cesari and Rigney (eds.) 2014.

⁶⁰ Erll and Rigney (eds.) 2012.

⁶¹ Novick 1999.

Рассуждая о медиатизированной памяти, исследователи подчеркивают особую значимость продуцируемых медиа образов для сообществ, которые по разным причинам не смогли выработать собственного язы-

⁶² *Landsberg 2004.* ка о травме⁶². Классическим примером такого сообщества является Руанда. Как показывает Малгожата Вошиньска, несмотря на катастрофические масштабы геноцида тутси, имевшего место в стране в 1994 г., молодые руандийцы о нем мало знают, но зато хорошо разбираются в истории Холокоста, поскольку в музеях, спонсируемых британскими благотворительными организациями и оформленных с помощью израильских специалистов, ему уделяется непропорционально много внимания⁶³. Другими словами, при недостаточной поддержке со стороны местных акторов, чей опыт, ресурсы и креативный потенциал куда скромнее той индустрии памяти, которую предлагают, в частности, институции, вовлеченные в распространение памяти о Холокосте, сформированная медиа «глобальная икона» способна активно конкурировать с памятью о национальной травме и даже вытеснять ее.

⁶⁴ *Бахтин 1986.* В то же время стоит упомянуть и иной подход к медиатизации памяти. Люди не просто воображают прошлое «жанрами», о чем писал еще Михаил Бахтин⁶⁴, эти «жанры» еще и конкурируют между собой в пространстве мемориальных культур. Так, по мнению Вулфа Канстайнера, одна из важнейших причин торможения транснационализации памяти о Холокосте заключается в том, что старшее поколение мемориальных акторов, воспитанное на аналоговых посредниках (литературе, кино, музеях, архитектуре), не принимает социальных медиа и компьютерных игр о Холокосте, а также иных форм дигитализации. Между тем, как полагает Канстайнер, интернет как посредник памяти — не только проявление, но и двигатель глобализации, который делает доступными многие нарративы и образы памяти. Но для того чтобы выжить, то есть быть привлекательными для новых поколений, эти нарративы и образы должны меняться и медийно, и жанрово⁶⁵. И именно в процессе конкуренции медийных форм и их сторонников определяются принципы, по которым будет воображаться прошлое в глобальном цифровом мире.

⁶⁶ *Павловский 2023.* Однако было бы ошибкой видеть в цифровой памяти лишь механическое продолжение памяти медиатизованной. Цифровая революция кардинально повлияла на процессы формирования культурной и коллективной памяти, равно как и на представления о ее архивации, о циркуляции и создании образов и нарративов памяти в социальных медиа, об имитации прошлого в видеоиграх и т.д.⁶⁶ Это побуждает выделить *цифровую* память в качестве отдельной (пятой) оптики, отражающейся на понимании транснациональной памяти. С одной стороны, интернет, гаджеты и программное обеспечение делают распространение нарративов, образов и медиапамяти за пределами национальных фреймов куда проще и эффективнее, чем когда бы то ни было⁶⁷. С другой стороны, это не означает появления особой унифицированной глобальной памяти, строящейся на космополитических принципах взаимного признания и уважения. Кибероптимизм ранних Digital memory studies постепенно сошел на нет, и исследователи цифровой памяти все чаще обнаруживают, что пользователи социальных сетей, комментаторы YouTube и ре-

⁶⁶ *Павловский 2023.*

⁶⁷ *Hoskins 2011; Reading 2011.*

⁶⁸ Pentzold 2009;
Dounaevsky 2013;
Makhortukh 2020.

⁶⁹ Halstead 2021.

дакторы Википедии используют эти площадки для продвижения и пропаганды национальных нарративов о прошлом, но только делают это в глобальном масштабе для транснациональной аудитории⁶⁸ (хотя и здесь есть исключения в виде «цифрового покаяния» и транскультурного диалога в Сети⁶⁹). Интернет — глобальное место памяти и обмена идеями, но вместе с тем он и глобальное место противостояния национальных нарративов, которые живут и развиваются в транснациональном диалоге с другими.

Наконец, шестая оптика транснациональной памяти — это *глобальная* оптика как таковая. Даже сегодня мыслить память как глобальный феномен — сложное предприятие, требующее четкого разграничения красивой метафоры и реального предмета исследования. Как уже упоминалось, глобальный подход в исторических штудиях предполагает особое внимание к одновременности (симультанности, синхронии) событий и их последствий, а также к проблеме интеграции процессов, еще не приобретших качества глобальных⁷⁰. Для того чтобы такой подход заработал в Memory studies, необходимо учитывать два фактора, которые для удобства я бы обозначил как симультанность-1 и симультанность-2.

⁷⁰ Конрад 2018:
19–28, 60–71.

⁷¹ Langenbacher
and Shain (eds.)
2010.

⁷² Ertl 2020.

Симультанность-1 подразумевает изучение эффекта глобального события, послужившего триггером для множества памятей в мире, будь то Вторая мировая война, теракты 11 сентября 2001 г.⁷¹ или COVID-19⁷². К сожалению, такая сосредоточенность на памяти о глобальном чревата возвращением к «ящичному» национальному описанию проблемы с одним истоком, хотя интерес к тому, как глобальное усваивается локальными культурами, бесспорно, продуктивен, особенно если не забывать о трансферах и связях между этими традициями. В свою очередь симультанность-2 заставляет задаваться вопросами о том, как транснациональный или глобальный феномен меняет саму природу культурной памяти и воздействует на ее циркуляцию и усвоение. К подобного рода симультанным событиям можно отнести глобализацию *per se*, распространение новых посредников памяти (от печати, радио и кино до интернета и виртуальной реальности) или, скажем, появление социальных движений, которые в некий конкретный момент времени начинают влиять на отношение к прошлому сразу в нескольких странах (как, например, движение Black Lives Matter с его иконоклазмом колониального наследия в США, Великобритании и других странах).

Подобное концептуальное разделение на симультанность-1 и симультанность-2, на мой взгляд, упрощает и конкретизирует определение того, что исследователи называют глобальной памятью или памятью о глобальном. Однако нельзя сказать, чтобы эта проблема подробно освещалась в Memory studies, и глобальное понимание транснациональной памяти пока находится в зачаточном состоянии. В частности, отталкиваясь от теории Карла Ясперса, исследователи развивают применительно к культурной памяти понятие осевого времени. Так, Ян Ассман утверждает, что стремление к моральному универсализму ста-

⁷³ *Assmann 2010.* ло впервые проявляться в регионах мира примерно в 500 г. до н.э.⁷³ В свою очередь Алейда Ассман связывает осевое время современности с превращением памяти о Холокосте в универсальную норму, по крайней мере в Западной Европе и США⁷⁴ (впрочем, следует отметить, что триггером simultaneity здесь выступает не Холокост, а именно его репрезентация в 1990-е годы). Эти гипотезы выглядят интересными, но в силу своей абстрактности оставляют впечатление спекулятивных, идеологизированных и слабо подкрепленных эмпирически: как уже говорилось, распространение памяти о Шоа как основы новой общечеловеческой этики не стоит преувеличивать, и при ближайшем рассмотрении глобальная память о Холокосте оказывается не столь уж глобальной.

В контексте глобальной памяти гораздо более инструментальным мне представляется подход Конрада. Исследуя «войны памяти», развернувшиеся в Японии, Китае и Корее и между данными странами в 1990-е годы, Конрад предлагает перейти от генеалогической модели их объяснения к синхронической. Согласно генеалогической модели, эти «войны памяти», то есть публичные дебаты о жертвах и ответственности во время японской оккупации, являются отзвуком событий 1930—1940-х годов, одномоментным взрывом кипящего котла национальной травмы, которая подавлялась десятилетиями. По мнению же Конрада, продуктивнее анализировать регионализацию 1990-х годов, когда в силу процессов экономической и финансовой интеграции появилась транснациональная публичная сфера, в рамках которой нарратив о корейских и китайских жертвах был услышан или сознательно проигнорирован различными мемориальными акторами в Японии⁷⁵.

Рассуждения Конрада об истоках синхронии памяти можно рассматривать как успешную атаку на генеалогическую модель объяснения причин и следствий, в конечном счете приближающую нас к пониманию того, как анализировать глобальную память. Вместе с тем, как мне кажется, проблему генеалогии культурной памяти нельзя упрощать. Конечно, эффект синхронии проявляет связи и делает видимым в транснациональной оптике то, что раньше оставалось вне поля зрения акторов. Однако то, что станет видимым, зависит от развития архива и канона памяти в национальной традиции, а этот процесс может быть нелинейным, конфликтным и противоречивым (что прекрасно показывает тот же Конрад в книге «Поиск потерянной нации»⁷⁶). Другими словами, генеалогия нарративов памяти и синхрония их транснационализации должны исследоваться во взаимосвязи — это главный совет, который можно дать всякому, кто занимается сюжетами транснациональной памяти (но который пока так трудно реализовать на практике).

Заключение

Таким образом, применительно к сегодняшней ситуации гораздо проще сказать, от чего уводит транснациональный поворот в Memory studies, чем куда он ведет. «Методологический национализм» остается

проклятием многих исследователей памяти, и даже тогда, когда он осознается, требуются усилия по транснационализации темы, ее разгерметизации. Как начать мыслить локальное, национальное и глобальное не в качестве контейнеров смыслов и четко заданных масштабов, а в качестве условий, при которых памяти и культуры циркулируют внутри и поверх границ, пересекаясь друг с другом ради антагонистической схватки или взаимообогащения? Transnational Memory studies являются призывом к такому углу зрения и предлагают для этого эвристические инструменты, часть которых, как ни парадоксально, мы можем найти уже в текстах классиков Memory studies, и прежде всего Хальбвакса и Варбурга.

Конечно, концептуальный аппарат современных Transnational Memory studies не базируется на выводах «Легендарной топографии Евангелий в Святой Земле» Хальбвакса или «Великого переселения обрцов» Варбурга; их главный двигатель — это память о «трудном прошлом», о Холокосте, Второй мировой войне и колониализме. Обилие близкородственных концептов создает видимость конкуренции, но зачастую за этими концептами стоят принципиально разные идеологические и методологические установки. Так, если такие концепты, как «глобальная» и «космополитическая память» в трактовке Леви и Шнайдера или «диалогическая память» Ассман носят откровенно нормативный характер, то «переплетенные памяти» Конрада, «разнонаправленная память» Ротберга, «транскультурная память» Эрл обладают немалым эмпирическим потенциалом. При этом избавление от национальной перспективы в понимании транснациональной памяти еще далеко от завершения: уже сам факт того, что ученые смотрят поверх границ, свидетельствует о наличии таковых, и не столь важно, идет ли речь об эссенциальных рамках нации или культуры.

На состоянии современных Transnational Memory studies в существенной мере сказывается разнообразие дисциплинарного бэкграунда исследователей, среди которых есть и историки, и литературоведы, и антропологи, и социологи, и политологи. Именно от дисциплинарной принадлежности во многом зависит выбор исследовательской оптики. Сегодня отчетливо просматриваются шесть таких оптик — международная, наднациональная, диаспорическая, медиатизированная, цифровая и глобальная. Эти оптики могут пересекаться, но зачастую существуют автономно. В итоге, чтобы избежать скатывания к банальности или очередной метафоре, каковых в исследованиях коллективной памяти (включая сам концепт памяти) и так в избытке, каждому автору приходится ответственно определять, что именно он понимает под транснациональной памятью.

В целом не вызывает сомнений, что в условиях глобализованного мира, одновременно разделенного и связанного эпидемиями, войнами, потоками капиталов, будущее Transnational Memory studies будет зависеть от того, как много точек соприкосновения найдется между учеными с разным дисциплинарным бэкграундом и насколько быстро это

субполе институционализируется в формате научных журналов, книжных серий⁷⁷, исследовательских центров и учебных программ. Хочется верить, что этот процесс затронет и современную Россию.

Библиография

⁷⁷ На сегодняшний день наиболее важные сборники в русле *Transnational memory studies* опубликованы в рамках книжной серии издательства De Gruyter «*Media and Cultural Memory*».

Аникин Д. А. (2011) «Политика памяти в глобальном мире: предпосылки социально-философского исследования» // *Ученые записки Казанского университета. Гуманитарные науки*, т. 153, № 1: 15–21.

Ассман А. (2014) *Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика*. М.: Новое литературное обозрение.

Ассман А. (2016) *Новое недовольство мемориальной культурой*. М.: Новое литературное обозрение.

Ассман А. (2017) «Существует ли глобальная память о Холокосте? Расширение и границы нового сообщества памяти» // *Историческая экспертиза*, № 4: 9–30.

Ассман А. (2019) *Забвение истории — одержимость историей*. М.: Новое литературное обозрение.

Бахтин М.М. (1986) «Эпос и роман» // Бахтин М.М. *Литературно-критические статьи*. М.: Художественная литература: 392–427.

Винок М. (1999) «Жанна д'Арк» // Нора П., ред. *Франция — память*. СПб.: Изд-во СПбГУ: 225–295.

Головашина О.В. (2022a) «„Предания существуют, когда мы их касаемся“: предисловие к переводу М.Хальбвакса» // *Социология власти*, № 1: 140–143.

Головашина О.В. (2022b) «Memory studies в поисках эпистемологических оснований» // *Социология власти*, № 1: 8–17.

Доронченков И.А. (2008) «Аби Варбург: Сатурн и Фортуна» // Варбург А. *Великое переселение образов: Исследование по истории и психологии возрождения античности*. СПб.: Азбука-классика: 7–50.

Конрад С. (2018) *Что такое глобальная история?* М.: Новое литературное обозрение.

Летняков Д.Э. (2020) «Транснациональная история как способ работы с коллективной памятью» // *Вопросы философии*, № 7: 20–24.

Нора П. (1999) «Как писать историю Франции?» // Нора П., ред. *Франция — память*. СПб.: Изд-во СПбГУ: 66–94.

Павловский А.Ф. (2023) «Цифровые рамки коллективной памяти: куда ведет цифровой поворот в memory studies?» // Павловский А.Ф. и А.И.Миллер, ред. *Память в Сети: цифровой поворот в memory studies*. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге: 7–49.

Пахалюк К.А. (2016) «Глобальная культура памяти: в поисках телеологической перспективы» // *Историческая экспертиза*, № 3: 33–48.

Репина Л.П. (2017) «Память о событиях в контекстах национальной, перекрестной и глобальной истории (к постановке вопроса)» // *Запад — Восток*, № 10: 13–19. URL: <http://west-east.marsu.ru/view/journal/article.html?id=165> (проверено 6.03.2023).

Сафронова Ю.А. (2018) «Третья волна *memory studies*: Двадцать три года против шерсти» // *Политическая наука*, № 3: 12—27. URL: http://inion.ru/site/assets/files/3348/2018_politicheskaia_nauka_3.pdf (проверено 6.03.2023).

Сафронова Ю.А. (2019) *Историческая память: Введение*. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Хальбвакс М. (2005) «Коллективная и историческая память» // *Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре*, № 2—3 (40—41): 8—27. URL: <https://magazines.gorky.media/nz/2005/2/kollektivnaya-i-istoricheskaya-pamyat.html> (проверено 16.02.2023).

Хальбвакс М. (2007) *Социальные рамки памяти*. М.: Новое издательство.

Эппле Н. (2020) *Неудобное прошлое: Память о государственных преступлениях в России и других странах*. М.: Новое литературное обозрение.

Эрлих С.Е. (2016) «Глобальная память информационного общества: этика, идентичность, нарратив» // *Историческая экспертиза*, № 3: 11—32.

Alexander J.C. (2002) «On the Social Construction of Moral Universals: The „Holocaust“ from Mass Murder to Trauma Drama» // *European Journal of Social Theory*, vol. 5, no. 1: 5—86.

Alexander J.C. (2004) «Toward a Theory of Cultural Trauma» // Alexander J.C., R.Eyerman, B.Giesen, N.J.Smelser, and P.Sztompka. *Cultural Trauma and Collective Identity*. Berkeley: University of California Press: 196—263.

Andersen T.S. and B.Törnquist-Plewa, eds. (2017) *The Twentieth Century in European Memory: Transcultural Mediation and Reception*. Leiden, Boston: Brill.

Assmann A. and S.Conrad, eds. (2010) *Memory in a Global Age: Discourses, Practices and Trajectories*. London: Palgrave Macmillan.

Assmann J. (2010) «Globalization, Universalism, and the Erosion of Cultural Memory» // Assmann A. and S.Conrad, eds. *Memory in a Global Age: Discourses, Practices and Trajectories*. London: Palgrave Macmillan: 121—137.

Assmann J. (2011) *Cultural Memory and Early Civilization: Writing, Remembrance and Political Imagination*. Cambridge: Cambridge University Press.

Bachleitner K. (2021) *Collective Memory in International Relations*. Oxford: Oxford University Press.

Bond L. and J.Rapson, eds. (2014) *The Transcultural Turn: Interrogating Memory Between and Beyond Borders*. Berlin, Boston: De Gruyter.

Conrad S. (2003) «Entangled Memories: Versions of the Past in Germany and Japan, 1945—2001» // *Journal of Contemporary History*, vol. 38, no. 1: 85—99.

Conrad S. (2010a) «Remembering Asia: History and Memory in Post-Cold War Japan» // Assmann A. and S.Conrad, eds. *Memory in a Global*

Age: Discourses, Practices and Trajectories. London: Palgrave Macmillan: 163–178.

Conrad S. (2010b) *The Quest for the Lost Nation. Writing History in Germany and Japan in the American Century*. Berkeley: University of California Press.

David L. (2017) «Lost in Transaction in Serbia and Croatia: Memory Content as a Trade Currency» // Gabowitsch M., ed. *Replicating Atonement: Foreign Models in the Commemoration of Atrocities*. London: Palgrave Macmillan: 73–98.

De Cesari C. (2014) «World Heritage and the Nation-State: A View from Palestine» // De Cesari C. and A.Rigney, eds. *Transnational Memory: Circulation, Articulation, Scales*. Berlin, Boston: De Gruyter: 247–270.

De Cesari C. and A.Rigney. (2014) «Introduction» // De Cesari C. and A.Rigney, eds. *Transnational Memory: Circulation, Articulation, Scales*. Berlin, Boston: De Gruyter: 1–21.

De Cesari C. and A.Rigney, eds. (2014) *Transnational Memory: Circulation, Articulation, Scales*. Berlin, Boston: De Gruyter.

Dounaevsky H. (2013) «Building Wiki-History: Between Consensus and Edit Warring» // Rutten E., J.Fedor, and V.Zvereva, eds. *Memory, Conflict and New Media: Web Wars in Post-Socialist States*. London, New York: Routledge: 130–142.

Ebron P.A. (2014) «Slavery and Transnational Memory: The Making of New Publics» // De Cesari C. and A.Rigney, eds. *Transnational Memory: Circulation, Articulation, Scales*. Berlin, Boston: De Gruyter: 147–168.

Erl A. (2011) «Travelling Memory» // Crownshaw R., ed. *Transcultural Memory*. London, New York: Routledge: 4–18.

Erl A. (2020) «Afterword: Memory Worlds in Times of Corona» // *Memory Studies*, vol. 13, no. 5: 861–874.

Erl A. and A.Rigney, eds. (2012) *Mediation, Remediation, and the Dynamics of Cultural Memory*. Berlin, Boston: De Gruyter.

Fareld V. (2021) «Entangled Memories of Violence: Jean Améry and Frantz Fanon» // *Memory Studies*, vol. 14, no. 1: 58–67.

Feindt G., F.Krawatzek, D.Mehler, F.Pestel, and R.Trimçev. (2014) «Entangled Memory: Toward a Third Wave in Memory Studies» // *History and Theory*, vol. 53, no. 1: 24–44.

Fischer N. (2022) «Entangled Suffering and Disruptive Empathy: The Holocaust, the Nakba and the Israeli-Palestinian Conflict in Susan Abulhawa's Mornings in Jenin» // *Memory Studies*, vol. 15, no. 4: 695–712.

Gabowitsch M. (2017) «Replicating Atonement: The German Model and Beyond» // Gabowitsch M., ed. *Replicating Atonement: Foreign Models in the Commemoration of Atrocities*. London: Palgrave Macmillan: 1–23.

Gabowitsch M., ed. (2017) *Replicating Atonement: Foreign Models in the Commemoration of Atrocities*. London: Palgrave Macmillan.

Gutman Y., A.D.Brown, and A.Sodaro, eds. (2010) *Memory and the Future Transnational Politics, Ethics and Society*. London: Palgrave Macmillan.

Halstead H. (2021) «„We Did Commit These Crimes“: Post-Ottoman Solidarities, Contested Places and Kurdish Apology for the Armenian Genocide on Web 2.0» // *Memory Studies*, vol. 14, no. 3: 634–649.

Haupt H.-G. and J.Kocka, eds. (2009) *Comparative and Transnational History: Central European Approaches and New Perspectives*. New York: Berghahn Books.

Hebel U.J., ed. (2009) *Transnational American Memories*. Berlin, New York: Walter de Gruyter.

Henderson M. and J.Lange, eds. (2017) *Entangled Memories: Remembering the Holocaust in a Global Age*. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.

Hoskins A. (2011) «7/7 and Connective Memory: Interactional Trajectories of Remembering in Post-Scarcity Culture» // *Memory Studies*, vol. 4, no. 3: 269–280.

Hoskins A. and H.Halstead. (2021) «The New Grey of Memory: Andrew Hoskins in Conversation with Huw Halstead» // *Memory Studies*, vol. 14, no. 3: 675–685.

Iriye A. and P.-Y.Saunier. (2009) *The Palgrave Dictionary of Transnational History*. London: Palgrave Macmillan.

Jones-Gailani N. (2020) *Transnational Identity and Memory Making in the Lives of Iraqi Women in Diaspora*. Toronto: University of Toronto Press.

Kansteiner W. (2017) «Transnational Holocaust Memory, Digital Culture and the End of Reception Studies» // Andersen T.S. and B.Törnquist-Plewa, eds. *The Twentieth Century in European Memory: Transcultural Mediation and Reception*. Leiden, Boston: Brill: 305–344.

Kapralski S. (2017) «Jews and the Holocaust in Poland’s Memoryscapes: An Inquiry into Transcultural Amnesia» // Andersen T.S. and B.Törnquist-Plewa, eds. *The Twentieth Century in European Memory: Transcultural Mediation and Reception*. Leiden, Boston: Brill: 170–197.

Kasianov G. (2022) «Challenges of Antagonistic Memory: Scholars versus Politics and War» // *Memory Studies*, vol. 15, no. 6: 1295–1298.

Koureas G., J.Prosser, C.Wilson, and L.Hakim-Dowek. (2019) «Ottoman Transcultural Memories: Introduction» // *Memory Studies*, vol. 12, no. 5: 483–492.

Landsberg A. (2004) *Prosthetic Memory: The Transformation of American Remembrance in the Age of Mass Culture*. New York: Columbia University Press.

Langenbacher E. and Y.Shain, eds. (2010) *Power and the Past: Collective Memory and International Relations*. Washington: Georgetown University Press.

Leggewie C. (2008) «A Tour of the Battleground: The Seven Circles of Pan-European Memory» // *Social Research*, vol. 75, no. 1: 217–234.

Levy D. and N.Sznaider. (2005) *Holocaust and Memory in the Global Age*. Philadelphia: Temple University Press.

Lim J.-H. (2010) «Victimhood Nationalism in Contested Memories: National Mourning and Global Accountability» // Assmann A. and S.Conrad,

eds. *Memory in a Global Age: Discourses, Practices and Trajectories*. London: Palgrave Macmillan: 138—162.

Majerus B. (2014) «The „Lieux de Memoire“: a Place of Remembrance for European Historians?» // Berger S. and J.Seiffert, eds. *Erinnerungsorte: Chancen, Grenzen und Perspektiven eines Erfolgskonzeptes in den Kulturwissenschaften*. Essen: Klartext: 117—130.

Makhortykh M. (2020) «Remediating the Past: YouTube and Second World War Memory in Ukraine and Russia» // *Memory Studies*, vol. 13, no. 2: 146—161.

Melchior I. (2017) «Double Victims and Agents of Change in Europe’s Margins: Estonian Emigrants Sharing „Their“ Repressive Soviet Past in the Netherlands» // Andersen T.S. and B.Törnquist-Plewa, eds. *The Twentieth Century in European Memory: Transcultural Mediation and Reception*. Leiden, Boston: Brill: 122—146.

Novick P. (1999) *The Holocaust in American Life*. Boston: Houghton Mifflin.

Olick J.K. (2007) *The Politics of Regret: On Collective Memory and Historical Responsibility*. London, New York: Routledge.

Pentzold C. (2009) «Fixing the Floating Gap: The Online Encyclopaedia Wikipedia as a Global Memory Place» // *Memory Studies*, vol. 2, no. 2: 255—272.

Reading A. (2011) «Memory and Digital Media: Six Dynamics of the Global Memory Field» // Neiger M., O.Meyers, and E.Zandberg, eds. *On Media Memory: Collective Memory in a New Media Age*. London: Palgrave Macmillan: 241—252.

Rothberg M. (2009) *Multidirectional Memory: Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization*. Stanford: Stanford University Press.

Rothberg M. (2014a) «Locating Transnational Memory» // *European Review*, vol. 22, no. 4: 652—656.

Rothberg M. (2014b) «Multidirectional Memory in Migratory Settings: The Case of Post-Holocaust Germany» // De Cesari C. and A.Rigney, eds. *Transnational Memory: Circulation, Articulation, Scales*. Berlin, Boston: De Gruyter: 123—146.

Serpente A. (2015) «Diasporic Constellations: The Chilean Exile Diaspora Space as a Multidirectional Landscape of Memory» // *Memory Studies*, vol. 8, no. 1: 49—61.

Torpey J. (2006) *Making Whole What Has Been Smashed: On Reparations Politics*. Cambridge (MA): Harvard University Press.

Trim D.J.B., ed. (2011) *The Huguenots: History and Memory in Transnational Context*. Leiden, Boston: Brill.

Weiner A. (2001) *Making Sense of War: The Second World War and the Fate of the Bolshevik Revolution*. Princeton: Princeton University Press.

Wosińska M. (2017) «Murambi Is Not Auschwitz: The Holocaust in Representations of the Rwandan Genocide» // Gabowitsch M., ed. *Replicating Atonement: Foreign Models in the Commemoration of Atrocities*. London: Palgrave Macmillan: 187—208.



A.F.Pavlovskii

IN SEARCH OF GLOBAL MEMORY: WHERE DOES THE TRANSNATIONAL TURN IN MEMORY STUDIES LEAD?

Aleksei F. Pavlovskii — Ph.D. Candidate at the Department of History, Associate Researcher at the Center for the Study of Cultural Memory and Symbolic Politics, European University at St Petersburg (EUSP). Email: apavlovskiy@eu.spb.ru.

Abstract. The article is devoted to the transnational turn in the research of collective and cultural memory in the 21st century, reflecting the desire of scientists working within Memory studies to go beyond “methodological nationalism” and explore the formation and circulation of historical memory across borders. Based on the English-language literature of the 2000s—2020s, the author analyzes the emerging field of Transnational Memory studies from the point of view of the categorical apparatus, disciplinary features and research approaches.

Having documented that discussions about the transcultural dimension of collective memory are present even in the works of the classics of Memory studies, the author shows that the efforts of their modern critics are driven by the attempts to conceptualize the memory of the Holocaust, World War II, colonialism and other events of the “difficult past”. The abundance of closely related concepts elaborated in recent years creates an illusion of competition in this field, but these concepts are often based on fundamentally different ideological and methodological settings, and if some of the concepts possess a certain empirical potential, others are completely normative.

The author identifies six main research lenses within the current state of Transnational Memory studies — international, supranational, diasporic, mediated, digital and, finally, global, associated with the problem of memory synchrony/simultaneity. At the same time, according to his conclusion, getting rid of the national perspective in understanding transnational memory is still far from complete, and the very fact that scientists look beyond borders indicates that such borders still exist.

Keywords: global memory, transnational memory, transcultural memory, Memory studies, places of memory, Holocaust, simultaneity

References

- Alexander J.C. (2002) “On the Social Construction of Moral Universals: The „Holocaust“ from Mass Murder to Trauma Drama” // *European Journal of Social Theory*, vol. 5, no. 1: 5–86.
- Alexander J.C. (2004) “Toward a Theory of Cultural Trauma” // Alexander J.C., R.Eyerman, B.Giesen, N.J.Smelser, and P.Sztompka. *Cultural Trauma and Collective Identity*. Berkeley: University of California Press: 196–263.
- Andersen T.S. and B.Törnquist-Plewa, eds. (2017) *The Twentieth Century in European Memory: Transcultural Mediation and Reception*. Leiden, Boston: Brill.
- Anikin D.A. (2011) “Politika pamjati v global’nom mire: predposylki sotsial’no-filosofskogo issledovanija” [The Policy of Memory in the Global World: Preconditions for Social and Philosophical Research] // *Uchenye zapiski Kazanskogo universiteta. Gumanitarnye nauki* [Proceedings of Kazan University. Humanities Series], vol. 153, no. 1: 15–21. (In Russ.)
- Assmann A. (2014) *Dlinnaja ten’ proshlogo: Memorial’naja kul’tura i istoricheskaja politika* [Der lange Schatten der Vergangenheit: Erinnerungskultur und Geschichtspolitik]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russ.)
- Assmann A. (2016) *Novoe nedovol’stvo memorial’noj kul’turoj* [Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russ.)
- Assmann A. (2017) “Sushchestvuet li global’naja pamjat’ o Kholokoste? Rasshirenie i granitsy novogo soobshchestva pamjati” [The Holocaust — a Global Memory? Extensions and Limits of a New Memory Community] // *Istoricheskaja ekspertiza* [Historical Expertise], no. 4: 9–30. (In Russ.)
- Assmann A. (2019) *Zabvenie istorii — odezhimost’ istoriej* [Geschichtsvergessenheit — Geschichtsversessenheit]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russ.)
- Assmann A. and S.Conrad, eds. (2010) *Memory in a Global Age: Discourses, Practices and Trajectories*. London: Palgrave Macmillan.
- Assmann J. (2010) “Globalization, Universalism, and the Erosion of Cultural Memory” // Assmann A. and S.Conrad, eds. *Memory in a Global Age: Discourses, Practices and Trajectories*. London: Palgrave Macmillan: 121–137.
- Assmann J. (2011) *Cultural Memory and Early Civilization: Writing, Remembrance and Political Imagination*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bachleitner K. (2021) *Collective Memory in International Relations*. Oxford: Oxford University Press.
- Bakhtin M.M. (1986) “Epos i roman” [Epic and Novel] // Bakhtin M.M. *Literaturno-kriticheskie stat’i* [Literary and Critical Articles]. Moscow: Khudozhestvennaja literatura: 392–427. (In Russ.)
- Bond L. and J.Rapson, eds. (2014) *The Transcultural Turn: Interrogating Memory Between and Beyond Borders*. Berlin, Boston: De Gruyter.

Conrad S. (2003) “Entangled Memories: Versions of the Past in Germany and Japan, 1945–2001” // *Journal of Contemporary History*, vol. 38, no. 1: 85–99.

Conrad S. (2010a) “Remembering Asia: History and Memory in Post-Cold War Japan” // Assmann A. and S.Conrad, eds. *Memory in a Global Age: Discourses, Practices and Trajectories*. London: Palgrave Macmillan: 163–178.

Conrad S. (2010b) *The Quest for the Lost Nation: Writing History in Germany and Japan in the American Century*. Berkeley: University of California Press.

Conrad S. (2018) *Chto takoe global'naja istorija?* [What Is Global History?] Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russ.)

David L. (2017) “Lost in Transaction in Serbia and Croatia: Memory Content as a Trade Currency” // Gabowitsch M., ed. *Replicating Atonement: Foreign Models in the Commemoration of Atrocities*. London: Palgrave Macmillan: 73–98.

De Cesari C. (2014) “World Heritage and the Nation-State: A View from Palestine” // De Cesari C. and A.Rigney, eds. *Transnational Memory: Circulation, Articulation, Scales*. Berlin, Boston: De Gruyter: 247–270.

De Cesari C. and A.Rigney. (2014) “Introduction” // De Cesari C. and A.Rigney, eds. *Transnational Memory: Circulation, Articulation, Scales*. Berlin, Boston: De Gruyter: 1–21.

De Cesari C. and A.Rigney, eds. (2014) *Transnational Memory: Circulation, Articulation, Scales*. Berlin, Boston: De Gruyter.

Doronchenkov I.A. (2008) “Abi Warburg: Saturn i Fortuna” [Abi Warburg: Saturn and Fortune] // Warburg A. *Velikoe pereselenie obrazov: Issledovanie po istorii i psikhologii vozrozhdenija antichnosti* [The Great Migration of Images: A Study on the History and Psychology of the Renaissance of Antiquity]. St Petersburg: Azbuka-klassika: 7–50. (In Russ.)

Dounaevsky H. (2013) “Building Wiki-History: Between Consensus and Edit Warring” // Rutten E., J.Fedor, and V.Zvereva, eds. *Memory, Conflict and New Media: Web Wars in Post-Socialist States*. London, New York: Routledge: 130–142.

Ebron P.A. (2014) “Slavery and Transnational Memory: The Making of New Publics” // De Cesari C. and A.Rigney, eds. *Transnational Memory: Circulation, Articulation, Scales*. Berlin, Boston: De Gruyter: 147–168.

Ehrlich S.E. (2016) “Global'naja pamjat' informatsionnogo obshchestva: etika, identichnost', narrative” [The Global Memory of the Information Society: Ethics, Identity, Narrative] // *Istoricheskaja ekspertiza* [Historical Expertise], no. 3: 11–32. (In Russ.)

Epple N. (2020) *Neudobnoe proshloe: pamjat' o gosudarstvennykh prestuplenijakh v Rossii i drugikh stranakh* [An Inconvenient Past: the Memory of State Crimes in Russia and Other Countries]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russ.)

Erl A. (2011) “Travelling Memory” // Crownshaw R., ed. *Transcultural Memory*. London, New York: Routledge: 4–18.

- Erl A. (2020) “Afterword: Memory Worlds in Times of Corona” // *Memory Studies*, vol. 13, no. 5: 861–874.
- Erl A. and A.Rigney, eds. (2012) *Mediation, Remediation, and the Dynamics of Cultural Memory*. Berlin, Boston: De Gruyter.
- Fareld V. (2021) “Entangled Memories of Violence: Jean Améry and Frantz Fanon” // *Memory Studies*, vol. 14, no. 1: 58–67.
- Feindt G., F.Krawatzek, D.Mehler, F.Pestel, and R.Trimçev. (2014) “Entangled Memory: Toward a Third Wave in Memory Studies” // *History and Theory*, vol. 53, no. 1: 24–44.
- Fischer N. (2022) “Entangled Suffering and Disruptive Empathy: The Holocaust, the Nakba and the Israeli-Palestinian Conflict in Susan Abulhawa’s Mornings in Jenin” // *Memory Studies*, vol. 15, no. 4: 695–712.
- Gabowitsch M. (2017) “Replicating Atonement: The German Model and Beyond” // Gabowitsch M., ed. *Replicating Atonement: Foreign Models in the Commemoration of Atrocities*. London: Palgrave Macmillan: 1–23.
- Gabowitsch M., ed. (2017) *Replicating Atonement: Foreign Models in the Commemoration of Atrocities*. London: Palgrave Macmillan.
- Golovashina O.V. (2022a) “„Predanija sushchestvujut, kogda my ikh kasaemsja“: predislovie k perevodu M.Hal'bvaksa” [“Legends Exist When We Touch Them”: Preface to the Translation of M.Halbwachs’ Works] // *Sotsiologija vlasti* [Sociology of Power], no. 1: 140–143. (In Russ.)
- Golovashina O.V. (2022b) “Memory studies v poiskakh epistemologicheskikh osnovanij” [Memory Studies in Search of Epistemological Foundations] // *Sotsiologija vlasti* [Sociology of Power], no. 1: 8–17. (In Russ.)
- Gutman Y., A.D.Brown, and A.Sodaro, eds. (2010) *Memory and the Future Transnational Politics, Ethics and Society*. London: Palgrave Macmillan.
- Halbwachs M. (2005) “Kollektivnaja i istoricheskaja pamjat’” [La mémoire collective] // *Neprikosnovennyj zapas. Debaty o politike i kul'ture* [NZ: Debates on Politics and Culture], no. 2–3 (40–41): 8–27. URL: <https://magazines.gorky.media/nz/2005/2/kollektivnaya-i-istoricheskaya-pamyat.html> (accessed on 16.02.2023). (In Russ.)
- Halbwachs M. (2007) *Sotsial'nye ramki pamjati* [Les cadres sociaux de la memoire]. Moscow: Novoe izdatel'stvo. (In Russ.)
- Halstead H. (2021) “„We Did Commit These Crimes“: Post-Ottoman Solidarities, Contested Places and Kurdish Apology for the Armenian Genocide on Web 2.0” // *Memory Studies*, vol. 14, no. 3: 634–649.
- Haupt H.-G. and J.Kocka, eds. (2009) *Comparative and Transnational History: Central European Approaches and New Perspectives*. New York: Berghahn Books.
- Hebel U.J., ed. (2009) *Transnational American Memories*. Berlin, New York: Walter de Gruyter.
- Henderson M. and J.Lange, eds. (2017) *Entangled Memories: Remembering the Holocaust in a Global Age*. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.

Hoskins A. (2011) “7/7 and Connective Memory: Interactional Trajectories of Remembering in Post-Scarcity Culture” // *Memory Studies*, vol. 4, no. 3: 269–280.

Hoskins A. and H.Halstead. (2021) “The New Grey of Memory: Andrew Hoskins in Conversation with Huw Halstead” // *Memory Studies*, vol. 14, no. 3: 675–685.

Iriye A. and P.-Y.Saunier. (2009) *The Palgrave Dictionary of Transnational History*. London: Palgrave Macmillan.

Jones-Gailani N. (2020) *Transnational Identity and Memory Making in the Lives of Iraqi Women in Diaspora*. Toronto: University of Toronto Press.

Kansteiner W. (2017) “Transnational Holocaust Memory, Digital Culture and the End of Reception Studies” // Andersen T.S. and B.Törnquist-Plewa, eds. *The Twentieth Century in European Memory: Transcultural Mediation and Reception*. Leiden, Boston: Brill: 305–344.

Kapralski S. (2017) “Jews and the Holocaust in Poland’s Memoryscapes: An Inquiry into Transcultural Amnesia” // Andersen T.S. and B.Törnquist-Plewa, eds. *The Twentieth Century in European Memory: Transcultural Mediation and Reception*. Leiden, Boston: Brill: 170–197.

Kasianov G. (2022) “Challenges of Antagonistic Memory: Scholars versus Politics and War” // *Memory Studies*, vol. 15, no. 6: 1295–1298.

Koureas G., J.Prosser, C.Wilson, and L.Hakim-Dowek. (2019) “Ottoman Transcultural Memories: Introduction” // *Memory Studies*, vol. 12, no. 5: 483–492.

Landsberg A. (2004) *Prosthetic Memory: The Transformation of American Remembrance in the Age of Mass Culture*. New York: Columbia University Press.

Langenbacher E. and Y.Shain, eds. (2010) *Power and the Past: Collective Memory and International Relations*. Washington: Georgetown University Press.

Leggewie C. (2008) “A Tour of the Battleground: The Seven Circles of Pan-European Memory” // *Social Research*, vol. 75, no. 1: 217–234.

Letnyakov D.E. (2020) “Transnatsional'naja istorija kak sposob raboty s kollektivnoj pamjat'ju” [Transnational History as a Way of Working with Collective Memory] // *Voprosy filosofii* [Problems of Philosophy], no. 7: 20–24. (In Russ.)

Levy D. and N.Sznaider. (2005) *Holocaust and Memory in the Global Age*. Philadelphia: Temple University Press.

Lim J.-H. (2010) “Victimhood Nationalism in Contested Memories: National Mourning and Global Accountability” // Assmann A. and S.Conrad, eds. *Memory in a Global Age: Discourses, Practices and Trajectories*. London: Palgrave Macmillan: 138–162.

Majerus B. (2014) “The „Lieux de Memoire“: a Place of Remembrance for European Historians?” // Berger S. and J.Seiffert, eds. *Erinnerungsorte: Chancen, Grenzen und Perspektiven eines Erfolgskonzeptes in den Kulturwissenschaften*. Essen: Klartext: 117–130.

Makhortykh M. (2020) “Remediating the Past: YouTube and Second World War Memory in Ukraine and Russia” // *Memory Studies*, vol. 13, no. 2: 146–161.

Melchior I. (2017) “Double Victims and Agents of Change in Europe’s Margins: Estonian Emigrants Sharing „Their“ Repressive Soviet Past in the Netherlands” // Andersen T.S. and B.Törnquist-Plewa, eds. *The Twentieth Century in European Memory: Transcultural Mediation and Reception*. Leiden, Boston: Brill: 122–146.

Nora P. (1999) “Kak pisat’ istoriju Frantsii?” [Comment écrire l’histoire de France?] // Nora P., ed. *Frantsija — pamjat’* [France — Memory]. St Petersburg: Izd-vo SPbGU: 66–94. (In Russ.)

Novick P. (1999) *The Holocaust in American Life*. Boston: Houghton Mifflin.

Olick J.K. (2007) *The Politics of Regret: On Collective Memory and Historical Responsibility*. London, New York: Routledge.

Pakhaliuk K.A. (2016) “Global’naja kul’tura pamjati: v poiskakh teleologicheskoy perspektivy” [The Global Memory Culture in Searching of Teleological Perspective] // *Istoricheskaja ekspertiza* [Historical Expertise], no. 3: 33–48. (In Russ.)

Pavlovskii A.F. (2023) “Tsifrovye ramki kollektivnoj pamjati: kuda vedet tsifrovoy povorot v memory studies?” [Digital Framework of Collective Memory: Where Does the Digital Turn in Memory Studies Lead?] // Pavlovskii A.F. and A.I.Miller, eds. *Pamjat’ v Seti: tsifrovoy povorot v memory studies* [Memory in the Web: A Digital Turn in Memory Studies]. St Petersburg: Izd-vo Evropejskogo universiteta v Sankt-Peterburge: 7–49. (In Russ.)

Pentzold C. (2009) “Fixing the Floating Gap: The Online Encyclopaedia Wikipedia as a Global Memory Place” // *Memory Studies*, vol. 2, no. 2: 255–272.

Reading A. (2011) “Memory and Digital Media: Six Dynamics of the Global Memory Field” // Neiger M., O.Meyers, and E.Zandberg, eds. *On Media Memory: Collective Memory in a New Media Age*. London: Palgrave Macmillan: 241–252.

Repina L.P. (2017) “Pamjat’ o sobytijakh v kontekstakh natsional’noj, perekrestnoj i global’noj istorii (k postanovke voprosa)” [The Memory of Events in the Contexts of National, Cross and Global History (To the Formulation of the Question)] // *Zapad — Vostok* [West — East], no. 10: 13–19. URL: <http://west-east.marsu.ru/view/journal/article.html?id=165> (accessed on 6.03.2023). (In Russ.)

Rothberg M. (2009) *Multidirectional Memory: Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization*. Stanford: Stanford University Press.

Rothberg M. (2014a) “Locating Transnational Memory” // *European Review*, vol. 22, no. 4: 652–656.

Rothberg M. (2014b) “Multidirectional Memory in Migratory Settings: The Case of Post-Holocaust Germany” // De Cesari C. and A.Rigney, eds. *Transnational Memory: Circulation, Articulation, Scales*. Berlin, Boston: De Gruyter: 123–146.

Safronova Yu.A. (2018) “Tret’ja volna *memory studies*: Dvadtsat’ tri goda protiv shersti” [The Third Wave of *Memory Studies*: Going against the Grain for Twenty-three Years] // *Politicheskaja nauka* [Political Science], no. 3: 12–27. URL: http://inion.ru/site/assets/files/3348/2018_politicheskaja_nauka_3.pdf (accessed on 6.03.2023). (In Russ.)

Safronova Yu.A. (2019) *Istoricheskaja pamjat’: Vvedenie* [Historical Memory: Introduction]. St Petersburg: Izd-vo Evropejskogo universiteta v Sankt-Peterburge. (In Russ.)

Serpente A. (2015) “Diasporic Constellations: The Chilean Exile Diaspora Space as a Multidirectional Landscape of Memory” // *Memory Studies*, vol. 8, no. 1: 49–61.

Torpey J. (2006) *Making Whole What Has Been Smashed: On Reparations Politics*. Cambridge (MA): Harvard University Press.

Trim D.J.B., ed. (2011) *The Huguenots: History and Memory in Transnational Context*. Leiden, Boston: Brill.

Weiner A. (2001) *Making Sense of War: The Second World War and the Fate of the Bolshevik Revolution*. Princeton: Princeton University Press.

Winock M. (1999) “Zhanna d’Ark” [Joan of Arc] // Nora P., ed. *Frantsija — pamjat’* [France — Memory]. St Petersburg: Izd-vo SPbGU: 225–295. (In Russ.)

Wosińska M. (2017) “Murambi Is Not Auschwitz: The Holocaust in Representations of the Rwandan Genocide” // Gabowitsch M., ed. *Replicating Atonement: Foreign Models in the Commemoration of Atrocities*. London: Palgrave Macmillan: 187–208.



XVIII КОНКУРС РАБОТ МОЛОДЫХ ПОЛИТОЛОГОВ НА ПРЕМИЮ А.М.САЛМИНА

Проводится ежегодно

Условия конкурса

1. К участию в конкурсе приглашаются студенты и аспиранты факультетов политологии, научные сотрудники исследовательских институтов и аналитических центров, не достигшие ко времени подачи работы 30 лет.
2. К участию в конкурсе принимаются работы объемом не более 40 тыс. знаков.
3. Приоритетными (для конкурса) направлениями политической науки являются: сравнительный анализ политических культур, политических институтов, межэтнических и церковно-государственных отношений.
4. Работы принимаются до 31 декабря 2023 г., оглашение результатов происходит во второй половине февраля.
5. Принятые к публикации в журнале «Полития» статьи авторов, отвечающих требованиям, изложенным в пункте 1, рассматриваются Жюри автоматически.
6. По итогам конкурса присуждаются первая (30 тыс. рублей), вторая (15 тыс. рублей) и третья (10 тыс. рублей) премии.

Работы с пометкой «на конкурс» присылать на электронный адрес: politeia@politeia.ru.

ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «ПОЛИТИЯ»

1. Предлагаемые для публикации статьи направляются на электронный адрес Редакции (politeia@politeia.ru) в формате *.doc или *.docx.

2. Все статьи публикуются на бесплатной основе независимо от научного статуса авторов (в том числе аспирантские).

3. К статье должна прилагаться следующая информация об авторе (авторах): фамилия, имя и отчество полностью (на русском и английском языках), ученая степень и ученое звание, место работы, должность, контактный телефон, адрес электронной почты. Статьи, поступившие от посреднических контор, к рассмотрению не принимаются.

4. К статье следует приложить аннотацию на русском и английском языках. Аннотация должна представлять собой краткий аналитический текст (1500—2000 знаков с пробелами), раскрывающий основное содержание статьи. В конце аннотации следует указать 5—7 ключевых слов статьи на русском и английском языках.

5. Рекомендуемый объем статьи — 30—40 тыс. знаков с пробелами. Тексты, выходящие за пределы данного объема, рассматриваются Редакцией только в порядке исключения.

6. Статья должна иметь библиографический список на русском и английском языках. В списке указываются все авторы и источники, цитируемые в тексте. На каждую работу из списка обязательна ссылка в тексте. Библиографические и текстовые ссылки даются в подстрочных примечаниях со сквозной нумерацией. Цитаты, приводимые в статье, должны быть тщательно выверены.

7. В связи с особенностями макета «Политии» просим авторов воздерживаться от обширных подстрочных примечаний.

8. Текст статьи должен быть приведен автором в максимальное соответствие со стилистическими, орфографическими, синтаксическими и прочими языковыми нормами до отправки его в Редакцию. Сокращения слов не допускаются.

9. Таблицы и рисунки должны быть пронумерованы, иметь название и располагаться по месту их будущего размещения в макете. Числовые данные в таблицах должны быть выверены автором. В тексте должна быть ссылка на каждую таблицу и рисунок (их порядковый номер). Рисунки должны быть выполнены в черно-белом формате. Таблицы и рисунки должны интегрироваться в файл формата *.doc (*.docx) с сохранением возможности их редактирования.

10. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать статьи. По заранее оговоренному желанию автора редакционная правка подлежит согласованию с автором.

11. Все статьи, поступившие в Редакцию и отвечающие профилю, концепции и тематике журнала, проходят рецензирование. Принятие первичного решения о соответствии/несоответствии поступивших в Редакцию статей профилю, концепции и тематике журнала является прерогативой коллегии в составе Главного редактора и всех заместителей Главного редактора журнала. Статьи, не прошедшие экспертизу коллегии в составе Главного редактора и всех заместителей Главного редактора журнала, к рецензированию не принимаются.

12. Редакция принимает окончательное решение о публикации (или отклонении) статей, учитывая мнения рецензентов. Рецензирование носит обоюдно анонимный характер: имена авторов не сообщаются рецензентам, имена рецензентов не сообщаются авторам.

Регламент рецензирования подробно описан в «Порядке рассмотрения и рецензирования статей, поступивших в редакцию журнала „Полития“» на сайте журнала (<http://politeia.ru/content/pravila-predostavlenija-rukopisej/porjadok-rassmotrenija-i-recenzirovanija/>).

13. Статьи, ранее опубликованные (в том числе в интернете) или сданные в другие издания, в журнале не публикуются. Исключения возможны только для препринтов. Автор обязан проинформировать Редакцию о факте существования препринта предлагаемой к публикации в «Политии» статьи.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПРАВОЧНОГО АППАРАТА

Оформление ссылок

Библиографические ссылки даются в подстрочных примечаниях со сквозной нумерацией и включают фамилии авторов, год издания и (в случае цитат или отсылок к конкретным частям работы) страницы:

Геллнер 1991.

См. Геллнер 1991.

Геллнер 1991: 100—101 — после двоеточия указаны страницы.

Инглхарт и Вельцель 2011.

Spector and Kitsuse 1977.

Слинько, Сальников и Дмитриева 2009.

North, Wallis, and Weingast 2009.

Коротаев и др. 2007— при наличии более чем трех авторов.

Baumgartner et al. 2009 — при наличии более чем трех авторов.

Петров 2003; Сидоров 2005.

Селезнева 2011a: 100; Freedman 2017b — буквы a, b, c... обозначают разные работы данного автора, выпущенные в один и тот же год.

Если авторство в библиографическом описании не указано, в ссылке приводятся фамилии редакторов, а при отсутствии таковых — первое слово (первые слова) названия работы:

Шестопал (ред.) 2012.

Bernhard and Kubik (eds.) 2014.

Понятие 2007.

Радикальная ксенофобия 2004.

Ссылки на классические труды античных авторов, а также на священные тексты включают только их общепринятую пагинацию и рубрикацию (в случае необходимости указывается также переводчик):

Платон, Тимей: 50b—53c (пер. С.С.Аверинцева).

Plato, Timaeus: 50b—53c (transl. by B.Jowett).

Мф. 23:38.

В случае ссылки на периодическое издание в целом в подстрочном примечании указываются его название, год выпуска, том (при наличии) и номер (или день и месяц публикации):

Политическая наука 2000, № 2.

Political Studies 2000, vol. 3, no. 2.
Сегодня 01.08.2001.

При ссылке на интернет-ресурс целиком в подстрочном примечании приводится его URL:
<http://data.uis.unesco.org/>.

Оформление библиографических списков

Базовый библиографический список (Библиография) и References составляются по алфавитному принципу без нумерации. В базовом библиографическом списке сначала в алфавитном порядке приводятся источники на русском языке, затем — на иностранных. Классические труды античных авторов и священные тексты в библиографические списки не включаются.

В базовом библиографическом списке при оформлении книг должны быть указаны фамилии и инициалы авторов (редакторов), год издания (в скобках), название книги, место издания, название издательства. При оформлении статей, опубликованных в периодических изданиях, указываются фамилии и инициалы авторов, год издания, название статьи (в кавычках), название журнала или газеты, том (при наличии), номер и страницы, на которых размещена статья. Для материалов периодических изданий, имеющих как печатную, так и интернет-версию со свободным доступом, помимо информации об издании следует указывать полный URL (конкретной страницы, а не только веб-сайта, на котором она размещена). Для интернет-публикаций, не имеющих печатной версии, приводится только URL конкретной страницы. Не рекомендуется ссылаться на интернет-версии неперiodических печатных изданий, в которых не сохранена оригинальная пагинация. При описании разделов в монографиях и статей в сборниках указываются фамилии и инициалы авторов, год издания, названия раздела/статьи (в кавычках) и монографии или сборника (с указанием фамилий и инициалов авторов или редакторов), место издания, издательство и страницы, на которых размещены раздел/статья. Название базового источника (книги или того издания, где помещена цитируемая работа) выделяется курсивом. При цитировании нескольких работ какого-либо автора, выпущенных в один и тот же год, после указания года издания добавляются буквы a, b, c...

В References вся информация о русскоязычных работах должна быть транслитерирована, а названия самих работ и переведены на английский язык. Транслитерация производится на основе стандарта Library of Congress (LC). Переводу подлежат также названия периодических изданий, сборников и монографий, в которых размещена цитируемая работа. В случае переводных книг и статей следует указывать их оригинальное название. В оригинальном написании должны приводиться и фамилии иностранных авторов. Описания работ на иностранных языках воспроизводятся в References без изменений.

Примеры оформления работ в базовом библиографическом списке и References приведены на сайте журнала (<http://politeia.ru/content/pravila-predostavlenija-rukopisej/pravila-otformlenija/>).

Table of Contents

	Issue Materials	5
Political Theories	S.A.Kucherenko The Concept of Power and Its Transformation in Political Realism	6
	I.V.Kazakov Political Facts and the Production of Meanings in Discourse	19
Paradigms of Social Development	M.E.Nikitin Military Experience of State Leaders and Conflict Potential of Authoritarian Regimes (Case of Africa)	37
	D.O.Timoshkin, F.A.Smetanin, Iu.O.Koreshkova, N.N.Zborovitskaya, A.A.Voloshin, D.E.Bryazgina Search Engines as Mechanism for Constructing Boundaries of "Imagined Communities" (Case of Internal Migrant Image in Siberian Regional Digital Media)	55
Russian Polity	Yu.G.Korgunyuk, C.Ross Political Preferences of Young Voters in Contemporary Russia	77
	M.S.Sukhova Subnational State Capacity and Pro-Government Voting in Russia	113
Foreign Policy Perspective	E.S.Arlyapova, E.G.Ponomareva Ankara's Activation in the Western Balkans (Approaches, Tools, and Components)	130
	V.A.Avatkov, D.G.Evstafyev Post-Soviet Eurasia in the Mirror of Global Processes (Key Development Trends and Dilemmas of Russian Politics)	151
Cathedra	A.F.Pavlovskii In Search of Global Memory: Where Does the Transnational Turn in Memory Studies Lead?	166
Appendix	The 18 th A.M.Salmin's Best Paper Award Contest among Young Political Scientists	195
	Guidelines for Submitting Manuscripts for Publishing in Journal <i>Politeia</i>	196

**Открыта подписка на журнал «ПОЛИТИЯ.
Журнал политической философии и социологии политики» на 2023 год.
Вы можете найти нас в каталоге агентства «Урал-пресс».
Наш индекс: 80454.**

Как подписаться на «ПОЛИТИЮ»:

1. На титульной странице сайта www.ural-press.ru выберите город, в котором живете.
2. По указанным контактам (телефону или электронной почте) свяжитесь с региональным подразделением «Урал-Пресс» и уточните условия.
3. Отправьте заявку на подписку по электронной почте по тем же контактам.
4. Все документы и выписанные издания курьер доставит Вам по указанному адресу.
5. Если Вашего города нет в списке на сайте www.ural-press.ru, оформить подписку можно через агентство «Деловая пресса» (www.delipress.ru).

ПОЛИТИЯ Журнал политической философии и социологии политики

ПИ № ФС 77-48673 от 21 февраля 2012 г.

Издается АНО «Общественно-политический журнал. Журнал политической философии и социологии политики «Полития. Анализ. Хроника. Прогноз». 101000, Москва, Лучников пер., 2.

Дизайн – *Ю.А. Трушин*

Техническое редактирование и компьютерная верстка – *И.В. Филимонов*

Подписано в печать 25.05.2023. Формат 70×100 1/16.

Тираж 1000 экз. Цена свободная.

Отпечатано в типографии ООО «Информ-Право»

125252, Москва, ул. Зорге, д. 15, кор. 1.